НОВЫЙ МИР

6

1949

НОВЫЙ МИР 6 1949

Александр Сергеевич **ПУШКИН**

Илья Репин.
(С портрета работы В. Тропинина).

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXV № 6 Июнь 1949 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

А. С. ПУШКИНУ

Стихотворения — Стр.

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ — **Великан** 5

НИКОЛАЙ ГРИБАЧЕВ — **Поэт** 6

КОНСТАНТИН СИМОНОВ — **Заря** 8

ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ — **Здравствуй, Пушкин!** 9

МИХАИЛ СВЕТЛОВ — **Сон** 9

АЛЕКСАНДР ЯШИН — **Вершины** 10

МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ — **Венок тебе сплетает Украина...** Перевел с украинского Мих. Матусовский 11

МАКСИМ ТАНК — **Твоя песня...** Перевел с белорусского В. Журавлев 12

ОВАНЕС ГУКАСЯН — **Нет, весь я не умру...** Перевел с армянского Л. Гинзбург 12

САМЕД ВУРГУН — **Слово переводчика.** Вольный перевод с азербайджанского Ильи Френкеля 14

ХАЛИЖАН БЕКХОЖИН — **Голос России.** Перевел с казахского Ярослав Смеляков 14

МИРДЗА КЕМПЕ — **У памятника Пушкину.** Перевел с латышского Леонид Мартынов 16

РАСУЛ ГАМЗАТОВ — **Слова свободы, мужества и гнева.** Вольный перевод с аварского А. Межирова 16

ЕМИЛИАН БУКОВ — **Светлый домик.** Перевел с молдавского Леонид Мартынов 18

АХМЕД ЕРИКЕЕВ — **Наш Пушкин.** Перевел с татарского Л. Гинзбург 19

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ — **За власть Советов,** роман 21

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ — **Гибель Пушкина,** стихотворение 92

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ — **Наш современник (Пушкин),** пьеса 95

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Стр.

КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

АЛЕКСАНДР ЕГОЛИН — **А. С. Пушкин — родоначальник новой русской литературы** 147
Д. БЛАГОЙ — **Пушкин-патриот** 162
К. БОГАЕВСКАЯ — **Пушкин и молодые писатели** 170
ИЛЬЯ ФЕЙНБЕРГ — **Незавершенная книга Пушкина («История Петра I»)** 183
СОКРОВИЩНИЦА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Издания произведений А. С. Пушкина. (По материалам Всесоюзной Книжной палаты) 212

Пушкин за рубежом

СЕРГЕЙ АРТЕМЬЕВ — **Пушкин у славян** 216
ВЛАДИМИР РУДМАН — **Пушкин в Китае** 227
АЛЕКСАНДР ЛИДИН — **Пушкин в Венгрии** 234
ЛЕВ КИШКИН — **Пушкин в Чехословакии** 241

Шмуцтитул работы художника В. Климашина.

1799-1949

А. С. Пушкину

ВЕЛИКАН

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

★

Восходя на горя кручи,
Не отчаявшись в судьбе,
Захотел народ могучий
Слышать песню о себе,

Что пришла бы в мир печальный,
Как веселая гроза,
Чтоб певец необычайный
Правду жизни рассказал.

И в весенний день румяный,
Расцветавший в синеву,
Колыбелью великана
Выбрал славную Москву.

Вывел в песенное поле,
На просторе неглухом,
Научил, как вольной волей
С юных лет дышать стихом.

Чтобы жили поколенья
Кровью сердца стиховой,
Жаром пушкинского пенья
Над Невой и над Москвой.

Чтоб над степью и горами,
Как нежнейший сердца друг,
Был тот голос вечно с нами,
Как родной нам речи звук.

Чтобы в ссылках и в гоненьях
Восходил он, как заря,
Чтоб в глуши
великий Ленин
Стих твой гордый повторял.

Чтобы сам великий Сталин
В год, что шел как страшный вал,
Среди тех, кто к бою встали,
Имя Пушкина назвал.

Мы возвысили отчизну,
О которой ты мечтал,
Чтоб зарею коммунизма
Стих, как пламя, прорастал.

Оттого Москва в движенье,
Как весенняя река,
Чтоб восславить день рожденья
Дорогого земляка.

И советский наш единый
Весь народ пришел сюда,
Обнялись чтоб исполины
Правды, песни и труда!

★

ПОЭТ

НИКОЛАЙ ГРИБАЧЕВ

Кто помнит старое село
лет двадцать семь назад,
село,
где снегом занесло
по стрехи стены хат,
где к звездам дым
и тусклый свет
из узкого окна,
где ту же песню сотни лет
поет метель одна?

Я в эти годы подрастал
меж сверстников своих,
я белые снега читал,
еще не зная книг,
да чей-то стих —
не знал я, чей! —
под легкий треск светца
порой журчал в тиши ночей
глухим баском отца.

Не больно бойкий грамотей
к тридцати двум годам,
он обучал стихам детей,
читая по складам,
и мне знакомы с тех времен,
с тех самых давних дней
и царь Додон,
и князь Гвидон,
и гордый Кочубей.

И горше не было обид
в семь с половиной лет,
когда узнал я, что убит
давным-давно поэт,
и часто снилось мне, что я
в упор, шагов с пяти,
в Дантеса целюсь из ружья,
чтоб Пушкина спасти.

Далекий день — далеким сном,
миганием светца,
уже и сам я стал отцом
мальчишки-сорванца,
ему стихи читаю те,
где каждая строка
в неповторимой красоте
отлита на века.

И, став спокойней, я не раз
ловлю себя на том,
что нераздельно слиты в нас
поэт — и отчий дом,
поэт — и первая любовь,
поэт — и край родной,
как радость первая и боль
в простой душе одной.

И нет, не Пушкин, нет, не он,
итожа счет обид, —
Дантес, презрением сражен,
Дантес в тот день убит;
а Пушкин, светлый и живой,
пророк, боец, поэт,
идет, курчавой головой
кивая на привет.

Идет, и думается мне,
так весел потому,
что видит нового в стране
певца подстать ему,
пусть имени его пока
нет средь других имен —
уже
перо берет рука,
уже
меж нами он!

И я, чья жизнь прошла в строю,
чей беден краской стих,
склоняю голову мою
пред новой славой их —
пред тем, что умер и воскрес,
и тем, что вступит в строй, —
чтоб сделать
солнцу равным
блеск
поэзии родной!

*

ЗАРЯ

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

Уже шли годы к сорока,
И ранних вдохновений слезы
Сменила твердая рука,
Безжалостная точность прозы,

И беспощадный глаз стрелка,
Слегка прищуренный, спокойный,
Насквозь пронзающий века,
Восстанья, мятежи и войны;

Он над архивной перепиской
Согнулся, как протоколист,
Чтоб бросить вдруг на чистый лист
Всю мощь истории Российской,

И совершив переворот
Во всей словесности изящной,
На сцену вывести народ,
На первый раз хотя б молчащий,

Потом, презрев цензуры точки,
Презрев всей светской черни месть,
За «Пугачева» вдруг засесть,
За главы «Капитанской дочки»,

А там история Петра,
А там еще такие планы,
Что за размахом великана
Не поспевает бег пера,

А там, дай бог хоть тридцать лет,
Чтоб все открыть, что не открыто!
...Барьер. Наемный пистолет
Безродного космополита.

. . . . . .

Ночь. Мойка. Набережной плиты.
В музейных окнах света нет.
Но там, за ними, кабинет,
И в нем хозяин. Не убитый.

Горит заря полоской узкой,
Он у окна стоит — живой,
И в даль литературы русской
Глядит с подъятой головой.

★

ЗДРАВСТВУЙ, ПУШКИН!

ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ

Здравствуй, Пушкин. Просто страшно это —
словно дверь в другую жизнь открыть —
мне с тобой, поэтом всех поэтов,
бедными стихами говорить.

Быстрый шаг и взгляд прямой и быстрый —
жжет мне сердце Пушкин той поры:
визг полозьев, песня декабристов,
ямбы ссыльных, сказка детворы.

В зимний день тридцать седьмого года,
прямо с окровавленной земли,
подняли тебя мы всем народом,
бережно, как сына, понесли.

Мы несли тебя — любовь и горе —
долго и бесшумно, как во сне,
не к жене и не к дворцовой своре —
к новой жизни, к будущей стране.

Прямо в очи тихо заглянули,
окружили нежностью своей,
сами, сами вытащили пулю
и стояли сами у дверей.

Мы твоих убийц не позабыли:
в зимний день, под заревом небес,
мы царю России возвратили
пулю, что послал в тебя Дантес.

Вся отчизна в праздничном цветенье,
словно песня, льется вешний свет.
Здравствуй, Пушкин. Здравствуй, добрый гений,
с днем рожденья, дорогой поэт!

★

СОН

МИХАИЛ СВЕТЛОВ

Тихо светит месяц серебристый...
Комсомольцу снятся декабристы.

По России, солнцем обожженной,
Тащутся измученные жены,
Молча по дороге столбовой
Одичавший тянется конвой.

Далеки, темны и глубоки
Каторги сибирской рудники.

...Спят давно и старики и дети,
Медленная полночь над селом...
Комсомолец видит сквозь столетье
Пушкина за письменным столом.

Поздний час. Отяжелели веки,
И перо не легче, чем свинец...
Где его товарищ Кюхельбекер,
Фантазер, нестроевой боец?

С каждым днем разлука тяжелее,
Между ними сотни верст лежат.
Муравьев-Апостол и Рылеев
В петербургском сумраке висят.

Нет! Вовек не обрести покоя,
Если эти имена умрут!
И строка ложится за строкою:
«Во глубине сибирских руд...»

Комсомольцу кажется сквозь сон,
Что стоит у Черной речки он.

Он бежал сквозь зимнее ненастье...
Разве можно было не спешить,
Чтоб непоправимое несчастье,
Как угодно, но предотвратить!

Поздно, поздно!.. Раненый поэт
Уронил тяжелый пистолет...

Гаснут звезды в сумраке ночном,
Скоро утро встанет над селом.

И скрипят тихонько половицы,
Будто Пушкин ходит по избе...
Как узнать мне, что еще приснится,
Юный друг мой, в эту ночь тебе?

★

ВЕРШИНЫ

АЛЕКСАНДР ЯШИН

Раздвинув горизонт страны,
По склонам разметав туманы,
Над всей землей вознесены,
Стоят вершины-великаны.

Земля еще в густой росе,
И рощи еле проступают,
А уж они во всей красе
Под солнцем утренним сияют.

Мы рады этой крутизне,
Их неизменной новизне.

Вершины ветер не колышет.
Над ними небо словно выше,
Светлей тона,
Грома грозней.

На них откуда ни смотри —
Всё рядом вздыбленные кручи,
Где вихри оползней, как тучи,
Где между скал орел парит,

Всё близко: руку протяни,
Шагни — и, кажется, утонешь
В их освежающей тени
И снегу наберешь в ладони.

На расстоянье, как рассвет,
Мы их окидываем взглядом.

Таков стоишь и ты, поэт,—
Всё близко, сколь ни минет лет,
Всё наш
И неизменно рядом.

В рабочем клубе и в избе
Во всех концах родной державы
Душою тянутся к тебе, —
Ты в озаренье вечной славы.

★

ВЕНОК ТЕБЕ СПЛЕТАЕТ УКРАИНА...

МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ

Ты памятник себе воздвиг нерукотворный,
Никто не посягнет на вековой гранит,
И плуг вокруг него тропы не тронет торной,
Которую народ хранит.

Ты рядом с теми был, кто в сумрачные годы
Великие пути прокладывал вперед, —
И в нынешние дни любовь всего народа
В твоем Михайловском живет.

Я видел твой портрет у друга-армянина,
Я слышал, как якут твердит твои слова,
И в честь твою венок сплетала Украина,
Народной вольностью жива.

Когда от рук врага ты рухнул в снег холодный,
Враждою окружен, с лицом белей чем мел, —
У гроба твоего твой облик благородный
Шевченко наш запечатлел.

Ты с площади своей глядишь в старинный Канев—
Так породнила вас история сама.
И слава двух певцов не скроется в тумане...
Пусть будет свет, да сгинет тьма!..

Перевел с украинского
Мих. Матусовский.

★

ТВОЯ ПЕСНЯ...

МАКСИМ ТАНК

Шла юность моя в непогожие дни,
По тюрьмам несчастной моей стороны.
Тогда твоя песнь из дали приплыла,
На волю меня, как орел, позвала,
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где над миром алеет заря.

Минула пора беспросветных ночей,
Навек породнился я с песней твоей:
Как будто вторую отчизну обрел,
С таким же простором полей между сёл,
С такой же безбрежностью синих озер,
С таким же узором негаснущих зорь.

И вспыхнуло светлое имя твое
В сердцах миллионов и в сердце моем.
И имя твое, как источник живой,
Всем души врачует целебной водой;
И имя твое стало звонкой струной,
Что вечно поет над родимой страной.

И громкое имя твое каждый день
Звучит, как привет, на устах у людей
И радостный отзвук находит в сердцах,
Как вешние громы в бескрайних полях,
И там, где за тучей белеет гора,
И здесь, где над Неманом плещет заря.

Перевел с белорусского
В. Журавлев.

★

НЕТ, ВЕСЬ Я НЕ УМРУ...

ОВАНЕС ГУКАСЯН

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит.
А. Пушкин.

И когда зажигается вечером свет,
Когда гаснет свет поутру —
Он стоит. И на камне написано: «Нет,
Весь я не умру...»

И поэтому каждый, кто здесь проходил
И стоял в тишине перед ним,
Не как с тенью загробною с ним говорил,
А как с другом живым.

Будто ни пьедестала, ни мрамора нет,
А, устав на десятой главе,
Просто взял да оделся и вышел поэт
Побродить по Москве.

И, наверно, хотелось не мне одному,
Из кармана достав тетрадь,
Безбоязненно вдруг подойти к нему
И стихи почитать.

И я знаю—когда б это было так,
Он бы сразу узнал меня.
— Не с Кавказа ли ты, дорогой кунак?
— Да, с Кавказа! — сказал бы я. —

Но не пленник кавказский — поэт пред тобой!
И ответил бы Пушкин мне:
— О, я знаю, ты счастлив, мой друг дорогой,
Что живешь в Советской стране!

Для тебя все дороги открыты. Твори,
Дорогую отчизну любя!
Ты свободен. Наемной рукою цари
Не стреляют в тебя.

Это светлое утро когда-то во мгле,
В злое время предчувствовал я.
Не за этот ли нынешний праздник
в петле
Задыхались друзья?

Но мы пели о радости, гнали тоску,
Отточив наши песни остро.
Как потомки, которые в битвах к штыку
Приравняли перо!

Кровью, разумом, каждой строкой — до конца
Твердо верил я в русский народ.
И веселая песня стучала в сердца:
— Скоро солнце взойдет!

Знал: придет из России к тебе на Кавказ
Счастье в блеске зари,
В те края, куда некогда ссыльными нас
Угоняли цари...

Он стоит. И кудрявая, легкая прядь
Вьется, словно на свежем ветру...
Заслужил он великое право сказать:
«Нет, весь я не умру...»

Перевел с армянского
Л. Гинзбург.

*

СЛОВО ПЕРЕВОДЧИКА

САМЕД ВУРГУН

Два года гнал я в гору вдохновенье,
Покоя не дал мысли и руке,
Чтоб зазвучало Пушкина творенье
На сладостном Вагифа языке!
Среди сынов народа сын народа,
Я понял, как прекрасен русский стих,
И трудное искусство перевода
Бессонными ночами я постиг.
Как с другом жизни, мы слиты с поэтом,
И если говорю, что счастлив я,
То это сердцем сказано, то это
Любовь к поэту говорит моя!

Бывало, день, а ночь моя все длится:
Свети, луна! Звезда, не догорай!
Еще строфа — и встреча состоится
Твоей Татьяны и моей Гумай!
Талант мой слаб — с тобою нет сравнений,
И в этом признаваться мне легко,
Когда я понял, что такое гений,
Как звание поэта велико.

Люблю тебя я с самых ранних лет,
Люблю тебя с начальных строк «Руслана».
Ведь учится у Пушкина Самед,
Поэт советского Азербайджана.
Я за перо в честь праздника берусь,
Чтобы сказать друзьям чистосердечно:
О, родина «Онегина»! О, Русь!
Страна поэзии — ее ты любишь вечно!
Да, правы дочери твои и сыновья,
И повторить за ними счастлив я:
Лишь тот поэт любим в своей отчизне,
Лишь тем поэтом родина горда,
Чей труд есть часть народного труда,
Чья жизнь есть часть народной жизни!

Вольный перевод с азербайджанского
Ильи Френкеля.

*

ГОЛОС РОССИИ

ХАЛИЖАН БЕКХОЖИН

Когда еще был я мальчишкой вихрастым,
Любви и поэзии вовсе не знал —
Дыша учащенно и радостно, часто
Верхом по степям я, как ветер, скакал.

Однажды в ту пору, в то давнее время,
Костер я увидел в родимых краях
И вдруг услыхал, придержав свое стремя,
Как пел о любви седовласый казах.

Откуда пришла, появилась откуда
Ты, русская песня, в безбрежье степей?
Письмо русской девушки — это ль не чудо! —
Поет по-казахски степной соловей.

Глаза старика застилались туманом,
Мерцали волшебные вспышки огня,
И женщина с именем русским: Татьяна —
Любовь и стихи — покорила меня.

С тех пор эта песня не раз мне звучала,
И слышало радостно ухо мое,
Как эхом весенняя степь повторяла
Протяжные, нежные строки ее.

Слыхал я, как пели, с волненьем глубоким,
В колхозных аулах, в счастливом краю
Жигиты степей для подруг чернооких
Посланье Татьяны, как песню свою.

Я знаю, как в пору цветенья ромашки,
В ту пору, когда зацветает трава,
Влюбляются, вслед за Татьяной, казашки
И шепчут ее золотые слова.

Абай наш, мы трижды тебе благодарны
За то, что ты русское слово любил
И щедрой рукою, как свет лучезарный,
Поэзию Пушкина нам подарил.

Наш Пушкин! Еще в те далекие годы,
Когда нас в оковах держал произвол,
Ты с песней любви и стихами свободы
В казахскую степь, словно к братьям, пришел.

Народ мой тебя с восхищением слушал:
Ты мыслью казахскую мысль разбудил,
Ты русское сердце и русскую душу,
Как двери в свой дом, перед нами раскрыл.

Нет равного Пушкину в мире поэта
И песен, которые так бы цвели,
Как нету на свете прекраснее этой,
Родившей нам Пушкина, русской земли.

Перевел с казахского
Ярослав Смеляков.

★

У ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ

МИРДЗА КЕМПЕ

Вижу поэта. Встал он
Здесь, на бульваре Тверском,
Перед его пьедесталом —
Площадь в прибое людском.

Там, где народ справляет
Вольное торжество,
Вижу поэта... Сияет
Бронзовый профиль его.

Вот снова у ног поэта
Сижу, как в те дни, когда
Сияющий путь мне открылся
В родные мои города.

Сталина речь спокойная,
Первый салют над Москвой,
Твердая поступь воина,
Пушкина голос живой...

Спасибо тебе, спасибо,
Пушкина гордый народ!
Латвия не погибла
В дни величайших невзгод!

Ты поддержал! Я — свободна!
Наша цветет страна —
Райниса светлая родина
Возвращена!

Перевел с латышского
Леонид Мартынов.

★

СЛОВА СВОБОДЫ, МУЖЕСТВА И ГНЕВА

РАСУЛ ГАМЗАТОВ

Два современника твоих последних,
Два старца,
Два седых певца столетних
На родине моей в ауле жили.
Персидским шахам пели гимны. Или,
Закрыв глаза, с подобострастьем рабским,
Стихосложеньем тешились арабским.
И я, мальчишка, умолкал, внимая,
Ни слов, ни музыки не понимая.

Однажды к нам в аул из дальней дали
Пришел юнец.
И люди угадали,
Что вплетены в печаль его напева
Слова свободы, мужества и гнева.
Тогда впервые, затаив дыханье,
Смотрел я в песню, словно в полыханье
Сердечного огня, огня живого,
И строфы повторял я слово в слово.

Был юноша поющий мал и тонок
И улыбался робко, как ребенок,
Но прямо в сердце властно проникала
И жгла строка высокого накала.
И, побежденные, ушли на отдых
Два старца,
Два певца седобородых.

Ты слышишь, Пушкин!
Мы тогда впервые
С тобой сдружились, как с живым живые.
Нам юноша принес из дальней дали
Напевы, о которых мы мечтали.
Через пороги лет и рек суровых
Твой стих настиг аварцев чернобровых.
Аварки смело открывали лица,
Чтобы к тебе с вопросом обратиться...

Пора ученья для меня настала.
В Москве я молча встал у пьедестала.
И поклонился до земли тебе я,
И так сказал, волнуясь и робея:
— У нас в горах поэзия в почете.
Вы, Пушкин, там стихи свои найдете
В любом дому,
В любом ауле дальнем,
В любой библиотеке и читальне.
Вы в каждой школе смотрите с портрета,
И вашим взглядом детвора согрета,
И слушает ребенок увлеченный
Рассказ о том, как ходит кот ученый,
И в каждом сердце, Пушкин, вы прочтете
Свои стихи.
Они у нас в почете...

Так я сказал. И горы повторили,
Мой слабый голос удесятерили.

Вольный перевод с аварского
А. Межирова.

★

СВЕТЛЫЙ ДОМИК

ЕМИЛИАН БУКОВ

Стоит он поблизости речки Бык,
Стоит, глядит на восток он,
Тот домик — не домик, а света родник —
Сиянье струит он из окон.

Дождями и ветрами не покорен,
Стоит он второе столетье,
И, может быть, на суде времен
Он выступит как свидетель:

...В жестокий, кнутами исхлестанный век
Был изгнан царем из столицы
Великий, солнечный человек,
Чтоб здесь, в Кишиневе, томиться.

Решили: изгнанье заменит тюрьму,
Клетка для песен найдется.
Но можно ль затмить то, что гонит тьму?
Ведь сердце Пушкина — солнце!

Оно излучало на белый свет
Свободы мятежный пламень,
И отблеском этих лучей согрет
Доныне тут каждый камень.

...По тропам широким к ступенькам крыльца
Приходим сегодня мы с вами.
Войдем, чтоб наполнились наши сердца
Немеркнущими лучами.

Ведь здесь раздавалась она, вот здесь,
Бесстрашная поступь Кирджали,
Под этою крышей слышится песнь
О страшном судье — кинжале.

Вопросы Олега, ответы волхва
Звучат под ветвями акаций...
И ждешь, что кудрявая голова
В оконце должна показаться:

Появится он, поглядит на цветы,
Пройдет между клумбами сада
И сядет в тени, углубившись в мечты.
Раздумье... Мечты без отрады!

Но полно! По улице Прункула вдаль
Стремительный мчится наездник.
... «Гляжу, как безумный, на черную шаль» —
Родится молдавская песня.

Нахлынуло чувство и унеслось...
И вдруг эти полные яда
По белому полю язвительно, вкось
Наброски «Гаврилиады».

...О, маленький домик, таишь ты в себе
Бессмертные воспоминанья
О том, как поэт, непокорный судьбе,
Сиял и во мраке изгнанья.

Широкой тропой наших радостных лет
Подходим мы к этому дому.
О, Пушкин, наш друг, наш великий поэт,
В сердцах твои песни несем мы!

И низенький домик над речкою Бык
Поет о взлете высоком,
И будто бы вечного света родник,
Сияя, глядит на восток он!

Перевел с молдавского
Леонид Мартынов.

*

НАШ ПУШКИН

АХМЕД ЕРИКЕЕВ

Молодой, веселый и кудрявый —
Он таким запомнился навек...
Наша удивительная слава,
Наша гордость — этот человек.

Словно друг, живущий по соседству,
С каждым днем все ближе и родней,
Он к тебе приходит в раннем детстве
С первой песней матери твоей.

Он к тебе приходит вечно новым,
Он твой путь осветит, как звезда,
Чтобы ты, с его сдружившись словом,
С ним не расставался никогда.

Наизусть ты знаешь по-татарски
«Зимнюю дорогу» и «Обвал»,
А Володя пушкинские сказки
Нам вчера по-русски прочитал.

А Закир — парнишка чернобровый,
Что живет от нас невдалеке,
Монолог Бориса Годунова
Знает на чувашском языке.

И на всех наречьях горделиво
Призывает Пушкин нас с тобой
Наших душ прекрасные порывы
Посвятить Отчизне дорогой.

Перевел с татарского
Л. Гинзбург.

ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ

Роман

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

Итак, я жил тогда в Одессе...
А. Пушкин.

★

1

Человек за бортом

Когда Петя, наконец, выбрался на палубу, теплоход уже горел в трех местах. Было около двух часов ночи. Совсем близко от себя мальчик увидел маленькую зажигательную бомбу, которая только что упала и начинала разгораться. Несмотря на ужас, охвативший его, Петя не мог отвести глаз от этой легкой алюминиевой штучки с хорошеньким хвостиком стабилизатора. Она шипела и плавилась, разбрызгивая вокруг себя ослепляющие капли.

Матрос в резиновых сапогах пробежал мимо Пети, отбросив его рукой в громадной, грубой брезентовой варежке. Вокруг метались люди. Отворачиваясь от искр, матрос схватил «зажигалку» за хвост, но тотчас выронил. Она прожгла ему варежку. Он азартно ударил «зажигалку» ногой. Она, крутясь, покатилась, оставляя за собой огненный след. Матрос неуклюже побежал за ней и еще раз, изо всех сил, как футболист, поддал ее сапогом снизу. Стукаясь о поручни и тросы, она вылетела за борт и, продолжая рассыпать искры, шлепнулась в черную, пенистую воду.

Другой матрос в неприятно-белой асбестовой маске со страшными прямоугольными глазницами сыпал из ведра песок на обуглившуюся палубу. Петя заметил, что ведро выкрашено масляной краской в тусклый, защитный цвет и что в песке много рубчатых морских ракушек. Маска была тоже похожа на ведро, надетое на голову.

Вслед за тем в небе зажглись две ослепительные ракеты, сброшенные с невидимого в темноте самолета. Они поплыли над мачтами, закачались, и вокруг стало светло, как солнечным днем. Сильный, какой-то неестественный, химический свет, резко сократив на палубе тени мачт и тросов, беспощадно озарил сверху все закоулки горящего теплохода, и люди на миг оцепенели от ужаса. Затем все бросились к трюмам и люкам. Но вдруг снова остановились в оцепенении. На этот раз их пригвоздил к месту звук невидимой бомбы, оторвавшейся от невидимого самолета. Сперва звук этот был настолько слаб, что его почти целиком поглощали все остальные звуки зловещей ночи: крики людей, шипенье пара, канительные звонки машинного телеграфа, голос капитана, кричавшего команду в мегафон, гремучий бой дизелей, от которого прерывисто содрогался корпус корабля, непрерывный звон сигнального колокола, пулеметные очереди, топот резиновых сапог, бу-

мажный шорох огня, свист воды из брандспойтов, — но, постепенно усиливаясь и возрастая, этот нестерпимый звук летящей бомбы вскоре поглотил все другие звуки. С острым визгом бомба сверху приближалась к теплоходу. С каждым мигом визг становился все резче, пронзительней, нестерпимей.

— Ложись! — отчаянно закричал чей-то голос.

У Пети подогнулись ноги и потемнело в глазах. В уши хлынул тяжелый, колокольный звон. Кровь бросилась в голову. На горячем, почти пылающем лбу, на шее, даже за ушами выступила ледяная, изнуряющая испарина. Мальчик кинулся ничком на палубу, уткнулся носом в мокрые доски и судорожно обхватил голову руками, как будто это могло защитить от бомбы и спасти от гибели. Он бы, конечно, потерял сознание, если бы все силы его души и тела не были сосредоточены на одном страстном желании: во что бы то ни стало, не отрываясь ни на миг, слышать, слышать, слышать, слышать свист бомбы.

Теперь этот свист несся со скоростью вихря, со скоростью молнии. Теперь уже не только все звуки вокруг были поглощены этим свистом. Вихрь охватил петину душу, подавил ее, скрутил, поглотил без остатка. Не было ничего, кроме вихря и ужаса. И в то же самое время такое горе, такая невыносимая жалость к себе, такое одиночество сжало его детское сердце!

«Что я им сделал? Что я им сделал? Что я им сделал? — кричало петино сердце. — Зачем вы меня убиваете? Ну что я вам сделал? Не убивайте меня! Я хочу жить. Не убивайте меня. Ведь это я, Петя, в коротеньком новом пиджачке с круглыми полами, в брюках гольф, в подвернутых носках и желтых туфлях, в голубой рубашке с отложным воротничком, в пионерском галстуке, в синей новой кепке, это я, мальчик Петя, которого так любят папа и мама, и сестры, и все знакомые. Поймите — это я, это я. Ах, как мне хорошо было жить. Я же никого не трогал. Зачем вы меня бросили здесь одного на горящем теплоходе? Зачем меня убивают?»

И в это время чудовищная, жаркая сила взяла Петю, подняла его с палубы, перенесла через поручни и плавно, дугой швырнула головой в море.

Петя не умел плавать и сразу пошел ко дну. Он почувствовал, что темная масса воды все плотнее и плотнее сжимает его со всех сторон. Он тяжело и упруго опускался вниз, понимая, что гибнет. Но непобедимая сила жизни, которая до сих пор лишь дремала в нем, вдруг пробудилась и стала действовать. Ни о чем не думая, ничего не соображая, а только подчиняясь этой могучей силе, Петя стал изо всех сил толочь воду ногами и отталкивать ее от себя растопыренными руками, стремясь выкарабкаться вверх из страшной водяной ямы. Это была молчаливая, яростная борьба человека с водой.

И человек вдруг заметил, что вода уступает.

Наступил миг, когда Петя почувствовал, что он перестал опускаться. Его движения стали еще упорнее. Теперь он работал руками и ногами, как лягушка, не в силах прекратить эту работу ни на одну секунду. Теперь он как бы висел под водой, не двигаясь ни вверх, ни вниз. Ему нехватало воздуха. Грудь его распирало. Но руки и ноги всё работали и работали, как машина, которую невозможно остановить.

И вдруг он почувствовал, что теряет равновесие, центр тяжести передвинулся, и он медленно переворачивается отяжелевшей головой вниз и медленно начинает всплывать. Теперь вода медленно и упруго нажимала на него снизу и выталкивала его тело вверх. Она выталкивала его все быстрее и быстрее, и он поднимался на поверхность, как

пробка, ощущая свою легкость, почти невесомость, по сравнению с плотной, тяжелой массой воды.

Вода вытолкнула его на поверхность как раз в тот миг, когда мальчик последними отчаянными усилиями выровнял свое тело и повернул его головой вверх. Его голова выскочила из воды, и он, вытянув шею, успел судорожно глотнуть свежего воздуха.

Сквозь струи воды, которые текли с его волос по глазам, Петя на одно мгновение увидел высокую стену теплохода, в нескольких местах охваченную огненно-розовыми облаками пара, и черную волну, свесившую над ним свой мутный, курчавый гребень. Петя сделал такое движение, словно хотел схватиться за этот гребень, покрытый пеной. В это время он перестал толочь ногами и немедленно снова с головой провалился в воду.

Но теперь он уже знал, что́ ему надо делать. Он стал грести руками и ногами и снова с усилием вытолкнулся из воды и снова разинул рот, чтобы глотнуть воздуха. Но сейчас же крутая волна больно ударила его по лицу, и вместо того, чтобы набрать в грудь воздух, он сделал громадный глоток горькой, соленой свежей воды. Он снова погрузился с головой, снова выбрался, снова погрузился и понял, что снова тонет. Но сил уже не было. Вместо того чтобы грести руками, он вытянул их над головой, хватаясь за воду и за воздух. Он быстро проваливался все глубже и глубже. Он уже потерял сознание.

Вдруг что-то просунулось в воду сверху, какая-то тяжелая, плоская палка стукнула его по голове. Он схватился обеими руками за эту скользкую палку. Тотчас его руку схватила чья-то рука и потянула вверх.

Прежде чем окончательно потерять сознание, Петя успел почувствовать боль от того, что его втаскивают через высокий борт лодки. Этот борт грубо обдирал на его груди костюм. Колено больно стукнулось о деревянную уключину. И Петя потерял сознание.

2

Трое в одной лодке

Когда он очнулся, он увидел, что лежит на дне шаланды.

Под голову был подложен его мокрый, продранный пиджачок. Петя услышал скрип уключин. Две женщины, высоко сидя перед ним на банке, гребли, мерно опуская и подымая большие весла с грузными валька́ми. Волна стучала в плоское дно и бежала с размеренным лепетом по борту шаланды.

Мальчик не мог рассмотреть женщин. Он видел лишь их темные силуэты. Одна женщина была побольше, другая поменьше. Их головы и плечи мерно поднимались и опускались на фоне побледневшего ночного неба, где покачивались вверх и вниз крупные, но слабые предутренние звезды.

Петя хотел приподняться на локте, но был так слаб, что не мог даже пошевелиться. Для того чтобы обратить на себя внимание, он застонал. Но его не услышали. Петю тряс озноб. Внутренности жгло от морской воды. Это была ни с чем не сравнимая жажда, заставлявшая мальчика почти каждую минуту терять сознание. Он весь горел, как в огне. Он лежал лицом вверх, бессильно раскинув руки и ноги, в разорванной рубашке, весь мокрый, с распухшим коленом, со слипшимися волосами, наполовину высушенными холодным морским ветром. Он лежал в мучительной, неудобной позе, и у него не было сил повернуться.

Никогда в жизни Петя еще не страдал так сильно, как сейчас. Но это телесное страдание было ничто в сравнении с мукой, которую испытывала его душа, впервые с такой силой потрясенная ужасом смерти и одиночества.

Он несколько раз терял сознание и несколько раз приходил в себя, как бы всплывая из черной глубины обморока на поверхность. И каждый раз на поверхности он видел все одно и то же: двух женщин, большую и маленькую, а между ними часть бледного неба и ныряющее созвездие. Волны попрежнему тошнотворно укачивали, и вода на дне шаланды, под деревянной решеткой, перекатывала туда и обратно с тошнотворным однообразием какие-то круглые камешки. И еще откуда-то очень издалека порывистый западный ветер доносил с короткими перерывами грозное, раскатистое рычание.

В те короткие промежутки времени, когда сознание возвращалось к нему, Петя с трудом понимал, что с ним происходит. Но куда его теперь везут, что это за женщины, куда девался теплоход, он совершенно не понимал да и не хотел понимать. Сонное, тяжкое оцепенение охватило его ум. Одно лишь чувство владело им — чувство мучительной, изнуряющей жалости к самому себе.

Он опять застонал.

На этот раз его услышали. Маленькая женщина перестала грести и передала свое весло другой. Подхватив юбку, она перешагнула через банку и присела на корточки рядом с мальчиком. При жидком свете предутренних, серебристых звезд он близко увидел широкое лицо с коротким носом, маленьким подбородком и крупными глазами, которые показались ему в сумраке рассвета темными, но, вероятно, были светлосерыми или зелеными. И он понял, что это не маленькая женщина, а рослая девочка.

— Ну? Чего тебе надо? Тебе опять нехорошо? — сердито сказала она тонким, нежным голосом.

Петя молчал, не в состоянии произнести ни одного слова.

— Может быть, хочешь водички? Ну?

Петя молчал.

— Мама, дайте сюда баклажку.

Она взяла из рук матери плоский дубовый боченок и вытащила из него зубами чоп.

В это время шаланда повернулась боком к волне, и волна крепко хлопнула ее в подветренный борт. Шаланда подскочила, и Петю, как из ушата, окатило пенистыми брызгами.

— Что ж вы делаете, мама! — закричала девочка. — Загребайте левым, табаньте правым!

— Не командуй! — сказала мать таким же тонким, по-южному певучим и сердитым голосом, как у дочери.

Повернув крепкие плечи, она подхватила брошенные на минутку весла и, сделав резкое, сильное движение руками — одной рукой от себя, а другой к себе, одним рывком выправила шаланду.

Девочка приложила баклажку к петиным губам.

— Пей водичку.

Водичка лилась из дырки в стиснутые зубы мальчика, струилась по щекам, заливалась за шиворот. Несмотря на жгучую, мучительную жажду, вода вызвала отвращение. Петя почувствовал тошноту. Он замотал головой и слабыми руками отвел баклажку в сторону.

— Не надо, — с отвращением прошептал он, преодолевая спазмы в гортани.

— Мама, он не хочет пить! — с отчаянием закричала девочка.

— Не хочет и не надо! Не мучь человека. Дай ему покой.

Петя снова застонал.

Девочка наклонилась к нему совсем близко, всматриваясь в его лицо и стараясь понять, чего он хочет. Наконец она поняла. Он хочет, чтобы его повернули набок. Она подсунула руку под его мокрую, горячую спину и стала осторожно поворачивать вялое, отяжелевшее тело мальчика. Он сделал усилие и лег набок. Она подняла его голову и поправила свернутый пиджачок. Петя поджал дрожащие ноги и положил руки под жаркую щеку. На минуту ему стало легче. Но потом опять начались тошнота и озноб.

Девочка сидела рядом с ним на корточках и, не зная, чем еще облегчить страдания мальчика, осторожно гладила его плечо, жар которого чувствовался даже сквозь мокрую рубашку.

— Ну? Тебе все еще нехорошо? Спи.

Петя смотрел на нее неподвижными, жалкими глазами.

— Как тебя зовут, мальчик?

— Петя, — чуть слышно простонал он, уткнувшись лицом в пиджачок.

— Мама, его зовут Петя! — закричала девочка.

— Валентина! — строго сказала мать. — Не мучь мальчика своими разговорами. Дай ему покой. Сейчас приедем.

И, на одну минуту отпустив весла, она поправила волосы утомленными руками.

— Ах, боже мой, боже ж мой, — пробормотала она с тихим вздохом. — И что же это делается на свете...

Валентина подобрала юбку и, перешагнув через банку босыми ногами, села рядом с матерью.

— Дайте весло, мама, — сердито сказала она, поправляя на затылке две косы, подвешенные кренделем, и прибавила со вздохом по примеру матери: — Ах, наказанье, ах, чистое наказанье... Спи, мальчик, сейчас приедем.

И Петя снова потерял сознание. Он не помнил, как, наконец, длинная волна вынесла шаланду и мягко посадила ее на песчаный берег, и потом никак не мог понять, каким образом он очутился на грубой деревенской кровати, за печкой, в рыбачьей хижине.

Впоследствии, когда ему рассказывали, как было дело, он никак не мог поверить, что он сам вылез из лодки и сам взбирался по узкой тропинке и по глиняной лестнице на обрыв, держась руками за плечи Валентины. Все это он делал бессознательно. Впоследствии Петя узнал также, что бомба упала рядом с теплоходом, почти не причинив ему никакого вреда. Взрывная волна выбросила за борт несколько человек, среди которых был и Петя. Двое, очевидно, были очень сильно оглушены взрывом и сразу же утонули. Один хорошо умел плавать, его тут же вытащили на палубу, бросив ему конец. А Петю подобрала шаланда, специально вышедшая из рыболовецкой артели «Буревестник» спасать людей, когда с берега увидели, что теплоход горит. Но теплоход не сгорел. Пожар удалось потушить, и теплоход ушел по своему курсу на Севастополь.

Петя узнал все это гораздо позднее, когда стал поправляться. А в то время он ощущал только мучительные приливы и отливы сознания, возникновение и исчезновение каких-то людей, вещей, запахов. И все время его давила одна неустранимая, неподвижная мысль о том, что вот еще совсем недавно все было так хорошо, так замечательно, и вдруг, в один миг, стало все так тяжело, непонятно, темно и страшно.

3

Мечта

А совсем недавно, и вправду, было наредкость хорошо.

Как чудесно, как замечательно началось для мальчика это необыкновенное лето, когда они с отцом наконец-то отправились вдвоем путешествовать.

Это была их давняя, заветная мечта — отправиться вдвоем путешествовать. Да, именно вдвоем: без мамы, без девочек. Он да папа — и больше никого. Ведь это восхитительно! В один прекрасный летний день двое смелых, самостоятельных мужчин — отец и сын — надевают на плечи рюкзаки, берут в руки палки и отправляются странствовать. Они берут с собою в дорогу лишь самое необходимое: походный котелок, чтобы варить себе на костре скудный ужин, мешочек гречневой крупы, немного соли, сахару, чайник, коробку спичек, катушку ниток, иголку, может быть две или даже лучше всего три-четыре плитки шоколаду — разумеется, не потому, что шоколад лакомство, а потому, что у него высокая калорийность. Вот, собственно, и все. Много ли нужно для двух закаленных путешественников, привыкших к суровой жизни под открытым небом, полной опасностей и лишений? Никаких подушек и одеял, разумеется, не надо. Ночью отлично можно укрываться отцовским макинтошем, а под голову класть рюкзак. Этого вполне достаточно, так как спать ведь придется по очереди. Один будет спать, а другой дежурить возле пещеры. Само собой, необходимо запастись ружьями и рыболовными принадлежностями. Насчет рыболовных принадлежностей обыкновенно никаких споров не возникало. Что же касается оружия, то тут начинались серьезные разногласия. Отец говорил, что достаточно иметь хороший складной нож. Петя настаивал на ружье или в самом крайнем случае на револьвере.

— Нет, — говорил отец, — ружье — это лишняя тяжесть. Ружья не надо.

— Ну, тогда револьвер,— говорил Петя.

— Да зачем нам револьвер?

— Как же без револьвера! — почти кричал Петя, оглушая всех своим звонким, возбужденным голосом. — Они будут к нам подползать, а мы их тогда из револьвера — бах, бах, бах, бабах!

— Позволь, братец, позволь,— перебивал отец, морщась от петиного крика. — Кто же, собственно, будет к нам подползать?

И каждый год на этот вопрос Петя отвечал по-разному. Когда ему было шесть лет, он говорил мрачно:

— Дикие звери.

Когда ему было восемь и девять, он восклицал:

— Враги!

И каждый раз отец отвечал ему с рассудительной улыбкой одно и то же:

— Но ведь там нету никаких разбойников.

Или:

— Друг мой, ну посуди сам, какие же в Одесской области дикие звери? Там нет никаких диких зверей.

— Да,— говорил Петя,— но если они появятся?

— Они не появятся.

— Да, но если они все-таки появятся, — упрямо повторял мальчик, азартно нажимая на слово «все-таки».

Такие разговоры происходили зимой, в те редкие вечера, когда отец оставался дома. К этим разговорам все домашние уже давно при-

выкли, и обычно, когда они начинались за чаем, девочка Женя, сестра Пети, двумя годами его моложе, презрительно пожимала плечами и, подражая матери, говорила совершенно как взрослая:

— Вообразите, наши мужчины опять собираются путешествовать.

И она высокомерно морщила и задирала носик, покрытый небольшими веснушечками.

— Молчи, воображала,— угрюмо говорил Петя и, навалившись всей грудью на стол, продолжал писать карандашом на листке из арифметической тетрадки список вещей, необходимых для путешествия: «1 охот. нож, 2 зуб. щетки, 1 чайник»...

А мать между тем посматривала то на отца, то на сына и, покусывая губы, улыбалась с насмешливой грустью. Одна только мысль, что ее мальчик будет где-то без нее, за тысячу километров, ночевать возле костра, в степи, на земле, положив под голову вместо подушки рюкзак, приводила ее в смятение.

Правда, она понимала, что все это пока лишь невинная игра воображения и никуда ее мальчик не уедет. Но в самой глубине души, таинственным безошибочным чутьем матери она знала, что когда-нибудь это все же непременно случится. И она заранее готова была плакать от страха и волнения. Но она сдерживала себя и, со странной улыбкой покусывая губы, только повторяла:

— Ну, ну. В час добрый. Отправляйтесь. Могу себе представить, в каком виде вы явитесь обратно.

— Может быть, ты думаешь, что мы шутим? — говорил отец, притворно хмурясь. — А вот представь себе, что мы вовсе не шутим. Верно, Петушок?

— Верно, не шутим,— говорил Петя и тоже хмурился, но уже не притворно.

— Ну и очень приятно,— говорила мать. — Поезжайте. Никто вас не удерживает. Только имей в виду, Петушок, что после этого ты уже больше не будешь моим сыном. Мне не надо сына бродягу, который бросает свою мамочку.

— Нет, я все-таки буду твоим сыном,— упрямо говорил Петя, еще плотнее сдвигая брови. — Пойду с папой путешествовать, а сыном буду.

— Стало быть, решено и подписано,— восклицал отец. — Беру летом командировку в Одессу, и мы отправляемся.

Мать напряженно улыбалась и даже хохотала, обращая всё в шутку.

Наступало лето, и путешествие как-то само собой забывалось. Вместе с мамой, бабушкой и девочками огорченный Петя отправлялся на дачу, куда папа приезжал из Москвы по воскресеньям. Но, по правде сказать, в деревне под Москвой было тоже великолепно. Очень недурно было также и в пионерском лагере, где Петя провел последнее лето. Там было даже нечто, напоминающее то путешествие, о котором так страстно мечтали Петя с отцом. Пионеры ночевали в палатках, варили на костре кашу, собирали лекарственные травы, ориентировались по звездам и даже один раз поймали белку.

Но все же это было совсем, совсем не то.

«То» путешествие, существовавшее пока только в воображении, полностью овладело душой мальчика. Как всякая упорная, долголетняя мечта, оно стало его второй жизнью.

В этой второй жизни будущего путешествия существовало только два человека: отец и Петя. Там они все время шли пешком с рюкзаками за спиной — большой, всесильный, могущественный отец и ма-

ленький сын — гордые, одинокие люди, окруженные удивительной природой. Там было море, и там была степь, которых Петя еще никогда не видел наяву. Но они часто ему снились.

Море в этих снах было очень синим и не слишком большим озером причудливой формы с голубыми извилистыми берегами и твердыми буквами, напечатанными дугой на его вощеной поверхности — «Черное море». Степь в этих снах была желтая пустыня, покрытая редкими пучками жесткой травы и слоистыми скалами. И они бесстрашно, бодро шагали — большой отец и маленький сын — по этому синему Черному морю и по желтым скалам, за которыми, притаившись, лежали львы. И ко всему этому волшебно примешивалось понятие «Одесса».

Петя отлично знал, что Одесса это город. Такой же город, как, скажем, Москва, как Тула, как Лондон: дома, улицы, магазины, трамваи, площади, памятники. Но в воображаемом мире будущего путешествия Одесса была больше, чем просто город. Это был город папиного детства. таинственное место, где когда-то, в незапамятные времена, петин папа был такой же маленький, как сам Петя, и даже еще меньше. Там папа был младенец. Там, как это ни дико, как это ни странно себе представить, нянька возила папу в колясочке.

Папа, смеясь, говорил, что он отлично помнит эту колясочку — плетеную корзину на рессорах, на высоких колесах, с клеенчатым верхом, который складывался и поднимался, как у экипажа. Этот клеенчатый верх был обшит висящими гарусными шариками-помпончиками. Коляска поскрипывала своими ивовыми прутьями. Под клеенчатым верхом, нагретым южным солнцем, было жарко, душно. Гравий хрустел, визжал под тонкими ободьями железных колес, под нянькиными козловыми башмаками. Коляска покачивалась. По коляске и по няньке одна за другой скользили сухие, душные тени туий, тени платанов, такие же пятнистые, как и их фисташковые стволы. Штамбовые розы с оловянными, печатными знаками, привязанными к стволам, пахли, как горячее варенье. И над коляской качался и поворачивался на нитке пунцовый воздушный шар, на котором усыпляюще сияло шелковистое отражение маленького солнышка. И всё: и этот скрип гравия, и тонкое повизгивание немазаных колес, и усыпляющее сияние воздушного шара, и арки старинной крепостной стены, в пролетах которых горело спиртовое пламя моря — все это вместе называлось «Александровский парк».

— Ты не можешь этого помнить,— говорила мать. — Ты просто-напросто нас морочишь. Ты выдумываешь.

Тогда у отца делалось упрямое, но вместе с тем и озорное лицо, и он говорил:

— Да, но тем не менее я это все отлично помню.

— Нет, нет. Ни за что не поверю, чтобы ты помнил себя грудным младенцем. Не может быть. Ты не настолько гениален.

— Да, но если папа все-таки это отлично помнит! — восклицал Петя с ударением на «все-таки», упрямо округляя ясные, невинные глаза.

— Ах, оба вы у меня ужасные фантазеры!

— Да, но все-таки папа отлично помнит,— настойчиво повторял Петя.

Он так верил, что папа помнит! Ведь папа был существом всемогущим. Он все мог. Минутами мальчику казалось, будто он и сам тоже это помнит. Больше того. Ему казалось, он верил, что именно он-то и был тем самым маленьким ребенком — младенцем, который лежал

разморенный духотой в скрипучей коляске, в оранжерейной сырости пеленок, и сонно смотрел мимо помпончиков на шелковисто сияющий, даже на вид скрипучий, пунцовый шар.

В это время мальчик чувствовал себя одновременно и самим собою — сыном — и своим отцом, и дедушкой, и бесконечно длинным рядом своих предков, уходивших куда-то «назад», в таинственный туман времени.

Отец уже давно, как казалось Пете — в незапамятные времена, приехал из Одессы в Москву. Отец с незапамятных времен был москвичом. Но в его душе всегда жила мечта об Одессе, о городе своего детства. Чаще всего эта мечта дремала. Но иногда она вдруг пробуждалась и вспыхивала с необыкновенной силой. Обыкновенно это случалось раз или два раза в год, когда в доме на несколько дней — всегда неожиданно — появлялся Колесничук.

4

Друзья встречаются вновь

Колесничук был главный бухгалтер одесской конторы чаеразвесочного управления треста «Главчай». Это был уже немолодой человек с морщинистым лицом и опухшими глазами. Его новый, только что купленный, неряшливо выглаженный и не вполне по росту костюм, узенький украинский галстук и желтые новые полуботинки, его большой потертый портфель, туго набитый, как Петя знал, какими-то загадочными «балансами» и годовыми отчетами, его суетливые, застенчивые движения, наконец его новенький, но грубый и слишком короткий макинтош, от которого на всю квартиру пахло резиной,— все это обнаруживало товарища с периферии, «командировочного».

С чувством некоторого неприязненного смущения Петя смотрел, как папа и Колесничук целуются прямо в губы и хлопают друг друга по спине. В глазах мальчика, было что-то неестественное в их поведении. Они оба представлялись Пете почти стариками. Между тем они вели себя, как мальчики. Они разговаривали на «ты» и называли друг друга, как школьники: «Петька», «Жорка». Они и были школьными товарищами. Когда-то, в незапамятные времена папиной молодости, они сидели за одной партой в одесской Пятой гимназии.

Колесничук проводил в Москве всего дней пять, а потом уезжал обратно в Одессу. Но, боже мой, какой беспорядок вносило его пребывание в аккуратную, строго столичную жизнь Бачей!

Из застенчивости он ни за что не соглашался спать на диване, который уступал ему отец. Ему стелили на полу в тесной столовой. Из застенчивости же он отказывался от одеяла и укрывался своим макинтошем. Вместо подушки он клал под голову свой ужасающий портфель. Он также постоянно старался увильнуть от обеда. Его ждали. Без него не садились за стол. Все слонялись по комнатам голодные, злые. А он вдруг появлялся часа через два, застенчиво потирая руки, и заявлял, что уже перекусил в главке. Причем, все понимали, что он врет.

У него была привычка ночью покурить. И вот вдруг ночью в квартире раздавались осторожные, шаркающие шаги. В темноте передвигалась мебель, осторожно падали стулья. Это застенчивый Колесничук, не желая беспокоить табачным дымом семью Бачей, пробирался на ощупь в ванную комнату покурить. Из ванной комнаты слышался приглушенный, сиплый кашель застарелого курильщика, слышалось астматическое сопение, падали с костяным стуком зубные щетки

и мыльницы и доносился ужасающий запах паленой шерсти: Колесничук курил папиросы собственной набивки из какого-то особого, собственной крошки табака, который он добывал где-то в районе, в подсобном хозяйстве управления, и которым очень гордился.

Нередко Колесничук привозил из Одессы в подарок копченую скумбрию, малосольную брынзу в банке с водой и десяток синих баклажан, которые он нежно называл по-южному «синенькие». Отец был в восторге. Он кричал, что это лучшая еда в мире, пища богов!

Действительно, копченая скумбрия нравилась всем. Нет слов, она была превосходна. Правда, в дороге она обычно немного портилась и попахивала. Но когда с нее сдирали тончайшую, золотисто-фольговую кожицу и обнажалось пахучее, нежное копченое мясцо, у всех невольно текли слюнки.

Что же касается малосольной брынзы и синеньких, то они решительно ни у кого, кроме отца, успеха не имели. Брынза воняла овцой, и ее уносили в кухню. А что делать с синенькими, никто из домашних, кроме папы, решительно не знал. Мама и работница с презрительной улыбкой вертели в руках загадочные овощи. Они, эти овощи, действительно были синие, вернее сказать, темнолиловые, почти черные, глянцевитые, какие-то кожаные.

— Какие-то, прости господи, баклуши да и только! — говорила домработница Таня, презрительно подбирая губы. — Разве их можно есть? Еще отравишься.

Но отец был неумолим. Он требовал, чтобы из них немедленно приготовили баклажанную икру. Разумеется, не ту пресную, сладковатую желтую кашицу, которая продается в консервных магазинах, а ту настоящую, домашнюю, знаменитую одесскую баклажанную икру — зеленую, с луком, уксусом и чесноком, дьявольски острую, от которой на губах делаются заеды.

Для того чтобы приготовить такую икру, баклажаны надо было, разумеется, не варить и не тушить и уж, конечно, не жарить, а сперва испечь на угольях. Синенькие должны обуглиться. Тогда с них сдирают обугленную кожу, а дымящуюся, полусырую зеленую мякоть с белыми семечками мелко рубят. Но боже упаси рубить ножом или «секачкой». От соприкосновения с железом мякоть теряет свой естественный зеленый цвет, чернеет, и икра тогда уже ни к чорту не годится. Мякоть надобно рубить деревянным ножом — и никаким другим. Тогда-то и получится настоящая баклажанная икра по-одесски. Что может быть проще?

Однако и мама и Таня проявляли непонятное упорство: они пожимали плечами и насмешливо переглядывались.

— Хорошо,— решительно говорил отец,— в таком случае мы сами с Жоркой будем делать баклажанную икру.

К общему ужасу папа и застенчивый Колесничук снимали пиджаки и принимались за дело. Маленькая московская кухня с газовой плитой была явно не приспособлена к производству баклажанной икры. Газ горел плохо. Духовой шкаф почти не нагревался. Синенькие упорно не хотели обугливаться. Тогда отец принимал рискованные меры. Он решительно отодвигал кастрюли, в которых готовилась банальная московская еда, и клал баклажаны прямо на газовые рожки. Синенькие покрывались густой копотью, но все-таки не обугливались. Наконец они лопались, из них вытекала жидкость. Было совершенно ясно, что из икры ничего не выходит.

Женщины едва сдерживали улыбку, но мужчины не сдавались.

Они требовали из детской линейку. Линейки не оказывалось. Петя робко приносил им чертежный угольник, и они начинали терзать полусырые синенькие угольником, сплошь испятнанным лиловыми чернилами, с металлическим отливом. Синенькие не поддавались. Отец и Колесничук некоторое время пребывали в нерешительности. Затем отец решался пойти на некоторый компромисс: он требовал, чтобы ему «устроили мясорубку». Хотя мясорубка была металлическая и неминуемо должна была произойти нежелательная химическая реакция, отец все-таки настаивал на мясорубке. Глядя в сторону, он говорил, что некоторые одесские хозяйки в исключительных случаях пропускают синенькие через мясорубку.

Петя видел, как из дырочек мясорубки ползла макаронами и шлепалась на тарелку какая-то отвратительная, бурая масса. Отец и Колесничук пробовали ее ложками. Им стоило известных усилий не морщиться. Они даже пытались выразить на своих истомленных лицах наслаждение.

— Да перестаньте же. Как вы рискуете брать в рот эту мерзость,— говорила мать.

Пете было смешно и вместе с тем больно видеть, как папа и Колесничук притворяются, что наслаждаются сырым, черным месивом — нежелательная реакция произошла-таки! — от одного вида которого сводило челюсти, как от оскомины.

Впрочем, папа и Колесничук упорствовали недолго. У старых одесситов было достаточно чувства юмора.

— Действительно, получилась порядочная дрянь,— говорил папа, надевая пиджак.

И они начинали смеяться. Папа хохотал звонко, раскатисто. Колесничук смеялся застенчивым, хрюкающим смешком, задыхаясь и отхаркиваясь. Но Петя жалел их. Мальчик чувствовал, что это не только маленькая кухонная неудача, а как бы некий крах мировоззрения. Только он не мог этого выразить словами, так как еще не знал, что такое мировоззрение.

К общему удовольствию и облегчению знаменитую баклажанную икру выбрасывали в мусоропровод. Остальные синенькие еще долго лежали у папы на письменном столе, и в них ярко и выпукло отражалось окно кабинета. Потом девочки тащили их к себе и вывозили во двор в колясочке вместо кукол. На этом кулинарные затеи папы и Колесничука и кончались.

Но это было не самое худшее. С этим мама легко мирилась. Это не угрожало спокойствию семьи. Худшее начиналось обычно вечером, за чаем, когда папа и Колесничук начинали предаваться воспоминаниям.

5

Воспоминания

Как они волновались!

Они перебивали друг друга. Их глаза сияли оживлением. Какие странные, какие непонятные и вместе с тем какие волшебные слова они произносили!

То и дело слышалось: «Аркадия», «Дофиновка», «Ланжерон», «Хаджибей», «Дерибасовская», «Ришельевская», «Арнаутская», «Маразлиевская».

Они предавались воспоминаниям. То события происходили на каком-то сказочном «Золотом берегу», то в «Люстдорфе», то на «даче Вальтуха», то в «катакомбах». За всеми этими нерусскими словами в во-

ображении маленького Пети вставали неясные очертания огромного, сияющего мира папиного детства. Он был населен легендарными людьми, совершавшими великолепные поступки. Маленький Петя с жадностью слушал, как произносились таинственные имена: Уточкин, Хиони, Эрнест Витолло.

— Помнишь, Жорка? — восклицал папа.

— Спрашиваешь! Конечно, помню. А ты помнишь, как Сережка Уточкин...

— Ну еще бы, как же!..

Они перебивали друг друга. Трудно было понять, о чем они говорят. И все же мальчик научился многое понимать. Для него все эти люди не были уже только легендой. Он был с ними близко знаком, как с живыми. Для него Уточкин был не только одним из первых русских авиаторов. Он был также знаменитым велосипедным гонщиком, чемпионом мира Сережкой Уточкиным, чудаком и заикой, рыжим коренастым парнем с розовыми ресницами, в клетчатом американском костюме и красных тупоносых штиблетах. Мальчики бежали за ним по улице, провожая своего кумира восторженными криками:

— Сережка! Рыжий!

И он не сердился на мальчиков. Он добродушно оглядывался и притворно-строго хмурил свой широкий, вогнутый лоб богатыря, со множеством вогнутых продольных морщин, как бы усеянный рыжим просом веснушек.

Однажды Уточкин проезжал на своем красном гоночном автомобиле с чудовищно длинным радиатором мимо кофейни Либмана. Из окна высунулся франт в панаме и крикнул ему:

— Сережка! Рыжий!

К общему ужасу Уточкин остановил машину и вошел в кофейню.

— Вы к... кажется н... назвали м... меня С... С... Сережка? — учтиво заикаясь, спросил он франта.

Он пропустил мимо ушей слово «рыжий». Его, повидимому, особенно заинтересовало слово «Сережка». Он был страшен в своем учтивом спокойствии.

Франт побледнел.

— К... кажется, мы с вами не пили на б... брудершафт,— сказал Уточкин еще более учтиво.

После этого он поднял франта своими могучими руками, как младенца, отнес его в кондитерское отделение и бережно положил на листы свежих, еще теплых пирожных с кремом, только что выставленных на прилавок.

Маленький Петя с ужасом и восхищением слушал эту историю, и его воображение живо рисовало могучую, коренастую фигуру рыжего богатыря-джентльмена и тщедушного франта в панаме, барахтающегося в своем модном щегольском костюмчике, сплошь облепленном желтым, горячим кремом. Мальчик ясно представлял себе, как после этого спокойный Уточкин вынимает бумажник, небрежно, но элегантно бросает кассирше кредитный билет за испорченные пирожные, не требует сдачи и, учтиво бросив франту: «И с... советую вам быть впредь б... более в... воспитанным...», — удаляется из кондитерской Либмана к своему красному гоночному автомобилю с высокой стопкой запасных шин, привязанных сзади.

Ясно представлял себе Петя легендарного человека из мира папиного детства и молодости — Григория Котовского.

О Котовском мальчик слыхал, конечно, и раньше. По картинкам и рассказам он знал знаменитого полководца Котовского.

Но Котовский папиного детства был легендарный всадник, несущийся на своем взмыленном скакуне в дыму и пламени степных пожаров вдоль бессарабских обрывов, вдоль моря, по которому, как призрак революции, метался легендарный броненосец «Потемкин». Котовский и «Потемкин» стояли рядом в мире папиного детства.

А Котовский папиной молодости был красивый молодой мужчина атлетического сложения, с крепкой, наголо обритой, почти голубой головой.

У Пети слипались глаза. Мама отправляла его спать. Но он ни за что не хотел уходить из столовой. Он упрямо спал, положив щеку на липкую клеенку. Он спал под громкие восклицанья, под смех и возню Колесничука и папы. Они перебивали друг друга, они не переставая курили. Табачный дым наполнял комнату. То и дело открывали фо́рточку. Окурки кисли в блюдечках и тарелках. Мама была в отчаянии. Она снова и снова открывала форточку. Она устраивала сквозняки. Она гнала Колесничука и папу спать. Но они не мо́гли оторваться от воспоминаний и всё говорили, говорили.

Петя спал, положив голову на стол, и во сне слышал их голоса. Петя спал, и ему снилось все то, о чем они говорили. Он спал и жил в недостижимо-далеком, прекрасном и странном мире папиной молодости, где были войны, революции, восстания; где были герои, необыкновенные приключения, смертельные опасности.

Обыкновенно это кончалось тем, что папа вдруг вскакивал, громко хохотал, неожиданно и довольно чувствительно хлопал сонного мальчика по плечу и кричал:

— Кончено! Едем! Петька, хочешь путешествовать?

Петя с трудом открывал глаза и бормотал сиплым со сна, ленивым, мечтательным голосом:

— Хочу, папочка.

Он на одну минуту приходил в себя, видел опаловый воздух дымной комнаты, испуганное лицо мамы и опять сладко засыпал.

Два или три дня после отъезда Колесничука папа находился в приподнятом, возбужденном настроении. Он и Петя готовились к отъезду. А потом опять все как-то само собой забывалось.

Но однажды весной случилось то, чего так боялась мама. Приезжал Колесничук, и после его отъезда отец окончательно решил, что они едут. Он купил в спортивном магазине «Динамо» рюкзаки и бутылку-термос.

Все складывалось очень удачно. Как раз в это время у отца случилось в Одессе арбитражное дело, пустяковое, но канительное, и он все равно должен был выехать туда в командировку. Так что соединялось приятное с полезным.

Петя был в сладком, счастливом чаду нетерпения. Мать с горечью чувствовала, что ее мальчик больше не принадлежит ей. Он уже безраздельно принадлежал отцу.

6

До свиданья, Москва!

Последнюю ночь перед отлетом Петя почти не спал. Он то и дело просыпался и смотрел в окно — не настало ли утро.

Было начало июня. Мама с девочками и бабушкой жили уже на даче. Папа и Петя ночевали одни в опустевшей, по-летнему пыльной и тихой квартире.

В ванной из душа капала вода. В кухне тоже капала вода, но в другом роде — более солидно, веско. Кроме того, в кухне пощелкивала машинка холодильного шкафа. В передней шумел электрический счетчик. Все эти осторожные, вкрадчивые звуки городской квартиры говорили о том, что в доме еще глубокая ночь. Между тем за окном, над розово-ржавыми крышами Замоскворечья, было совершенно светло. Нежно золотились свежие тополя, в воздухе летал туманно-сияющий пух, небо за маленькой старинной шатровой колоколенкой наливалось зеленой водой зари, крепкой, душистой, как бы настоенной на черносмородиновом листе.

Внизу на тротуаре одиноко и очень громко прозвучали торопливые шаги первого утреннего прохожего.

Отец крепко спал, завернувшись с головой в одеяло. Мальчик с отчаянием вслушивался в его спокойный, неторопливый храп, но не решался разбудить отца. Отец еще вчера вечером, когда ложились спать, строго-настрого велел сыну не вскакивать чуть свет и не будить его.

— А то я тебя знаю. Ты и сам не уснешь, и мне не дашь выспаться. Попробуй только меня разбудить. Сам улечу, а тебя оставлю дома. Так и знай.

— Ладно, папочка.

— То-то ладно. Гляди у меня.

— Да, но если мы проспим?

— Не проспим.

— Да, но а вдруг проспим?

— Не проспим, говорят тебе. В половине пятого нам позвонят с телефонной станции. Я просил.

— Да, но а если испортится телефон?

— Телефон не испортится.

— Да, но а вдруг все-таки испортится?

— Надоел ты мне, братец. Ложись и спи. Всё будет в порядке. А станешь ко мне приставать — не возьму, вот тебе и весь сказ.

Что оставалось делать мальчику? Он поставил на стул рядом со своей кроватью туго набитый новенький рюкзак, проверил новенький термос, с вечера налитый горячим чаем с сахаром, лег и сделал усилие заснуть. Но, конечно, заснуть не мог.

Наконец он встал, осторожно оделся в новенький костюм, специально сшитый для путешествия — пиджачок, спортивные штаны-гольф, чулки, башмаки на толстых подошвах — и тихонько отправился в кухню посмотреть в окно, выходящее на Кремль.

Кремль спал, подернутый синей дымкой ночи, и над его красивыми башнями не ярко, но очень заметно светились рубиновые звездочки.

В нескольких окнах Большого Кремлевского Дворца виднелся ровный, золотисто-парчевый свет и отблеск зеленого абажура рабочей настольной лампы.

И Петя подумал о том, о чем думает каждый советский человек, если ему случится проходить на рассвете мимо спящего Кремля и увидеть несколько освещенных окон.

Мальчик представил себе товарища Сталина, одного, в этот тихий и смутный предутренний час склонившегося над письменным столом, с дымящейся трубкой в крепкой, смуглой руке. Тень большой, необычно обширной мысли лежала на его сильном, сосредоточенном лице, чуть тронутом двойным светом — светом зеленой рабочей лампы и парчевым светом дворцовых люстр.

Часы на Спасской башне необыкновенно чисто и мелодично пробили четверть. Ясные, хрустальные звуки колоколов один за другим покати-

лись вниз, прыгая по незримой воздушной лестнице, смолкли, и воздух еще долго дрожал над Кремлем.

И вдруг мальчик почувствовал необъяснимую, щемящую тревогу. Впервые со всей ясностью и силой он понял, что улетает из Москвы, из своего родного города. И вслед за тем его снова охватило нетерпенье— ах, скорей бы уже!

Стараясь не скрипеть и не стучать новыми башмаками, он пробрался в переднюю, снял телефонную трубку и набрал «точное время». Механический мужской голос равнодушно и негромко сказал ему:

— Три часа сорок семь минут.

Петя немного подождал и опять, затаив дыхание, набрал точное время.

— Три часа пятьдесят две минуты, — неторопливо сказал равнодушный мужской голос.

Петя прислушался. Отец спал. И вдруг мальчик почувствовал, что ему тоже ужасно хочется спать. Зевая и потягиваясь, он доплелся до своей кровати, на одну минуточку прилег и проснулся от оглушительно громких, резких телефонных звонков, вдруг наполнивших всю пустынную квартиру.

На стене над кроватью нежно светился желатиновый квадрат молодого, малинового июньского солнца, заглянувшего через крыши Замоскворечья в комнату.

Отец со спутанными волосами стоял возле петиной кровати, торопливо завязывал галстук и весело кричал:

— Ну, что же ты, путешественник! Вставай, поднимайся, умывайся, собирайся!

А через пять минут, наскоро напившись в кухне чаю, приготовленного на газовой плите, заперев газ, заперев квартиру и отдав ключ дежурной лифтерше, папа и Петя уже стояли на улице с рюкзаками за спиной, поджидая автобус, который должен был заехать и отвезти их в Аэропорт.

Мальчик с нетерпением всматривался в конец пустынного и по-утреннему чистого переулка, низко и длинно освещенного все тем же желатиновым светом молодого, малинового солнца. А вдруг они забыли? А вдруг они не заедут?

Признаться, временами ему действительно хотелось, чтобы они не приехали. Им овладело то двойственное, тревожное чувство, которое так знакомо человеку, впервые уезжающему далеко из родного дома. С одной стороны, хочется поскорее уехать, оторваться, наконец, от привычной жизни, разом все кончить, с другой — делается чего-то страшно, предстоящая поездка кажется такой ненужной, такой неестественной. Для чего куда-то уезжать, когда дома все было так привычно, покойно, удобно, хорошо?

Петя еще никогда в жизни не летал на самолете. Сказать правду, он побаивался лететь. Но в этом он не мог признаться даже самому себе.

— Ну, что же они не едут? — говорил мальчик с искусственным нетерпением. — Честное слово, мы, кажется, опоздаем.

— Небось! Не опоздаем! — говорил отец с веселой, снисходительной улыбкой.

Он отлично понимал, что́ делается в душе его мальчика, и все же не мог отказать себе в удовольствии немножко подразнить сына:

— Что-то мне сдается, сынок, что ты немного того... побаиваешься. А?

— Честное пионерское! — с жаром восклицал мальчик.

Его лицо, умытое холодной водой, горело, как роза. Теперь ему и вправду казалось, что он ничуть не боится. Да и чего, собственно, бояться? Ведь все летают. Полетит и он.

Но когда вдруг в конце переулка показался по-особенному голубой автобус с двумя таинственными фонариками, розовато-синими, как медуница, у мальчика озябли руки. Он молча, как приговоренный, влез вместе с отцом в автобус. Несколько сонных пассажиров с портфелями и маленькими чемоданчиками равнодушно посмотрели на Петю, который неуверенно поворачивался во все стороны, стукаясь рюкзаком о скамьи. Мальчик почувствовал в этом равнодушии нечто в высшей степени зловещее.

Для того чтобы не показать своего беспокойства, мальчик прошел вперед и сел недалеко от шофера, с преувеличенным вниманием прильнув к переднему стеклу.

Автобус тронулся, и навстречу мальчику поплыли, как во сне, прекрасные улицы, розовые от утреннего солнца. На широком новом мосту еще не погасли фонари, и они висели в холодноватом воздухе двумя параллельными линиями, горбатыми, как коромысла.

Никогда еще Петя не видел Москву такой грустной и такой прекрасной, как в этот тихий, свежий и пустынный час раннего июньского утра. Она плыла мимо него такая знакомая, такая близкая, родная и вместе с тем уже такая отчужденная, недостижимая.

Автобус миновал храм Василия Блаженного, который всегда вызывал в детином воображении представление о громадном узорчатом блюде из сказок «Тысячи и одной ночи» с грудой волшебных плодов — дынь, винограда, груш, ананасов, кедровых шишек, наваленных до самого неба.

И храм Василия Блаженного исчез, как воспоминание.

На широкой мостовой Красной площади еще виднелись белые полосы, оставшиеся от первомайского парада.

Однажды отец взял Петю на первомайский парад. И до сих пор перед глазами мальчика плыла Красная площадь, как шашечная доска, уставленная шашками танков, и до сих пор перед его глазами вертикально подымалось небо, сплошь покрытое черными тройками, семерками, девятками самолетов, которые всё поднимались и поднимались вертикально вверх из-за двух шпилей Исторического музея.

Проплыла Спасская башня с золотым ободком громадных часов. Проплыла бело-розовая зубчатая Кремлевская стена и голубые ели перед ней. Проплыли белые парапеты каменных трибун.

Проплыл мавзолей Ленина, на котором в тот незабываемый весенний день Петя увидел веселого Сталина в белой майской фуражке и белом кителе.

Теперь вокруг мавзолея было пустынно, и за ярким газоном, за мокрым цветником, возле его открытой бронзовой двери на часах стояли два курсанта. За этой бронзовой дверью мерцала таинственная, бархатная тьма. Но Петя уже несколько раз побывал в мавзолее.

Прежде чем увидеть самого Ленина, мальчик сперва увидел прозрачное, но необыкновенно ясное, воздушное отражение Ленина в стекле высокой треугольной крышки. Ленин как бы лежал высоко в воздухе, ни к чему не прикасаясь, слегка повернувшись спящим лицом ко входу. Но когда отец взял маленького Петю за локти и приподнял над гранитным парапетом, отражение Ленина вдруг исчезло, рассеялось, и Петя увидел внизу уже настоящий гроб и настоящего Ленина в коричневом френче с орденом Красного Знамени.

Одна рука Ленина была вытянута и плотно сжата, как будто крепко держала в кулаке карандаш, а другая — легко и свободно, с необыкновенным артистическим изяществом касалась восковыми пальцами груди.

И такая простота и вместе с тем такое величие было в этом спящем лице с маленькой бородкой, что Петя, хотя был еще и очень мал, радостно вздрогнул на руках у отца, как будто бы его души впервые коснулась неповторимая музыка великой человеческой правды.

Отражаясь в красных и черных, гранитных и лабрадоровых плитах мавзолея, автобус проехал через Красную площадь, и Красная площадь, и мавзолей, и памятник Минину и Пожарскому, и голубые ели перед зубчатой розовой стеной Кремля, и алый флаг над знакомым куполом Верховного Совета — все, все проплыло мимо мальчика и рассеялось, как утренний сон.

7

Муза дальних странствий

Теперь автобус мчался по улице Горького.

Многоярусный корпус новой гостиницы «Москва» со всеми его маленькими окнами, балкончиками, решеточками, арочками был тонко вызолочен солнцем. Возле запертых дверей метро собирались первые утренние пассажиры, и среди них расхаживал, покуривая, синий милиционер в белых перчатках. Дворники с сияющими на солнце бляхами мели тротуары. Гипсовая девушка в неподвижно развевающемся гипсовом платье воздушно летела в отдалении над кондитерской башенкой корпуса «Г».

Все это было знакомо мальчику с детства, все это было неотделимо от него, все это было он сам. И даже серебряная обертка шоколадки, втертая шинами в асфальт, так чисто сияла на солнце где-то далеко, далеко впереди, чуть ли не у площади Маяковского, словно была частью петиной души. И видя, как этот сияющий кусочек серебра уплывает из глаз, мальчик почувствовал такую неопределенную сердечную тяжесть, что испуганно посмотрел на отца, как бы ища у него помощи и защиты против какой-то беды, нависшей над ним.

Но отец сидел, спокойно откинувшись на хрупкую спинку скамейки. Его новая фетровая шляпа была весело сдвинута на затылок. Ясен и чист был смуглый, слегка морщинистый лоб. А в мечтательно прищуренных немолодых глазах блестели молодые карие искорки.

Петя особенно любил отца, когда у него было такое спокойное, веселое настроение.

Отец не волновался. Значит не было никаких оснований волноваться и Пете. И мальчик успокоился. Ему только ужасно хотелось узнать, о чем думает отец. Мальчик еще раз обернулся и пытливо заглянул в отцовские глаза. Но он ничего не мог в них прочесть, кроме того, что папе весело, спокойно, что он счастлив.

Петр Васильевич и вправду был счастлив в это чудесное утро. Он был по своей природе непоседа. Он очень любил путешествовать. Он часто говорил, что его всю жизнь «манит муза дальних странствий». Что это такое, Петя не очень понимал, но зато чувствовал великолепно.

Никогда не думалось Петру Васильевичу так хорошо, как во время путешествия.

Дорога еще только началась, а отец уже погрузился в мечты и воспоминания. Он искоса, рассеянно поглядывал в окно автобуса. Он видел то же самое, что видел и его сын: Кремль, мавзолей, метро, длинные многоэтажные корпуса улицы Горького. Но видел он это все совсем, совсем по-другому.

Мир, окружавший маленького Петю, был стар, потому что почти все в этом мире было старше мальчика.

Мир, окружавший Петра Васильевича, был молод, потому что почти все вокруг было моложе его. Гораздо моложе его был мавзолей Ленина, гораздо моложе его были метро, гостиница «Москва», улица Горького...

Погружаясь в воспоминания, Петр Васильевич так ясно видел на месте гостиницы «Москва» старый Охотный ряд с маленькими лавками битой птицы, рыбы, соленых грибов. Он видел уже несуществующую церковь Параскевы-Пятницы, пивную Лёвенбрей, обелиск Конституции против красного и белого дома Московского Совета. Видение старой Москвы как бы просвечивало сквозь новые прямые проспекты, сквозь новые громадные дома — со всей их купеческой суетой и теснотой, со всеми их часовнями, колокольнями, памятниками, тупичками. И Петр Васильевич, щурясь в окно автобуса, не без тайной грусти думал о том, как много уже на его глазах изменилось в этом мире. Конечно, все то, что изменилось в России, в Москве, изменилось к лучшему, но ему было грустно сознавать, что время идет, что он стареет, и уже не за горами тот час, когда он сам — так же, как, например, церковь Параскевы-Пятницы — превратится лишь в слабое воспоминание.

Однако эти меланхолические мысли ничуть не портили его прекрасного настроения. Наоборот, они даже как-то взбадривали. Несмотря на свои сорок пять лет, он чувствовал себя крепким, здоровым, почти юным. И сила жизни, особенно ярко горевшая в нем в это замечательное утро, как бы все время обещала ему впереди еще много нового, необыкновенного и прекрасного.

Между тем автобус въехал в ворота аэропорта, и очень скоро Петя и папа стояли уже на траве возле пассажирского «дугласа».

Петя еще никогда не видел вблизи такого большого самолета. Мальчик чувствовал себя ничтожно маленьким рядом с этим громоздким и вместе с тем изящным воздушным кораблем, простершим над ним свое длинное, широкое крыло. Петя стоял под этим суживающимся к концу, рубчатым крылом, как под крышей.

Моторы работали. Пыльный вихрь бежал от винтов по траве, раскачивая и прижимая к земле цветы. Оглушенный шумом, Петя стоял рядом с отцом и крепко держался рукой за карман его макинтоша. Его глаза были широко раскрыты, неподвижны. Губы слегка дрожали. Он не мог отвести взгляда от небольшой дверцы самолета и от легкой алюминиевой лестнички, прислоненной к этой таинственной необыкновенной дверце. Посадка еще не началась. В самолет грузили кожаные мешки с почтой и брезентовые чехлы от моторов. По крылу неторопясь прошел летчик в комбинезоне, открыл какое-то окошечко и влез внутрь машины.

Ветер от моторов подул еще крепче.

Душа мальчика оцепенела от могущественного, непреодолимого страха. Он не мог выговорить ни слова. Он лишь еще крепче вцепился в отцовский карман. Придерживая ледяной рукой свою новую суконную кепку, он посмотрел снизу вверх на отца. Отец улыбался. О, как хорошо понимал он, какую душевную бурю переживает сейчас его мальчик. Он ласково положил руку на плечо сына.

— Ну как, малыш, небось страшно?

Петя не слышал его слов, но хорошо понял их смысл. Он сделал усилие и улыбнулся отцу слабой, жалобной улыбкой. В эту минуту ему страстно, неудержимо захотелось увидеть маму. Ах, как плохо, что ее нет рядом. Он бы прислонился к ней, крепко бы ее обнял. Она бы поцеловала его — так мягко, так нежно! Она бы вытерла душистым

платком пыль с его вспотевшего носа. Она бы шепнула ему на ушко:

— А может быть не стоит, сынок? Не улетай от своей мамочки.

Но ее не было, а больше никто в целом мире не мог пожалеть его и успокоить.

Тем временем торопливыми шагами подошел командир корабля в кожаном полупальто и голубой фуражке с золотым вышитым гербом гражданского воздушного флота. Он держал в руке список пассажиров. Все было кончено. Не успел мальчик и глазом моргнуть, как отец подхватил его сзади за локти, и он, срываясь, вскарабкался по звенящей лесенке в кабину самолета.

Длинный пол довольно круто подымался от хвоста к штурманской будке, так что итти по нему было трудно. Мальчик, как во сне, пошел вперед, в гору, чувствуя, что тяжелый рюкзак валит его назад. Он с трудом сохранял равновесие, хватаясь за спинки глубоких косых кресел, пока, наконец, не изловчился и не упал в одно из них. Он перевел дух и осмотрелся. В общем ничего страшного вокруг пока не было. Самолет внутри напоминал автобус. Только окошки были меньше и казались косыми. Пассажиры с портфелями и маленькими ручными чемоданчиками — пассажиры явно авиационные, а не железнодорожные — совершенно спокойно рассаживались по креслам. Отец тоже не проявлял решительно никакого беспокойства. Он не торопясь поставил у себя в ногах портфель с бумагами, поправил шляпу и добродушно подмигнул сыну. Петя тоже постарался бодро подмигнуть отцу, но из этого ничего не получилось. Он только нашел в себе силы высоко и горестно поднять брови.

8

В полете

Страх не проходил. Наоборот. Страх усиливался. Он усиливался по мере того, как усиливался рев моторов. Теперь моторы уже ревели, как водопад.

Трава, видневшаяся в окне под крылом самолета, бушевала и металась во все стороны.

— Давай! — громко сказал чей-то голос.

Петя обернулся и с ужасом увидел, как летчик в комбинезоне втащил в кабину лесенку и крепко запер алюминиевую дверь.

Стало немножко темней и тише. Но эта сравнительная тишина показалась мальчику особенно зловещей. Командир корабля с любезной улыбкой курносого и веселого человека прошел в проходе между кресел. У него был вид добродушного хозяина, принимающего у себя в доме дорогих гостей.

— Прошу вас, товарищи. Располагайтесь поудобнее. Впереди имеются две удобных койки — кто хочет, может отдохнуть, выспаться... Молодой гражданин, вероятно, летит в первый раз? — сказал он, остановившись возле Пети и нежно заглянув ему в глаза. — Я не ошибся?

Петя с большим трудом кивнул головой, до того одеревянела его шея.

— В таком случае разрешите поздравить вас с воздушным крещеньем.

Петя криво усмехнулся.

— Мужайтесь, молодой человек. В воздухе трудно только первые полтораста тысяч километров. А потом быстро привыкаешь.

И командир корабля, юмористически наморщив курносый нос, самодовольно разгладил свою небольшую, чуть раздвоенную каштановую

бородку. Пассажиры охотно засмеялись шутке командира. Это в большинстве были опытные воздушные пассажиры. Они хорошо знали веселого командира корабля, знаменитого Коробкова, покрывшего на самолете за свою жизнь свыше миллиона километров без единой аварии.

Петя почувствовал некоторое облегчение. Он сделал усилие, разжал зубы и вдруг сипло сказал:

— На бреющем полетим?

— До Харькова, с вашего позволения, мы полетим над облаками,— любезно ответил командир корабля,— а уж потом попробуем и на бреющем, если вы не возражаете.

Пассажиры опять с готовностью приняли шутку обаятельного капитана и засмеялись. Это вселило в мальчика еще бо́льшую отвагу.

— Мне бы, знаете, очень хотелось хоть немножечко на бреющем,— сказал он, умильно глядя на командира корабля блестящими, черными глазами.

В это время самолет тронулся. Со сладким замиранием сердца, даже с некоторым приятным ужасом Петя увидел, как за окном побежала кочковатая земля. Он изо всех сил вцепился в подлокотники кресла и всем телом напряженно подался назад, как бы желая сказать «тпру!».

— Летим? — срывающимся голосом проговорил он.

— Пока едем,— весело ответил командир корабля и вдруг, сделав строго-официальное лицо, закричал: — Покорнейше попрошу товарищей пассажиров до тех пор, пока корабль не оторвется от аэродрома, не переходить с места на место и не скопляться в хвосте.

Минуты две, которые показались мальчику томительно длинными, самолет довольно неуклюже и не слишком быстро бежал, ковыляя по лугу. Потом он въехал на бетонированную дорожку и стал поворачиваться. Он развернулся, и тогда разом моторы взревели с такой силой, что мальчика мороз подрал по коже. Бетонированная дорожка понеслась назад, сливаясь в сплошную серую массу, как точильный круг.

Петя на минуту закрыл глаза.

Самолет бежал все быстрее, все быстрее, все шибче, подскакивая время от времени на неровностях почвы. Его хвост задрался. Теперь пол сделался ровным и окна оказались прямыми. Внизу — Петя заметил — мелькнул маленький автомобильчик. Метнулся человек с красным флажком. Мощное, равномерное гудение наполняло мир. И вот Петя почувствовал, что с самолетом произошло что-то новое. Он продолжал бежать с прежней быстротой, даже еще быстрее, и вместе с тем уже совершенно не чувствовалось неровностей земли. Толчки прекратились.

Петя прильнул к окну и с крайним изумлением увидел внизу под крылом маленькую извилистую речку размером с садовый шланг, песчаный пляж и двух крошечных, хорошеньких лошадок посредине туманного луга.

Тогда мальчик понял, что с ним совершилось величайшее чудо, к которому людям до сих пор так трудно привыкнуть. Замирая, он понял, что летит по воздуху над землей.

И тут он сразу совершенно успокоился.

Не только пропал всякий страх, но даже появилась легкая отвага. Мальчик до того осмелел, что даже позволил себе встать с кресла и осторожно потопать ногами, желая убедиться, достаточно ли прочен пол. Пол оказался достаточно прочен. Было, конечно, чрезвычайно странно, даже жутко сознавать, что под этим прочным, но таким тонким полом, в сущности говоря, нет ничего. Пол держался ни на чем.

Пол висел в воздухе. И вместе с этим полом высоко над землей висел Петя. Висел и двигался. Он мог висеть и двигаться, сидя в кресле. Мог висеть и двигаться стоя. Мог лечь, и тогда бы он летел лежа, высоко над землей.

Петя часто летал во сне. Ему было хорошо известно это блаженное, свободное и жуткое чувство висенья над землей. Но во сне это было сладостное, бесшумное парение птицы. Во сне Петя плавал в воздухе, делая руками длинные плавательные движения. Во сне Петю подымала в воздухе таинственная, волшебная сила его желания, его напряженной воли. Стоило ему перестать хотеть, как он стремглав летел вниз.

Но сейчас, когда он летел не во сне, а наяву, все было совсем по-иному. Его несла над землей чья-то чужая, могучая воля. Чья-то чужая, могучая сила надежно держала высоко над землей и несла Петю, и папу, и кресла с пассажирами, и окошки, и крылья, и всю эту громоздкую махину транспортного самолета.

Что же это была за сила?

Это была сила двух громадных моторов, которые с беспрерывным, надежным ревом крутили трехлопастные винты, образуя вокруг самолета невидимый плотный вихрь. Все зависело от моторов. Стоило им остановиться, и самолет должен был неизбежно упасть.

Теперь, помимо своей воли, мальчик стал с напряжением вслушиваться в рев моторов. Это была могучая, многострунная, но однотонная симфоническая музыка, овладевшая окружающим миром. От этой музыки зависели жизнь и смерть. Иногда мальчик улавливал небольшие перебои в этой музыке, еле заметные изменения ее общего тона, совсем ничтожные изменения. Тогда мальчик начинал беспокойно вертеться, с тревогой заглядывать в окно, стараясь рассмотреть, не случилось ли чего-нибудь с мотором. Но правый мотор, который Петя мог видеть, прильнув к окну, попрежнему тяжело и неподвижно стоял на грубом крыле, в своем круглом кожухе, забрызганном черным маслом. А винта совсем не было видно. Не было заметно даже мелькающего прозрачного круга. Винт как бы совсем отсутствовал — так стремительно он вращался.

И каждый раз, когда музыка винтомоторной группы осторожно меняла свой тон, Петя замечал, что в мире происходят какие-то еле заметные, таинственные изменения. Например, лес, который раньше медленно передвигался внизу, как синяя, зеленая, серебристая овчина, как бы немного проваливался и теперь уже казался гораздо более мелким, каракулевым. Дышать становилось легче. На сердце делалось веселее...

9

В полете *(продолжение)*

Вдруг отец оживился, задвигался в своем кресле. Повернувшись к Пете, он крикнул:

— Поди сюда, Петруша! Скорее, скорее!

Он схватил сына за плечо и потащил к своему окну.

— Гляди же, гляди!

Петя посмотрел вниз, под крыло, и ничего особенного не увидел. Глубоко внизу наискосок тянулась струнка железнодорожного полотна. Полз суставчатый червяк поезда. Блеснуло стеклышко под крышей маленькой головатой водокачки. Весь в мелкой кудрявой зелени проплывал маленький прямоугольник какого-то пруда.

— Ну? Не понимаешь? — крикнул отец в самое ухо мальчика.

Петя замотал головой: не понимаю.

— Немчиновка! — крикнул отец.

— Где, где Немчиновка?

— Да вот же она. Неужели не узнаешь?

Петя никогда еще не видел Немчиновки сверху. Трудно было поверить, что эта маленькая кучка домиков, это зеркальце пруда, эта крошечная, совсем игрушечная, опрятная станция — все это было «Немчиновка». И все же что-то знакомое мелькнуло внизу. Петя прильнул к стеклу, стал соображать и вдруг понял, что именно это и есть Немчиновка, та самая Немчиновка, в которой столько лет подряд они жили на даче, где и сейчас, в эту самую минуту, находятся и мама, и сестры, и бабушка.

Это было так необыкновенно!

Меньше всего на свете думал Петя сейчас о Немчиновке — и вот! — такая неожиданность.

— Немчиновка! Верно! Немчиновка! — взволнованно сказал Петя. — Папочка, а где же наша дача?

— Да вот же она.

— Где, где?

— Экий ты какой бестолковый. Водокачку видишь?

— Вижу.

— Гляди левей водокачки, за прудом. Видишь?

— Не вижу.

— Да вот же, вот. Зеленая крыша.

— Где, где зеленая крыша?

— Да вон же, господи боже ты мой, за деревьями. За серебряными ивами.

— Не вижу, папочка.

— Ну, теперь уж и не увидишь. Пролетели.

Петя во все глаза смотрел вниз, но внизу уже не было ни пруда, ни водокачки, ни поезда. Внизу плыла какая-то незнакомая, но, судя по яркому кирпичу, еще совсем новая, большая, но сверху маленькая фабрика с высокой новой трубой. Мальчик напрасно всматривался вниз. Немчиновка уже была далеко. Ее нельзя было увидеть.

— Пролетели,— огорченно повторил мальчик, и его вдруг охватила такая тоска, что он готов был заплакать.

Он так ясно вообразил себе их дачу, террасу со старыми разноцветными стеклами, голубую ель, гамак, огород, колодец, кадку под водосточной трубой. Он представил себе маму в ситцевом фартуке, которая стоит на крыльце и смотрит из-под руки вверх на острокрылую серебристо-голубую тень самолета, только что пролетевшего над их домом высоко в туманном солнечном воздухе раннего утра. Может быть, она держит на руках маленькую Люсю и говорит ей на ушко:

— Смотри, дочка, вон папа и Петя полетели. Во-о-он!

А может быть, она машет им платком, а вокруг ее золотистой головы, как вокруг цветка, вьются желто-черные полосатые осы. И на ее глазах блестят слезы.

И все это неудержимо, невозвратимо унеслось назад, назад.

— Эх ты, разиня,— молвил отец, ласково притиснув к себе огорченного мальчика.

Но, сказать правду, мальчик огорчался недолго. Сознание того, что он летит на самолете, что он уже ничуть не боится, что в общем он молодец — отвлекло его от печальных мыслей, и он тотчас забыл и Немчиновку, и маму, и все то, что так неудержимо уплывало назад, может быть, навсегда.

10

В полете *(продолжение)*

Петя до того осмелел, что стал осторожно ходить по самолету. Сначала он немного прошелся в проходе между креслами — туда и назад — осторожно, шага три или четыре. Ничего ужасного не произошло. Мальчик рискнул сходить в хвост самолета, где лежали наваленные грудой чемоданы и мешки с почтой. Он постоял возле алюминиевой дверцы, запертой на задвижку. Он потрогал алюминиевую лесенку, прислоненную к стене, на которой висел термометр. Он посмотрел на термометр. Термометр был как термометр и показывал девятнадцать градусов тепла. Дальше была еще какая-то маленькая дверца, закрытая байковой портьерой. Петя долго колебался, прежде чем решился ее открыть.

Несомненно, за ней скрывалось что-то очень важное и даже может быть секретное: какие-нибудь сложные авиационные приборы, весьма возможно даже «автопилот», о котором Петя не раз читал в «Пионерской правде». Недаром же недавно туда ненадолго заходил командир корабля.

Петя оглянулся. За ним никто не наблюдал. Замирая от страха и любопытства, Петя нажал маленькую алюминиевую ручку и открыл загадочную дверцу. К его крайнему изумлению за щелкнувшей дверцей в тесном, суживающемся, почти треугольном пространстве помещалась уборная с висячим умывальником, зеркалом и двумя щетками — желтой для платья и черной для сапог. Мальчик заглянул вниз и увидел в кружочке, очень глубоко под собой, медленно плывущий каракуль леса. Он попробовал пустить воду. Потекла вода. Он захлопнул крышку и смущенно вышел из загадочного отделения. Он был разочарован.

Нет, положительно в самолете не было ничего необыкновенного. Правда, самолет л е т е л. Но кроме этого чуда — ничего. Конечно, впереди было еще отделение пилотов. Там сидели летчики и управляли самолетом. Иногда дверь оттуда отворялась, и в пассажирскую кабину врывался с утроенной силой шум моторов, виднелись две спины в кожаных пальто и два шлема, виднелись руки в громадных кожаных перчатках с раструбами, которые что-то делали, что-то передвигали. Но о таком счастье, чтобы проникнуть в это святая святых самолета, мальчик даже не смел и мечтать.

Но как страстно хотелось ему хоть одним глазком посмотреть вблизи, что там делается. Заложив руки назад — как папа — и делая вид, что он прогуливается, мальчик пошел по проходу вперед и остановился возле запертой кабины пилотов. Он присел на пустую санитарную койку и решил дождаться, когда кто-нибудь откроет дверь и можно будет заглянуть в кабину. Он готов был просидеть здесь хоть целую вечность.

Но ему не пришлось долго ждать. Дверь щелкнула, отворилась, и командир корабля, потягиваясь, вышел из рубки. Утроенный рев моторов хлынул в уши, и дверь закрылась так быстро, что Петя ничего не успел рассмотреть.

— Ну как, молодой человек? Летим? — весело спросил командир корабля, потирая руки.

Видимо, он был в прекрасном настроении.

— Не боишься?

— А чего бояться? — сказал Петя, равнодушно поджимая пухлые губы.

— Вот я это самое и говорю: а чего, собственно, бояться? — сказал командир корабля, почесывая бородку.

Тогда Петя вдруг — неожиданно для самого себя — вытянулся перед симпатичным командиром корабля, как солдат, для чего-то приложил руку к козырьку своей суконной кепки и неестественно официальным голосом произнес:

— Товарищ командир, от имени пионерорганизации 12-й московской школы очень прошу вас разрешить мне присутствовать в штурманской кабине при управлении воздушным кораблем,— и жалобно прибавил тоненьким, искательным голоском: — Пожалуйста, дяденька.

Он сам себе был противен за это унизительное и невероятно фальшивое «дяденька». Но ему так хотелось побывать в штурманской рубке. Он так умильно и так застенчиво смотрел в курносое лицо командира корабля снизу вверх своими нежными глазами с девчачьими ресницами. Впрочем, он отлично понимал, что чудес на свете не бывает. Ему еще никогда в жизни не встречался мальчик, который бы мог похвастаться тем, что находился во время полета в штурманской рубке.

И все же чудо свершилось. Оно не могло не свершиться в этот необыкновенный, волшебный день.

Командир корабля смерил мальчика с головы до ног высокомерным взглядом, сделал свирепое лицо и приставил указательный палец к петиному носу:

— Но имей в виду,— сказал он грозно,— руками у меня ничего не трогать. Знаю я вашего брата пионера. А тронешь — выкину за борт без парашюта. Понятно?

С этими словами командир корабля открыл дверь, и мальчик, не веря своему счастью, вошел по тесному коридорчику в штурманскую кабину. Но едва он вошел, как зрелище нового чуда заставило его схватиться рукой за кожаное пальто командира корабля.

Кабина была пуста. Под прозрачным колпаком из плестигласса, перед доской со множеством пульсирующих циферблатов, стояли два низеньких кожаных кресла, на которых никто не сидел. Перед каждым креслом сами собой синхронно покачивались два штурвала, за которые никто не держался, а внизу синхронно двигались сами собой четыре толстых педали, на которые никто не нажимал ногами. Можно подумать, что оба пилота стали невидимыми. Но это было не так. Один пилот — командир корабля — стоял рядом с Петей, а другой как раз в это время, согнувшись, выходил из крошечного закутка в коридорчике, запихивая в рот половину французской булки с любительской колбасой.

На счастье мальчика это был как раз тот волшебный миг, когда самолет летит один, сам собой, не управляемый человеком. И мальчик стоял без движения, очарованный этим новым чудом.

Продолжая цепко держаться за пальто командира, Петя смотрел на синхронно нажимающиеся педали, на покачивающиеся в лад штурвалы, на циферблаты, пульсирующие, как внутренности часов, на небо над прозрачным колпаком кабины, на дымчатое голубое небо, по которому навстречу самолету летели грубые космы серого тумана, несомненно казавшиеся с земли легким, ангельским опереньем июньского утра.

11

В полете *(окончание)*

Между тем Петр Васильевич, пока его сын переходил от чуда к чуду, сидел глубоко в кресле, вытянув ноги и наслаждаясь вынужденным бездельем путешествия.

Впрочем, сперва он сделал попытку заняться делами. Несмотря на всю мечтательность его характера, у него была очень деятельная натура,

он не выносил бездействия. Он вынул из портфеля бумаги, надел очки, которые употреблял только работая, и углубился в изучение документов к предстоящему арбитражу. Но арбитраж был неинтересный, документы тщательно подготовлены и изучены. Заниматься делом не хотелось. Петр Васильевич положил бумаги в портфель, но не сдался мечтательной лени, которая все сильнее и сильнее охватывала его. Он не снял рабочих очков. Он достал заветную тетрадь, куда вносил различные мысли и формулировки для своей предстоящей диссертации на звание доктора юридических наук. Диссертация была на тему «Понятие убытков в советском праве», и этой работе Петр Васильевич придавал большое значение. Она нравилась ему своей широтой и принципиальной новизной вопросов, которые он собирался поставить и решить в плане «личного, общественного и государственного», приведя все эти три понятия к социалистическому единству.

Ему часто приходилось в качестве крупного юриста, знатока арбитража, выезжать на места, и он любил в дороге помаленьку работать над своей диссертацией.

Но сегодня его мысли были слишком далеки от понятия убытков в советском праве. Может быть, это происходило потому, что теперь он впервые путешествовал не один, а вместе с сыном. Волнение мальчика не могло не передаться отцу. А может быть, он был особенно возбужден тем, что после долгого, очень долгого промежутка времени ему предстояло снова увидеть свой родной город.

Так или иначе, но на этот раз он никак не мог сосредоточиться на работе. Он покорно вздохнул, ловко снял, зацепив одним пальцем, очки и сунул их в боковой карман. И тотчас всю его душу охватила могучая, монотонная музыка полета. Она убаюкивала его. Она медленно погружала его в мир воспоминаний.

Он увидел себя маленьким восьмилетним мальчиком в длинных фильдекосовых чулках, которые немножко покусывали ноги, в матроске с голубым воротником, в круглой соломенной шляпе с тугой резинкой, больно натиравшей кожу возле ушей.

Было яркое осеннее утро. Гремя и поскрипывая, дилижанс катил по гладкой степной дороге. С одной стороны тянулась синяя полоса моря, с другой, насколько хватало глаза, открывалась дикая, сухая степь. Пахло вспотевшими лошадьми, пылью, дегтем, полынью. Иногда на горизонте проплывал древний скифский курган, иногда в сухой траве виднелся лошадиный череп, выбеленный дождями и ветром. Иногда въезжали в большое, сонное степное село. Тогда дилижанс останавливался возле колодца с журавлем, посредине черной площади, сплошь истыканной копытами скота. Кучер слезал с высоких козел дилижанса и ходил вдоль широкой улицы, желатинно-розовой от утреннего солнца. Он останавливался возле пустых дворов и пронзительно, резко трубил в свою маленькую медную помятую трубу, сзывая пассажиров. Потом «напували» лошадей из каменной колоды и ехали дальше, и опять проплывали древние скифские курганы, и опять среди лиловых слюдяных иммортелей белели лошадиные черепа, и опять в ушах маленького Пети — под спорый шопот копыт — продолжалась волшебная, грозная музыка «Песни о вещем Олеге», и опять синие тени облаков брели, как овцы, по неоглядному, волнистому простору степи.

Господи, как давно это было: почти сорок лет назад!

Трудно, почти невероятно было представить сейчас старшему юристу громадного всесоюзного наркомата Петру Васильевичу Бачей, почтенному, уважаемому в обществе человеку, что это именно он, восьмилетний Петя, стоял тогда на коленях на кожаной подушке скамьи перед

дребезжащим окном дилижанса, с жадным любопытством смотрел на бегущую степь и в сотый раз повторял про себя: «Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам. Их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам»...

Тогда Петя был почти самым младшим в мире. Любая вещь, любой человек, любое животное было старше Пети. Не говоря уже о степи, не говоря о курганах, о лошадиных черепах, о дороге, о море, о вещем Олеге, о хазарах, даже дилижанс, даже лошади, которые катили этот дилижанс, даже кучер, трубивший в трубу, даже эта медная труба со вмятиной — все это было гораздо, гораздо старше Пети. Все пассажиры в дилижансе, кроме Павлика, были старше Пети. Все мазанки, мимо которых проезжал Петя, все колодцы-журавли, все виноградники — все это было старше его. Он был моложе всех, и он с жадным любопытством всматривался в черты этого старого, но для него такого нового мира, желая его поскорее узнать и постичь.

А теперь все было наоборот.

Теперь он был почти старше всех. Во всяком случае, он был старше всех пассажиров самолета, старше самого самолета, старше его командира, старше борт-механика, радиста, второго пилота. Но как это ни странно, ничто не изменилось. Да, он был старше всех. Но именно поэтому с таким жадным любопытством всматривался он в черты этого нового, недавно народившегося мира, желая поскорее узнать его, постичь и помолодеть вместе с ним.

В этом, вероятно, и заключается самое драгоценное свойство бессмертной человеческой души — всегда быть молодой, всегда жадно стремиться к новому, всегда обгонять время.

Петр Васильевич изредка посматривал на сына, который после посещения штурманской кабины совершенно освоился и бегал по всему самолету, приставая к пассажирам и команде с расспросами. А ведь пройдет сорок лет — и, пожалуй, его сын Петя с нежностью и грустью будет вспоминать этот необыкновенный день, так же как теперь он сам, отец, вспоминает свое первое путешествие в дилижансе, а потом на пароходе «Тургенев». Тогда маленький колесный пароходик, который при попутном ветре ставил кливер, казался ему могучим достижением техники, а теперь он не мог вспомнить без улыбки его грубую, неуклюжую паровую машину, его красные колеса, его оркестр.

Очень может быть, через сорок лет, отправляясь в путешествие на каком-нибудь межпланетном корабле, его Петя — тогда уже солидный, почтенный человек, уважаемый член общества, Петр Петрович Бачей — вспомнит этот день, вспомнит автобус, вспомнит пассажирский «дуглас» и улыбнется с такой же нежностью и грустью, с которой улыбался теперь Петр Васильевич Бачей, вспоминая дилижанс и пароход «Тургенев»...

А самолет продолжал все лететь и лететь под непрерывную, однотонную и многострунную, могучую музыку своих моторов.

Он летел на высоте около двух тысяч метров.

Два слоя высоких летних облаков было под самолетом, и один слой находился над ним. Моторы опять переменили свой тон. Самолет стал пробиваться вверх, сквозь третий слой. Стало прохладно. Дышать сделалось еще легче. Кровь нежно и свежо шумела в ушах. За окном постепенно все заволоклось серым, быстро проносящимся туманом.

Самолет вырвался из третьего слоя.

Теперь над ним было яркосинее, холодное, совершенно чистое небо. Солнце обдавало жаром, и вместе с тем было холодно, как в горах.

Большая тень самолета, все время мелькавшая рядом, пронеслась по верхнему слою облаков, вдруг сорвалась с облака, очутилась, значи-

тельно уменьшившись, где-то внизу, скользнула по второму слою облаков, потом опять сорвалась, пронеслась, сильно увеличившись, опять по первому слою, сорвалась, провалилась во мгновение ока на головокружительную глубину, пролетела по какому-то лугу, маленькая, как стрелка, потом вдруг опять села на верхний слой и некоторое время мчалась на облаке, а потом вдруг опять стала проваливаться в бездонную глубину, прыгая вниз по облачным слоям, как по широким ступеням.

И среди этих ослепительно белых, голубых, пронзенных солнечными лучами облаков, которые двигались, беспорядочно громоздились и плавали в три слоя под самолетом, среди этого небесного кладбища с глыбами неоконченных мраморных памятников ангелам, старший юрист Петр Васильевич Бачей почувствовал себя бессмертным, как бог.

12

Петя Бачей — вице-президент

Музыка моторов стала быстро менять тона.

Сначала она усилилась, потом как будто пошла на убыль, стала запинаться, и, наконец, наступила тишина. Самолет как-то переменил положение в воздухе.

Петя испуганно схватился за спинку кресла и посмотрел в потемневшее окошко. Оно потемнело потому, что вся его площадь была сплошь закрыта странно поднявшимся крылом. Мальчик бросился к противоположному окну. Оно было угрожающе пусто. Оно сияло всей силой летнего солнца. Мальчик не увидел в нем крыла. Крыло исчезло. Петя смотрел в окно, как в колодец. Где-то глубоко внизу медленно и плавно поворачивалась земля.

— Падаем! — крикнул Петя.

— Успокойся. Харьков, — смеясь сказал отец и обнял сына за плечи. — Приехали. Станция.

Петя увидел под собой ровные клетки города, площадь и какой-то маленький, но, очевидно, в действительности громадный, многокорпусный дом, похожий на друз — скопление серых кристаллов.

— Харьковский Дом промышленности, — сказал отец.

Потом внизу появился и проплыл в сторону как бы стоящий на громадном крутом косогоре косой завод с косыми трубами и большой, но сверху маленький пруд ядовито-розового цвета.

— Химический завод, — сказал отец.

Земля выравнивалась и приближалась. Петя не только видел ее приближение, как в лупу. Он его чувствовал всем своим организмом. Могучая сила плавно несла и притягивала к земле тело мальчика, ставшее ощутительно грузным. Но самолет стремился к земле еще быстрее. Пол уходил из-под ног Пети. Минутами мальчику казалось, что он повисает в воздухе над креслом.

Сердце сильно сжималось и замирало.

Телеграфные столбы и шоссе с автомобилями пронеслись так быстро, что Петя отшатнулся от окна. Вслед за этим Петя очень близко увидел пыльную траву, шибко бегущую навстречу. Мальчик уже различал в траве ромашки и еще какие-то неизвестные цветы—мохнатые, лилово-розовые, в виде хвостиков, чешуйчатые.

Самолет стлался над самой землей, но теперь он уже не летел. Он бежал. Хвост медленно опустился и несколько раз мягко подскочил. Самолет грузно катился по земле, ничем уже не отличаясь от обыкновенного автомобиля.

И Петя почувствовал в одно и то же время и горькую обиду, что он уже больше не летит, и вместе с тем глубокое облегчение, что он уже находится на твердой, надежной земле.

Оглушенный тишиной, мальчик спустился по алюминиевой лесенке на жаркую траву. Его пошатывало. Голова немного кружилась. В ушах болело. Сильное южное солнце било в глаза. Знойный ветерок обдавал пряными запахами незнакомых степных трав.

Украинское утро только-только разгоралось. И было до крайности странно и сладко сознавать, что это то же самое утро, которое так недавно началось в Москве.

Может быть, в этот час мама еще спит, а он уже в Харькове и уже вокруг все другое — и травы, и воздух, и солнце.

— Ну, как вы себя чувствуете, юный воздухоплаватель? — сказал веселый командир корабля, разминая длинные ноги.

Петя равнодушно пожал плечами.

— Молодец мальчик.

Чувствуя гуденье во всем теле, Петя с наслаждением растянулся на горячей траве. Теперь, когда он лежал на прочной, неподвижной земле и смотрел вверх, он испытывал восхитительное чувство покоя и свободы. Он видел небо и облака, но теперь уже они не казались ему такими недоступными. Он только что был там, рядом с ними, и через пятнадцать минут опять отправится туда. Он смотрел на птиц горделиво, даже немного снисходительно, как на своих младших братьев. Он отдыхал от полета. Отдыхало не только его тело. Отдыхала его душа, которая была в таком страшном напряжении в течение почти трех часов, пока они находились в небе.

В общем, путешествие началось восхитительно.

Правда, все оказалось не вполне таким, как предполагал мальчик. У него был заранее составлен план деятельности во время путешествия.

По этому плану Петя должен был во время полета непрерывно наблюдать за всеми явлениями природы и тут же записывать свои наблюдения в специальную тетрадь. Помимо крупного научного значения, которое могли иметь эти заметки для кружка юных натуралистов, вице-президентом коего состоял Петя, в них еще была та прелесть, что в начале каждой заметки можно было обозначить «столько-то часов, столько-то минут и секунд по среднеевропейскому времени, температура воздуха такая-то, на борту самолета номер такой-то».

Чего стоило одно это лаконичное «на борту»!

Кроме доклада, который Петя рассчитывал сделать после возвращения из путешествия, не исключалась возможность напечатать эти научные материалы в «Пионерской правде». Петя предвкушал, какой эффект они произведут среди широких читательских масс, особенно знаменитая фраза: «на борту самолета».

Петя взял с собой в путешествие много открыток, конвертов, почтовой бумаги, для того чтобы писать с дороги родным и знакомым. Первую партию депеш Петя рассчитывал написать также на борту самолета.

Можно себе представить, какой визг поднимут сестры, как закудахчет бабушка, как будет горда своим ученым сыном мамочка, когда почтальон принесет петину открытку, бесстрашно написанную в облаках, на борту самолета.

Что касается приятелей и приятельниц, то о них и говорить нечего.

Некая Оля Нечаева, небось, локти себе будет кусать от раскаяния, что отвергла глубокое чувство такого серьезного, скромного и, главное, бесстрашного человека, как Петя, ради поверхностной и крайне легко-

мысленной дружбы с Виктором Садовниковым, хотя и красивым, но, по правде сказать, довольно-таки глупым, малообразованным товарищем, у которого, кроме собственного велосипеда и взрослой прически, ничего нет за душой.

Петя не будет укорять Олю Нечаеву. Его слова будут полны ледяного холода, сдержанного достоинства. Коротко и сухо. Ничего лишнего: «6 час. 45 мин. по московскому времени. На борту самолета номер такой-то. Температура воздуха 19 градусов выше нуля по Цельсию. Здравствуй, Ольга. Исполняю свое обещание и пишу тебе эти немногие строки с борта самолета номер такой-то. В настоящую минуту нахожусь в полете. Высота 1 400 метров над уровнем моря. Облачность низкая. Видимость 800—900 метров. Небольшой встречный ветер. Обледенения пока еще нет. Только что осматривал кабину пилота и знакомился с винтомоторной группой. Крейсерская скорость 250 километров. Маслопровод работает бесперебойно. Ольга, очень жаль, что ты не поехала с нами в прошлое воскресенье на Клязьму к Тане Бирюковой. Было о ч е н ь весело (слово «очень» надо трижды подчеркнуть!). Оля, извини, что пишу так мало — совершенно нет времени, беспрерывно приходится делать научные наблюдения и систематизировать материалы. Все-таки жаль, что ты тогда не захотела поехать на Клязьму. Я о ч е н ь подружился с Татьяной Бирюковой. («Очень» — трижды подчеркнуть). У нас с ней обнаружилось много общего. Твой бывший друг Петя Бачей («бывший» — два раза подчеркнуть). Передай привет Виктору».

Приблизительно в таком духе Петя предполагал вести свою переписку с друзьями. Затем он предполагал вести научный дневник и прочее.

Но ничего этого Петя не сделал. Он был слишком захвачен, слишком потрясен чудом полета. Впрочем, время еще не ушло. Теперь, когда он понемногу пришел в себя, он решил наверстать упущенное. Он вынул из бокового кармана открытки с заранее написанными адресами, аккуратно очиненный карандаш «Пионер», ластик. Поудобнее устроившись на траве, Петя принялся за дело.

Стараясь писать как можно небрежнее, что должно было соответствовать его нахождению в воздухе, он набросал на первой открытке: «На борту самолета № 2897». Но тотчас он испытал неловкость. Петя был правдивый мальчик. Даже самая маленькая ложь приводила его в смущение. Десять минут назад он, действительно, находился на борту, но ведь сейчас он лежит животом на земле. Правда, самолет находится невдалеке и заправляется бензином из большой автоцистерны. Правда, через пятнадцать минут они снова поднимутся в воздух и полетят дальше. Но это дела не меняло. Факт остается фактом: Петя не находился на борту. А отправлять депешу без обозначения «на борту самолета» не имело никакого смысла. Вся соль была именно в этом обозначении. Не писать же в самом деле «лежа на земле, недалеко от самолета № 2897». Это было бы по меньшей мере глупо.

Пете очень хотелось отправить открытки из Харькова, чтобы они поскорее пришли в Москву. Но лгать он никак не мог.

Что же делать? Как быть?

Петя находился в большом затруднении. Он уже готов был с величайшим душевным прискорбием стереть ластиком магические слова «на борту самолета», как вдруг ему пришла очень простая мысль: стоит только влезть обратно в самолет — и тогда с чистой совестью можно писать «на борту». Это будет чистейшая правда. Что же касается низкой облачности, видимости и высоты, то, право же, мальчик не видел в этом особенной лжи.

И в самом деле. Облачность есть? Есть. Видимость есть? Есть. А что касается высоты, то, с некоторой натяжкой, можно подразумевать, что высота 1 400 метров тоже есть. Собственно, она не есть, а она была. Но ведь она была совсем, совсем недавно, только что, перед самым спуском на харьковский аэродром. Не совсем точно выходит, но ведь в конце концов высота была? Была!

Сделав эту небольшую натяжку и успокоив совесть, Петя собрал свои походные письменные принадлежности и уже взялся было руками за лестничку, чтобы вскарабкаться «на борт самолета», как вдруг его внимание было привлечено группой пассажиров.

13

Галочка

Они приближались к самолету.

Впереди большими шагами шел командир корабля, неся на плече маленькую пеструю девочку. Рядом, едва поспевая, семенила взволнованная старушка. В одной руке она держала плетеную кошелку, набитую дорожными вещами, другой рукой старалась схватить пеструю девочку за ножку.

Крепко держась за голову командира корабля, пестрая девочка визжала, хохотала и брыкалась.

Подойдя к самолету, командир корабля размашисто, но осторожно поставил девочку на траву, покрытую ромашками, а старушка стала оправлять на девочке юбку.

Как видно, девочка была большая непоседа. Она ни одной минуты не стояла спокойно. Она все время вертелась, бросая на Петю быстрые, любопытные взгляды.

Ей было лет восемь, но по росту она казалась совсем маленькой. Петя с изумлением смотрел на это веселое, живое существо. Он никогда еще не встречал таких хорошеньких девочек. Она не была красива в том смысле, как это мог понимать московский мальчик. Это была маленькая, жгучая, южная красавица, украинка.

Всё в ней было необыкновенно. Всё поражало непривычной яркостью красок — сильных и вместе с тем мягких. На ней были красные сапожки, короткая юбочка, вышитая украинская рубашка с широкими рукавами, а в косы вплетены разноцветные ленты. На тоненькой смуглой шейке болталось несколько ниток бус. На прелестной лаково-черной головке боком сидел большой венок из ромашки, который она, видимо, успела сплести, дожидаясь самолета.

Но главная ее прелесть заключалась в цвете лица — такого загорелого, почти черного, что жаркий, смуглый румянец еле-еле просвечивал сквозь каштановую копоть его загара.

Маленькие карие глазки с глянцевитыми миндальными белками быстро и весело блестели из-за редких черных ресниц, похожих на сухие чаинки.

Где-нибудь в другом месте, на севере, она могла бы показаться слишком яркой. Но здесь, среди пестрого южного аэродрома, среди ромашек, дикого мака, чебреца, дрока она была так же на месте, как мальва или подсолнух перед белой мазаной хаткой.

— Ну, — сказал командир корабля, обращаясь к Пете, — нравится тебе эта небольшая украинская дивчина? Можешь познакомиться. Галочка, дай мальчику руку.

Она протянула Пете руку и посмотрела в его глаза снизу вверх. Петя не без смущения протянул ей руку и снисходительно усмехнулся.

— Галина, — сказала девочка.

— Петя, — сказал Петя.

— Знакомство состоялось, — сказал командир корабля.

И все пассажиры охотно засмеялись.

Трехлопастные винты самолета вращались все быстрее и быстрее. Воздух пригибал к земле украинские цветы аэродрома. Свежий ветер дул по лицам. Пассажиры один за другим спешили подняться по лесенке. Дверца захлопнулась. Самолет побежал.

Только теперь Петя заметил, что старушка осталась на земле. Оказывается, девочка путешествовала одна.

Пробираясь в штурманскую рубку, командир корабля сказал Пете:

— Ты ее, смотри, не обижай. Возьми над ней шефство...

— Ладно, — солидно буркнул Петя.

Он искоса посмотрел на девочку, которая хотя немного и шаталась, но все же довольно устойчиво стояла на своих ножках на полу бегущего самолета.

Петя уселся в кресло, разложил на коленях свои письменные принадлежности и собрался писать, сказав наставительно девочке:

— Ты, девочка, не бойся. Смотри на меня — я же ведь не боюсь. Держись за кресло. Или, лучше всего, сядь.

— Я не хочу сидеть, — сказала девочка.

— Ну так стой. Только не вертись все время перед глазами и не мешай мне писать.

— Ничего подобного.

Петя от неожиданности даже привстал с кресла.

— Что — ничего подобного? — строго спросил он.

— Ничего подобного, — повторила девочка. — Я не хочу стоять. Я хочу бегать. Давай бегать.

— На борту самолета надо вести себя прилично, — внушительно заметил Петя, — а вовсе не бегать. Смотри лучше в окно — будешь мне помогать делать метеорологические наблюдения.

Он взял девочку за плечи и прижал её головой к стеклу.

— Гляди и наблюдай. Когда самолет будет отрываться от аэродрома, сейчас же сделаешь мне знак. Это очень важный момент. Я его сейчас же засеку в бортовом журнале.

— Ничего подобного! — быстро сказала девочка, упрямо мотнув головой с ленточками.

— Что — ничего подобного?

— Ничего подобного. Мы уже давно летим.

Петя снисходительно усмехнулся.

— Не летим, а еще пока бежим. Видишь?

Из-под большого грубого крыла, вдоль и поперек простроченного линиями клепки, бежала назад струящаяся зелень аэродрома. Она была так близко, что до нее, казалось, можно легко дотянуться рукой. И вдруг откуда-то спереди, снизу вывернулось большое дерево. Оно махнуло прямо в лицо Пети всей своей темной массой, мигающей на солнце мелкими листьями. Мальчик отшатнулся от окна и во весь голос крикнул:

— Ой!

Он съежился, зажмурился. Вот сейчас, сию минуту раздастся страшный треск — и все будет кончено. Но вместо этого он услышал веселый, вызывающий хохот девочки, которая кричала:

— Ай, как не совестно, испугался! Ай, как не стыдно, испугался!

Петя робко приоткрыл глаза и покосился на окно. Под крылом пронеслась черепичная крыша. Она пронеслась так близко, что, казалось, самолет вот-вот чиркнет по черноватой черепице и свалит трубу, возле которой невозмутимо грелась на солнце кошка. Мальчик опять отшатнулся и зажмурился.

— Ох!

На этот раз девочка с любопытством посмотрела на побледневшего Петю.

— Видишь, а ты еще спорил, что бежим. Не бежим, а летим. Моя правда, — сказала она и прибавила тоном превосходства:—Нельзя быть таким нервным. А еще пионер.

— Мне показалось, — смущенно пробормотал Петя.

— Показалось, показалось, — сварливо заметила девочка, поправляя на голове венок и явно кому-то подражая — вероятно, бабушке. — Перекрестись, если показалось.

Она еще немножко поворчала и сменила гнев на милость.

— Ну, ничего. Привыкнешь. Ты, наверное, первый раз едешь на самолете? Да?

— Первый раз, — неохотно сознался Петя.

— Вот видишь.

— Чего — вот видишь?

— Вот видишь, что бреющего испугался. Гэ!—и девочка передернула плечиками.

Петя суетливо ерзнул в кресле.

— Чего бреющего? Где бреющий? — быстро спросил он, вертясь и оглядываясь во все стороны.

Девочка снисходительно улыбнулась.

— Чудак человек. Давно уже идем на бреющем. Посмотри в окно. Не бойся. Ничего нет страшного.

Она потянула мальчика за рукав к окну. Близко под крылом продолжала плыть земля. Неслись дороги, телеграфные столбы, грядки, колодцы-журавли. Большая тень самолета с острыми, распластанными крыльями и высоким рулем пересекала огороды. Она ломалась на плетнях, впрыгивала на деревья, снова падала и стремительно стлалась по неоглядным полям колхозной пшеницы, густой и мягкой, как мех.

Дух захватывало от этого могучего движения машины, которая, как бы издеваясь над силой земного притяжения, не желала улетать за облака, а нарочно неслась над самой землей, пугая ревом овец, разбегавшихся во все стороны в облаках белой пыли.

Петя уже ничего не боялся.

Его душой овладело отчаянное, удалое чувство бреющего полета. Как не похоже было это чувство на холодноватое наслаждение медленным, почти неподвижным полетом на высоте двух тысяч метров между ярусами больших и маленьких облаков, сонно плавающих над плоскогорьями мира.

Там, несмотря на пощелкиванье в ушах и напористый, напряженный хор моторов, было спокойное, почти безмятежное созерцание.

Здесь был восторг головокружительного движения, опасной борьбы с пространством и временем. Здесь самолет перестал быть птицей. Он мчался очертя голову, как воздушный автомобиль, почти задевая землю и перепрыгивая через стога сена и деревья.

И мальчику казалось, что он сам, вцепившись руками в чехол переднего кресла, изо всех сил гонит могучую машину вперед и вперед, на юг, в таинственную страну папиного детства.

14

Галочка *(продолжение)*

Машина неслась так быстро, природа вокруг изменялась так плавно и в то же время так явственно, что мальчик совсем потерял ощущение времени. Он был целиком поглощен новизной красок широко набегающего юга.

Уже давно не было видно хвойных лесов. Пропали березовые рощи. Во все стороны до самого горизонта простиралась степь, непривычно оголенная, пустынная. Стали попадаться ветряные мельницы, которых Петя до сих пор никогда еще не видел. Вдоль балок тянулись белые мазанки больших сел. Над глинистыми ставками, даже на вид теплыми, тускло, мелко рябили на солнце пыльные купы незнакомых серебристых деревьев.

Все было невиданно, все было ново.

Но главная новизна заключалась в яркости и силе солнечного света, как бы в светоносности самого воздуха. Воздух был накален и пронизан не только видимыми лучами солнца, но и невидимыми — теми таинственными, лежащими за пределами спектра ультрафиолетовыми лучами, которые с ощутимой силой касались кожи, льнули к ней, почти обжигали.

В самолете становилось все жарче, все душнее. Но это была какая-то легкая, целебная духота. Мальчик вспотел. Его стало клонить ко сну. Но вдруг он вспомнил, что надо делать наблюдения над явлениями природы, надо подготовлять научные материалы для корреспонденции в «Пионерскую правду», надо писать друзьям и знакомым открытки с борта самолета. Теперь открытки могут выйти совсем замечательные. Мало того, что там будет неотразимая пометка «на борту самолета». К этому теперь можно прибавить еще более небрежным и даже еле разборчивым почерком: «на бреющем полете», и тогда мы посмотрим, как почувствует себя Оля Нечаева и какой вид будет иметь самодовольный тупица Виктор Садовников. Шутка сказать — на бреющем полете! Нет, товарищи, такого случая пропустить нельзя. Такой случай бывает раз в жизни.

Петя встрепенулся и стал торопливо доставать из нагрудного кармана письменные принадлежности. Но их не оказалось. Они исчезли. Мальчик вскочил с кресла и тут же почувствовал, что на его голове что-то подскочило и съезжает на лоб. Петя схватился за голову и обнаружил, что кепка исчезла, а вместо нее на голову надет венок из ромашек. А Галя в петиной кепке набекрень сидела в хвосте самолета на чемоданах и, болтая ногами, рисовала петиным карандашом на петиных открытках.

— Ну, это уже чорт знает что! — воскликнул мальчик, густо краснея.

Он больше всего на свете боялся показаться смешным. И вот именно теперь, в самый высокий, почти торжественный момент героического бреющего полета, на глазах у пассажиров, он оказался в таком юмористическом, просто дурацком виде: потный, взъерошенный, с красным, растерянным лицом, обманутый, и в довершение всего с венком на голове вместо похищенной кепки.

Хорош гусь!

Он готов был заплакать от злости и обиды.

— Сейчас же отдай мои письменные принадлежности, — сказал Петя сквозь зубы, сверкнув черными, как антрацит, глазами. — Слышишь? Сию же минуту!

Но на девочку это не произвело никакого впечатления. Она посмотрела на разъяренного Петю, замахала руками и вдруг залилась таким

высоким, таким чистым и таким простодушным смехом, что показалось, будто в самолете стали звонить в маленький хрустальный колокольчик.

— Не смей портить мои открытки! — заревел Петя страшным голосом. — Не смей рисовать на моей бумаге. Она мне нужна для научной работы! Понятно?

Но, очевидно, озорной девчонке это было совершенно непонятно, так как она сморщила нос и дерзко показала Пете язык. Оскорбительный вид этого свежего, розового языка окончательно лишил мальчика душевного равновесия. В один миг забыл он, что является крупным общественным деятелем — вице-президентом столичного кружка юных натуралистов, и ринулся в бой, воинственно выкрикивая:

— Отдай мои открытки! Отдай мою кепку! А то как стукну!

Но не так-то легко было взять эту девчонку голыми руками. Она, как обезьяна, прыгала по чемоданам. Она увертывалась, падала, хохотала. Она выскальзывала из рук. Прыгали бусы, развевались ленты.

Вице-президент хлопотливо сопел, но ничего не мог поделать с этим маленьким черномазым созданием, хитрым и увертливым, как шарик живого серебра.

— Папа! Ну, папа же! — плаксиво взывал Петя к отцу.—Скажи ей, пусть она сейчас же отдаст мои открытки.

Но Петр Васильевич, оказывается, нисколько не сочувствовал своему неуклюжему сыну. Все его симпатии были на стороне быстрой, ловкой девочки.

— Какой же ты пионер, а тем более, вице-президент, если тебя околпачила такая маленькая девочка, — сказал он, с удовольствием щурясь на раскрасневшуюся Галочку, которая, улучив минутку, ловко содрала с головы мальчика венок, быстро закрутила его на руке и подбросила вверх. Петя жалобно оглянулся на пассажиров, но и среди них не нашел сочувствия. Они все смеялись, радуясь этой забавной борьбе, этому маленькому дорожному развлечению.

Мальчик понял, что они потешаются над его неловкостью и вместе с тем как бы одобряют своим смехом девчонку.

«Ах так, — подумал Петя, — так я же вам всем сейчас покажу».

Он ловко прыгнул на чемоданы и схватил девочку за плечи.

— Сдавайся! — сказал он сопя.

Но в этот же миг девочка сжалась в комочек и вдруг скользнула вниз, как будто выпала из его рук. Петя не успел глазом мигнуть, как она спрыгнула с чемоданов и, точно ящерица, юркнула под груду наваленных чехлов от моторов. Петя плашмя упал сверху. Но она уже успела выползти из-под чехлов с другой стороны, вскочила на свои крепкие стройные ножки и побежала к штурманской рубке.

Потирая ушибленное колено, Петя бросился за ней, но она успела вскочить в рубку, показать мальчику язык и захлопнула звонкую алюминиевую дверцу перед самым его носом. Петя навалился на дверь и стал барабанить по ней кулаками крича:

— Ага! Испугалась? Ага! Испугалась? Сейчас же отдай мои открытки.

Дверь отворилась, и Петя увидел перед самым своим носом высокую фигуру командира корабля.

— Ну нет, братцы, это не годится, — сердито сказал он. — Так вы мне, чего доброго, весь аэроплан поломаете. Довольно баловаться, а то я вас обоих покидаю за борт. Хватит.

— Пусть она сначала отдаст мои открытки и кепку, — сумрачно сказал Петя, пытаясь пролезть мимо командира в рубку.

— Дядя Вася, не пускайте его! — визжала девочка, выглядывая из-за спины летчика и показывая Пете язык.

— А вы скажите ей, чтоб она не дразнилась. Чего она все время язык показывает.

— Вот что, братцы: вы мне уже надоели.

Сделав страшное лицо, командир корабля одной рукой крепко схватил за шею Петю, другой — Галочку и стал их сводить.

— Миритесь!

— Пускай она сначала отдаст мои письменные принадлежности.

— А пускай он за мной не гоняется.

— Миритесь! — грозно рявкнул командир.

— Это она виновата. Пусть она первая.

— Ничего подобного. Он первый.

— Галка, не ври, — строго сказал командир корабля. — Я тебя хорошо знаю. Слава богу, не первый раз вижу на своей лайбе. Наверное, ты первая. Ты известная заводиловка. Мирись! Ну, кому я говорю?

Девочка посмотрела на него снизу вверх оживленными карими глазками, чуть заметно подмигнула — и вдруг, в один миг, превратилась в кроткого, послушного ребенка. Она скромно опустила ресницы, обдернула юбочку и, не глядя на Петю, робко подала ему из-за спины командира открытки и кепку.

Петя взял свои вещи и с удивлением заметил, что открытки и бумага были совершенно чистые, не изрисованные.

— Это я нарочно, только делала вид, что рисую. А на самом деле я вовсе не рисовала, — вежливо сказала девочка, продолжая не смотреть на Петю.

— Спасибо, — несколько смущенно, но все еще сердито буркнул Петя.

— Ну? — сказал командир корабля.

Девочка из-за спины командира корабля протянула Пете руку со смуглым мизинчиком, согнутым в колечко, и застенчиво подняла на мальчика глаза.

— Ну? — повторил командир Пете.

Петя растерянно смотрел то на командира корабля, то на согнутый мизинчик, не понимая, чего от него хотят.

— Ну? — повторил капитан, подталкивая Петю к девочке. — Не знаешь, что нужно делать?

— Н... не знаю.

— Чудак человек. Неужели не ясно?

— А чего ясно?

— Она тебе предлагает мир.

— У них, наверное, в Москве так не мирятся, — заметила девочка.

— А у вас на Украине как мирятся? — с живейшим любопытством спросил Петя.

— Смотря где. У нас в Харькове, например, мирятся так.

И девочка тут же охотно показала, как мирятся в Харькове: она зацепила мизинчик за мизинчик, потрясла и розняла.

— Хочешь?

Петя снисходительно пожал плечом.

— Пожалуйста.

И, став боком, он протянул девочке мизинец, согнутый, как ручка чайной чашки.

Они сцепились мизинцами и смущенно, как это, впрочем, всегда бывает, когда люди мирятся, покачали руками и расцепились.

— Мир? — радостно спросила девочка.

— Мир, — ответил Петя равнодушно, хотя в глубине души почувствовал радостное облегчение и, я бы даже сказал, некоторое ликование.

— Инцидент исчерпан, — сказал командир корабля, слегка стукнул детей лбами и, как доброе божество, величественно удалился в штурманскую рубку.

Мальчик и девочка некоторое время стояли, глядя в разные стороны. Они не знали, что им делать друг с другом теперь, когда они были официально в мире.

Девочка первая справилась с неловкостью.

— Знаешь что? — сказала она с таким видом, как будто сделала необыкновенно важное открытие.

— Что?

— Давай будем гулять по самолету.

— А зачем? — резонно спросил Петя, в котором опять заговорил солидный и рассудительный пионер-общественник, вице-президент кружка юных натуралистов.

— А нарочно, — легкомысленно тряхнув всеми своими лентами и бусами, сказала девочка.

— А давай! — вдруг с самым бесшабашным видом сказал Петя, поддаваясь очарованию ее легкости.

И последний час воздушного путешествия прошел совсем незаметно.

Сначала они прохаживались туда и обратно по тесному проходу между кресел. Они не помещались в этом проходе рядом. Они ходили друг за другом, дружески подталкивая в спину то она его, то он ее.

Потом Галя упросила дядю Васю позволить им немножечко посидеть в штурманской рубке, в том тесном и таинственном закоулке, где, низко наклонившись перед своим аппаратом, молчаливый радист в наушниках дробно постукивал ключом, все время переговариваясь с одесским аэродромом.

Потом они опять гуськом прохаживались по самолету, потом чинно сидели на чехлах от моторов, девочка разболталась, и Петя узнал о ней много интересного.

Он узнал, что она живет у бабушки, папиной мамы, в Харькове и теперь едет в Одессу повидаться с папой; что папа у нее пограничник: что командир корабля, дядя Вася, старый приятель папы, так что всякий раз, когда ей надо повидаться с папкой, дядя Вася берет ее на свой корабль и даром везет в Одессу.

Девочка рассказала также, что она учится в школе в первом классе — перешла во второй, ходит в кружок народного танца и уже два раза плясала на сцене в клубе железнодорожников.

Еще Петя узнал, что у девочки была мама, которая давно умерла, а у мамы есть папа, дедушка Родион Иванович, старый матрос Черноморского флота, один из участников восстания на знаменитом броненосце «Потемкин». Дедушка этот проживает сейчас в городе Николаеве.

Так вот оно что! Оказывается, девочка-то совсем не простая!

В особенности поразил петино воображение дедушка с «Потемкина», с того самого легендарного броненосца, о котором мальчик читал в книгах, который видел в кино и о котором ему иногда рассказывал отец. Ведь «Потемкин» был корабль из страны папиного детства.

Было невероятно, даже как-то страшно представить, что в каком-то неведомом городе Николаеве и посейчас живет человек, поднимавший первое революционное восстание в русском царском флоте.

Для Пети даже Великий Октябрь, и тот лежал где-то далеко за пределами его жизни, в тумане времени. А первая революция — тысяча девятьсот пятый год—казалась и вовсе какой-то сказочной былью

с ее баррикадами поперек улиц, казачьими сотнями, студентами, рабочими, красными флажками, пожаром Пресни, городовыми и порванными телефонными проводами, спутанными и тяжело провисшими до самой земли, покрытой пухом перин, обломками мебели и мусором бакалеи.

Там было Черное море, затянутое грозным дымом эскадры, и тень трехтрубного броненосца, который, как призрак, появлялся во мгле шторма у высоких берегов с маленьким красным флагом над боевыми башнями.

Буря бежала по матросским воротникам, по черно-оранжевым георгиевским лентам с золотыми якорями; кричали чайки, белыми стаями падая и взлетая с малахитовых волн; молодой коренастый матрос с выпуклой грудью, Родион Жуков, стоял на марсе, размахивая шапкой, — и Пете почти немыслимо было представить, что это именно он, тот самый Родион Жуков, вот сейчас, сегодня, в данную минуту, живет на земле, в Советском Союзе, в городе Николаеве, и маленькая черномазая девчушка называет его просто дедушка Родион Иванович.

Все это было совсем, совсем необыкновенно!

15

Море!

В кабине стало еще жарче. Местность опять изменилась. Теперь это была настоящая, местами первобытно-дикая, черноморская степь, сухая и желтоватая, несмотря на июнь месяц. Показались какие-то большие, плоские озера.

Пассажиры оживились и стали смотреть в окна.

Тень самолета скользила по разливу мелкой воды, покрытой бегущими пятнами кропотливой ряби. Зелено-ржавые отмели виднелись сквозь тяжелую васильковую воду, такую густую, что кое-где она даже отсвечивала розовым, почти малиновым цветом.

— Тилигульский лиман, Тилигульский лиман! — сказала девочка и возбужденно захлопала в ладоши. — Скоро Одесса, скоро батьку своего побачу.

Она так разволновалась, что даже заговорила по-украински, и смутилась, украдкой взглянув на московского мальчика.

— Будем лететь через Дофиновку, — сказала она, всматриваясь в местность.

Услышав эти волшебные слова из мира папиного детства — Тилигульский лиман, Дофиновка, Петя почувствовал легкий холодок сердечного волнения. Он даже как-то сразу присмирел. Он подошел к отцу, который, не отрываясь, с жадностью смотрел в окошко. Петя положил ему руки на плечо и прижался к нему, как бы прося, чтобы он разделил с ним, его сыном, свое растущее волнение.

Петр Васильевич понял душевное движение сына. Он снял с мальчика кепку и ласково поерошил его теплые, сырые волосы.

— Ну что, Петруха, подлетаем?

— Подлетаем, — тихо сказал мальчик.

Петр Васильевич был взволнован не меньше Пети. Пожалуй, он волновался еще сильнее. Они оба — отец и сын — тесно прижались к окошку, стараясь заглянуть вперед, поверх крыла, туда, где жарко серебрился яркий утренний воздух.

Впереди поплыло что-то сухое, розовое.

— Дофиновка, — сказал отец, нажимая лбом на упругое небьющееся стекло.

Петя напрягал зрение, но ничего не мог рассмотреть впереди, кроме этого сухого, розового.

Режим полета ощутимо изменился. Машина стала плавно и быстро, но почти незаметно для глаза подыматься все выше, все выше. В ушах защелкало. Машина набирала высоту. Она набирала ее, как бы подымаясь со ступени на ступень по широким воздушным террасам.

— Море! — весело сказал командир корабля, показываясь на пороге своей рубки.

— Море! — кричала девочка. — Море!

— Черное море, — тихо сказал Петр Васильевич, крепко прижимая к себе сына.

Но Петя попрежнему ничего не видел: ни Дофиновки, ни моря.

— Где же, где море? — тревожно повторял он, напрягая зрение, чтобы увидеть впереди море, и ничего не видел, кроме яркого, серебристого света, струящегося на горизонте.

— Да вот же оно. Тут, внизу. Под нами. Неужели не видишь?

Петя посмотрел, насколько было возможно, вниз и вдруг глубоко под собой увидел кусок цветной географической карты. Он совершенно отчетливо увидел неровную линию, отделяющую бурую сушу от аквамариновой воды.

Развернувшись на юго-запад, самолет шел над кромкой берега. Длинные синие морщины в несколько рядов тянулись вдоль берега, в точности повторяя его очертания.

— Что это такое? — спросил Петя, все еще ничего не понимая.

— Это море, волны.

Какие-то маленькие черные блестящие ромбики виднелись там и сям на кромке как бы литографически отпечатанного берега.

— А это что за штучки?

— Это лодки.

— Лодки?

— Ну да, лодки. Рыбачьи шаланды. Плоскодонки. Они лежат вверх дном на берегу. А дно у них высмолено.

Петя всмотрелся. Да, да, совершенно верно. Действительно, это лежали перевернутые лодки со свежевысмоленными днищами. Мальчик увидел еще какие-то мелкие предметы. Он не успел спросить, что это такое, так как в тот же миг понял сам. Это были скрещенные палочки весел и развешенные между ними сети. Петя увидел табун зеркально блестевших на солнце лошадей, которых, вероятно, только что выкупали и теперь гнали обратно в степь. Петя заметил, что ряды длинных синих морщин передвигаются, соединяются с береговой линией, по очереди превращаясь в ленты пены белоснежной, как кипень.

Но где же было самое море?

Петя ожидал увидеть Черное море громадным, грозным, если и не вполне ч е р н ы м, то во всяком случае черноватым, с резко очерченным горизонтом. Вместо этого он увидел мелкие береговые подробности, а все остальное громадное пространство моря тонуло в ослепительном, серебристом сиянии воздуха, так что, глядя против сильного утреннего солнца, невозможно было его увидеть. Его можно было только угадывать. Но уже одно сознание, что море тут, рядом, под самым локтем, наполнило душу мальчика восхищением, которое дошло до восторга, когда вдруг внизу, вкось, в белом солнечном мареве мальчик увидел пароход.

Не речной, а настоящий морской пароход с красным пояском на черной трубе и бурым хвостом дыма, разостланным сзади, над незримой, сияющей водой.

Можно было подумать, что пароход стоит на месте. Но мальчик понимал, что он идет, движется. Он шел тем же курсом, что и самолет — на Одессу.

Самолет еще раз немного повернул. Пароход пропал с глаз. Теперь снова летели над сушей.

Самолет огибал большой город.

Петя видел скопление крыш, скучные прямоугольники кварталов, уплывающий назад залив со змейкой мола и маленьким белоснежным колоколом маяка.

Все это не вызывало у мальчика никаких особенных чувств, кроме удовольствия смотреть с высоты птичьего полета на город, похожий сверху на наборную кассу, которую Петя видел не так давно в Москве во время экскурсии пионеров в типографию «Пионерской правды».

Но Петр Васильевич необыкновенно оживился, даже как-то помолодел. Никогда еще Петя не видел отца в таком волнении. Он бросался от окна к окну, стараясь не пропустить ни одной мелочи.

То, что для Пети было просто маяк, или просто мол, или просто морской залив, для Петра Васильевича был знаменитый одесский маяк, знаменитый одесский мол, знаменитый одесский порт. Отец бормотал названия улиц, пригородов, площадей; то и дело он тащил сына к окну и заставлял смотреть вниз.

— Смотри, скорее смотри! Видишь: это купол знаменитого одесского городского театра.

Он тыкал пальцем в стекло и нежно улыбался знаменитому куполу, а мальчик не без труда находил среди клеток наборной кассы синюю раковину знаменитого купола, и она не вызывала в нем ни малейшего восторга.

— Смотри, смотри! Вот Чумка, вот Сахалинчик, вот Ближние Мельницы. Скорее смотри, а то они скроются.

— Где, где мельницы? — тревожно спрашивал мальчик, не видя никаких мельниц и не понимая, что это такое — Чумка, Сахалинчик, и чем они знамениты.

— Ах, боже мой, да ты не болтай, а лучше хорошенько смотри. Никаких мельниц нет. Это только так называется.

— Где же, где?

— Уже пролетели, — огорченно говорил отец. — Видишь, братец, какой ты растяпа. Пропустил Мельницы. Эх, ты... А вот элеватор. Видишь? Знаменитый одесский элеватор.

— Где? Где знаменитый элеватор? — суетливо спрашивал Петя.

— Да вот же он. Неужели не замечаешь? Такой серый. Два корпуса рядом.

Мальчик добросовестно всматривался и действительно видел два довольно скучных бетонных ящика, стоящих близко друг против друга. Это и был знаменитый одесский элеватор.

— Второе христианское кладбище! Тюрьма! Стрельбищное поле! — выпаливал отец. — Видишь стрельбищное поле?

Петя снова добросовестно смотрел и видел обыкновенную, сухую, сероватую степь.

— Ой, что это? — вдруг закричал он. — Папа, смотри, танки!

Четыре танка ползли в боевом порядке по степи, подымая за собой пыль. Вдруг один танк остановился, повернул башню и выстрелил. И в ту же минуту мальчик заметил, что, кроме танков, в степи есть еще другие войска. Лежала длинная пехотная цепь, и как раз в это время началась перебежка. Один солдат вскочил, согнулся, быстро побежал вперед, лег. За ним побежал другой, потом третий. Они бежали и пада-

ли в пыльную траву один за другим, уступом. По дороге быстро шёл маленький граненый броневичок. Тягач, пыхтя синим дымком, тащил громадную пушку, которая кивала на ухабах длинным стволом. Два крошечных солдатика с катушками и шестами быстро разматывали телефонный шнур. Вдалеке, почти на самом горизонте, мелькнули вспышки и взлетело несколько черных фонтанов.

Все это мальчик заметил сразу, в одну секунду.

— Война! — с веселым возбуждением, с восторгом крикнул он, еще не отдавая себе отчета в грозном, ужасном значении этого слова.

— Не война, а маневры, — сказала девочка. — Как раз в Одесском военном округе идут маневры.

Она так солидно, так деловито произнесла это «в Одесском военном округе», что Петя не без уважения и зависти покосился на девочку, которая все знала.

Мог ли Петя в этот чудеснейший день предвидеть, что совсем скоро на этом самом месте, в этой сухой степи прокатится настоящая, кровавая война, перевернет всю петину жизнь, надолго разлучит его с мамой и папой и заставит жить странной бродячей жизнью, полной опасностей и приключений?

Нет, ничего этого мальчик не знал и не предвидел. Он с нетерпением ждал, когда, наконец, самолет, завершив свой круг над аэродромом, сядет на землю.

Наконец сели.

16

Расставание

Уже и в Харькове сильно чувствовался юг, а здесь он царил безраздельно.

Знойное утро пыльно сияло над тишиной степного аэродрома. Жарко пахло молодой полынью, чебрецом, клевером, ромашкой, бензином. Раскаленный воздух струился по горизонту. Перистые уксусные деревца и белые аэродромные постройки, утонувшие в разросшихся, одичавших цветниках, волнисто шевелились вдалеке, как отражения в текучей воде.

Отец помог Пете пристегнуть рюкзак, и они пошли к выходу с аэродрома. Навстречу подвигалась небольшая группа встречающих.

— Папка! — крикнула Галя и с отчаянным, поросячьим визгом бросилась вперед.

Быстро мелькая загорелыми ножками и сверкая, развеваясь всеми своими бусами и лентами, она добежала до человека, который присел перед ней на корточки и раскинул руки. Она ринулась в эти раскинутые руки и тотчас взлетела вверх.

— Папка! Папунька! — кричала она, хохоча и захлебываясь от хохота.

А он подбрасывал ее, ловил на лету, вертел во все стороны, переворачивал. Выгоревшая фуражка пограничника полетела в пыльную траву. Покатился венок. Русые волосы прыгали над потным, покрасневшим лбом.

— Папа, довольно! Папка, хватит! — девочка уже не кричала, а стонала, ворковала, как голубь, изнемогая от счастья.

Наконец он усадил ее верхом на бурую от загара шею, подобрал фуражку и выбил об колено.

— Петя, иди сюда, смотри — это мой папка, — говорила девочка возбужденно.

Ей, очевидно, доставляло громадное наслаждение на все лады повторять слово «папка».

— Папка, смотри — это мальчик Петя. Он московский пионер. Мы вместе приехали. Я его на самолете обдурила, забрала все его открытки. Мы уже помирились. Нас дядя Вася помирил. А это петин папа. Видишь, у Петьки тоже есть свой папка. А его мама осталась в Москве. Он со своим папкой приехал в Одессу в командировку. Они командировочные.

Девочка болтала, не умолкая, в простодушном восторге, что в мире всё так хорошо устроено: у нее есть папка, у Пети есть папка, и они вместе летели на самолете, и немножко поссорились, но потом, слава богу, помирились и благополучно долетели, и вообще жизнь прекрасна.

— Вот и ладно,—сказал папка-пограничник, повидимому вполне разделяя веселое настроение своей дочки. — Стало быть, этот молодой человек твой новый кавалер? Ну, что ж, очень приятно познакомиться.

И галин папка протянул Пете большую, грубоватую руку, коричневую от загара, с крепкими белыми ногтями.

— Я не кавалер, — буркнул Петя, смущенно раскланиваясь.

— Он вице-президент, — сказал Петр Васильевич. — Вы с ним не шутите.

— Ну, папа! — с упреком проныл Петя.

— Еще того лучше, — воскликнул пограничник, — мы любим вице-президентов. Верно, Галина?

Петя уже совсем было собрался обидеться, но у галиного папы было такое приветливое, открытое лицо с синими глазами, с крупным обветренным ртом, с мелкими бисеринками пота на носу; весь он был такой сильный и складный, в своих запыленных сапогах, выгоревшей льняной гимнастерке с расстегнутым и отогнутым воротником, аккуратно подшитым свежим полотняным воротничком; от него так славно пахло чистым, горячим мужским телом и степью, что Петя не только не обиделся, но, напротив, почувствовал себя очень польщенным тем, что с ним шутит настоящий офицер-пограничник.

Мальчик уже был готов, пользуясь случаем, поговорить со знающим человеком о пограничных делах, о диверсантах, о собаках, но в это время подъехал грузовик.

— Ну, Галина, прощайся со своим кавалером. Дай руку вице-президенту.

— До свиданья, мальчик. Бувайте здоровы, живите богато, а мы уезжаем до дому, до хаты, — сказала девочка.

— Куда же вы едете? — спросил Петя, с горечью чувствуя, что сейчас, сию минуту, это прелестное знакомство безжалостно прервется и он уже больше никогда не увидит веселую, пеструю девочку.

— В Бессарабию, — радостно сказала девочка, повидимому не испытывая ни малейшего сожаления, что навсегда расстается с Петей.

Петя почувствовал нечто вроде обиды.

— А я думал, ты будешь жить в Одессе.

— Ничего подобного.

— Значит, больше не увидимся?

— Значит, не увидимся.

«И тебе не жалко?» — сказало петино сердце, но язык с напускной грубостью заметил:

— Ну и ладно. Скатертью дорожка. Приезжай к нам в Москву.

— Лучше ты приезжай к нам.

— Очень надо.

— Ну, дочка, хватит прощаться. Давай садиться, а то у меня отпуск до трех часов. До свиданья, вице-президент.

Пограничник посадил дочку рядом с водителем в кабину и подошел к Петру Васильевичу.

— Извините, мы не познакомились. Старший лейтенант Павлов.

— Бачей, Петр Васильевич. Юрист.

— Долго собираетесь пробыть в Одессе?

— Недели две, три. Как позволят дела. У меня здесь арбитраж.

— В Бессарабии у нас побывать не предполагаете?

— Непременно, непременно. Это моя давнишняя мечта. Бессарабия, выражаясь красиво, страна моего детства. Бугаз, Шабо, Аккерман, Будáки...

У Петра Васильевича даже заблестели глаза, когда он произносил эти названия, казавшиеся Пете магическими заклинаниями.

— Верно, — сказал старший лейтенант Павлов.

— Пропуск нужен?

— Нужен!

— Пропуск я получу. Но как добираться? Ведь «Тургенев» не ходит...

— Тургенев?

Лейтенант Павлов с любопытством посмотрел на Петра Васильевича, думая, что он шутит.

— Писатель Тургенев?

— Ха! В мое время был такой знаменитый пароход. Назывался в честь великого писателя «Тургенев». Этакое, знаете ли, двухтрубное сооружение середины девятнадцатого века.

— Ах, так. Понимаю. Нет, «Тургенев», конечно, не ходит. Но вы всегда можете добраться на попутной машине, а уж там...

— Да, да. Там уж я как-нибудь разберусь.

— Так милости просим. Вам будет интересно побывать в освобожденной Бессарабии. А для ребятишек сущий рай. Море, песок, лиман...

— Копченая скумбрия.

— Совершенно справедливо.

— Она еще существует?

— Ого, еще как!

— И рыбаки?

— Само собой.

— В камышевых куренях?

— Конечно. Там же и коптильни. Есть моторная лодка. Слушай-ка, вице-президент, — обратился пограничник к Пете, — на моторке хочешь прокатиться по Черному морю?

Петя покраснел от удовольствия, как пион.

— А можно? — неуверенно спросил он.

— Все можно.

— Я очень люблю... на моторной лодке... — пробормотал Петя, хотя еще ни разу в жизни не ездил на моторной лодке.

— Я так и думал, что вице-президент не против. Стало быть, милости просим. Получайте пропуск и приезжайте. Ждем.

С этими словами старший лейтенант крепко пожал руку Петра Васильевича, дал небольшого дружеского леща Пете, одним махом прыгнул в грузовик, и машина в облаках особенной, белой и душной черно-

морской пыли умчала в таинственную область папиного детства старшего лейтенанта Павлова и его черномазую дочку, со всеми ее лентами, бусами, косичками, с бабушкиной кошелкой и венком харьковских ромашек, съехавшим набекрень.

Петя с отцом остались одни.

17

Мечты сбываются

Их никто не встретил.

Правда, незадолго до отъезда отец на всякий случай отправил Колесничуку открытку, а накануне вылета — телеграмму. Но на него была слабая надежда. Петр Васильевич хорошо знал характер Колесничука.

— Ну что ж,—сказал он, весело оглядывая опустевший аэродром.— До города не так далеко, пять-шесть километров. Для старых, опытных путешественников это пара пустяков. Не так ли, Петр Петрович?

— Верно, папочка, — с живостью ответил мальчик, радостно поддаваясь веселому настроению отца.

— Давай лапу, вице-президент.

— На, папочка.

Петр Васильевич взял Петю за руку, и они бодро зашагали, совершенно так же, как в петиных мечтах — большой отец и маленький сын— с рюкзаками за спиной, гордые, непреклонные и одинокие.

Сначала они шли по суховатой траве аэродрома, а потом по пыльной степной дороге, в сторону города.

Петя с удовольствием видел своего отца таким бодрым, веселым, таким радостно-помолодевшим.

Петр Васильевич снял шляпу и, размахивая ею, громко свистел знаменитый марш из «Веселых ребят»: «И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет». Он развязал галстук, расстегнул воротничок. Его темные, немножко тронутые сединой, семинарские волосы развалились посередине, на макушке встал непокорный мальчишеский вихор. По-мальчишески блестели глаза, с жадностью озираясь по сторонам.

— Ну, Петушок, как тебе здесь нравится?

— Очень нравится, папочка.

Мальчик говорил правду. Ему очень нравилось итти за руку с большим, веселым отцом, чувствуя себя не только его любимым сыном, но также младшим товарищем, наслаждаясь свободой и какой-то особой, мужской независимостью. Но от южной природы он ожидал большего. Она обманула его ожидания. Она оказалась слишком сухой и скромной.

По обеим сторонам дороги тянулся земляной вал, поросший дерезой. Мальчик впервые видел это скучное растение, кустарник с очень тонкими и длинными, плакучими прутьями, которые, переплетаясь, покрывали насыпь целыми корзинами пыльной до черноты зелени, почти незаметно усеянной крошечными звездочками линюче-лиловых, каких-то «сиротских» цветочков.

Иногда за волами показывалась камышевая или шиферная крыша белой мазанки, косой шест колодца-журавля, крона какого-то невиданного дерева с зеленовато-янтарной — тоже пыльной — мелкой листвой, перистой, как у мимозы. Это была, как с гордостью сказал отец, знаменитая одесская белая акация, точнее говоря, цизальпиния. Она вся была увешана гроздьями белых, уже подсыхающих и потому чуть желтоватых цветов.

Цветы осыпались. Глубокие колеи дороги были доверху засыпаны их сухими ушками. Жаркий ветерок иногда легко подымал их и с шелко-

вистым шелестом пересыпал по дороге, как стаи мертвых мотыльков, сложивших засохшие крылышки.

Мальчика разморило. Он начал уставать. Но Петр Васильевич как будто даже и не чувствовал зноя. Он вел себя, как мальчишка. Он вдруг, разбежавшись, перепрыгнул через вал и вернулся назад весь в пыли, с веточкой белой акации за ухом.

Он зорко смотрел на дорогу, не пропуская ни одной «находки». Он подобрал две гайки, старый ремешок кнута, подкову. Все это он с самым серьезным видом рассовал по карманам, озабоченно приговаривая: «это пригодится».

Он заметил в канаве какую-то старую, раздавленную папиросную коробку, тотчас полез и достал ее. Он вытер ее о штаны и торжественно показал Пете.

— Видал?

— Видал. А что? Папиросная коробка.

— Да, но какая?

Мальчик с недоумением посмотрел на возбужденного отца, на коробку...

— Обыкновенная.

— В том-то и дело, что она необыкновенная! — воскликнул отец, с нежностью рассматривая грязную, покоробившуюся от дождей, а теперь сухую, выгоревшую на солнце коробку. — Она совершенно необыкновенная. Знаменитые одесские папиросы «Сальвэ» с антиникотиновым мундштуком, бывшая фабрика Попова. Видишь?

Петя посмотрел на картонку крышки, где на желтом фоне была изображена белая папироса в разрезе, с антиникотиновым приспособлением и магическим словом «Сальвэ».

По правде сказать, в этой картонке не было ничего замечательного. Но мальчик отнесся к ней с большим уважением. Ведь все-таки это были папиросы папиного детства.

Занятые рассматриванием замечательной коробки, они не заметили, как из-за поворота выпрыгнул автомобиль. Он не выехал, а именно выпрыгнул, так как подвигался вперед бурными скачками, на каждой запинке окутываясь зловещим чадом и оглушительно стреляя. Это было доморощенное сооружение с брезентовым верхом.

На заднем сидении, вцепившись руками в края брезентового верха, подпрыгивал Колесничук. Лицо его было вдохновенно.

— Святослав, стоп! — скомандовал Колесничук, заметив Петра Васильевича и Петю.

Но не так-то легко оказалось застопорить машину, которая, повидимому, только-только как следует расскакалась.

Улучив удобный миг, Колесничук выпрыгнул на ходу и побежал к Петру Васильевичу. О, как не похож он был на того застенчивого, неловкого Колесничука, который привозил в Москву годовые отчеты и «синенькие». Это был совсем другой человек. Если бы Колесничук был рыба, то можно было сказать, что в Москве он чувствовал себя на берегу, а в Одессе — в воде.

Во всем полотняном, просторном, в сандалиях на босу ногу, малиновый от раннего загара, размашистый, он больше походил на капитана, чем на бухгалтера.

И тотчас эти два немолодых человека — Бачей и Колесничук — превратились в шумных мальчишек.

Они наскакивали друг на друга, как петухи. Они хохотали без всякой видимой причины. Они боксировали, подставляли друг другу ножки, толкались плечами, обнимались. Они подняли ужасный галдеж.

— Здорово, Жорка!
— Здорово, Петька!
— Старик! Как живешь?
— Лучше всех. А ты?
— Спрашиваешь!
— Отвечаешь!
— Что же ты нас не встретил на аэродроме, старая собака?
— Да, понимаешь, машина подвела. Между прочим, обрати внимание на мою машину.
— Жуткое сооружение.
— Много ты знаешь. Шикарный автомобильчик. Мотор от «кадилака».
— Кадилак из Кобеляк.
— Остри, остри. Нет, кроме шуток, ты не смейся. Классная машина, кто разбирается. Только, понимаешь, у нее паршивая коробка скоростей. Мы через нее два часа проваландались возле бывшего Александровского участка, на углу Ришельевской и Новорыбной. Остановились прямо посреди улицы, на трамвайных рельсах. На два часа остановили весь городской транспорт. Потому и опоздали.
— Могу себе представить этот городской транспорт.
— Остри, остри. Ты, Петька, что? Уже кидаешься на свою родную Одессу? Москвич затрушенный!
— Что ты, Жорочка! Я же ее нежно люблю. Лучший город в Европе.
— Не в Европе, а в мире! Святослав, давай сюда машину, не копайся.

И не успел Петя очнуться от этого галдежа, как уже очутился рядом с шофером Святославом, высокомерным молодым человеком в спортивных тапочках и лиловой футболке со множеством ведомственных значков и загадочных жетонов.

Отец и Колесничук уселись сзади и продолжали оживленно кричать, перебивая друг друга и нарочно употребляя уже давно вышедшие из моды, старинные одесские уличные слова и выражения — забытый язык их детства.

Машина поскакала в город.

Она фыркала, стреляла, запиналась и делала все возможное, чтобы сбросить своих седоков в пыль. Иногда казалось, что она даже брыкается. Но недаром Колесничук назвал высокомерного Святослава мировым водителем, лучшим шофером-механиком Одесской области.

С выражением непреклонной воли и ледяного спокойствия обуздывал Святослав строптивую машину, не давая ей безобразничать. Строгий, с римским носом, в парикмахерской сетке на блестящих, зачесанных назад волосах, Святослав все время действовал ножными педалями и ручными рычагами, которых было по крайней мере в два раза больше, чем у обыкновенных автомобилей.

Иногда казалось, что машина едет не потому, что работает двигатель внутреннего сгорания, а потому, что Святослав неутомимо крутит педали, как велосипедист.

18

Белеет парус одинокий

Как бы то ни было, но машина, к петиному изумлению, довольно быстро подвигалась вперед.

Сначала навстречу бежали длинные каменные заборы бурого, песчаного цвета. Потом стали попадаться одноэтажные и двухэтажные дома

из такого же камня с железными крышами и круглыми воротами посредине фасадов. В черной глубине кузницы, возле которой на земле валялись новые колеса, дышал оранжевый огонь и сумрачно светилась вишневая полоса раскаленного железа.

Мостовая, так же как и дорога, была усыпана цветами акации. Начался город. Широкая и совершенно прямая улица уходила вдаль. Не будь она обсажена во всю свою длину деревьями белой акации, она могла бы показаться скучной. Но так она была прелестна своим солнечным, тенистым уютом.

Сквозь мелкую, прозрачную, как виноград, листву просвечивали песчано-серые фасады больших и малых городских домов с круглыми подворотнями и железными балконами с фикусами и филодендронами, выставленными из квартир наружу в надежде на дождь.

Окна повсюду были открыты. Неровные отражения стекол дрожали на тротуарах, выложенных синими плитками лавы.

Петя с любопытством смотрел на обитателей домов, которые целыми семьями сидели на улице перед своими подъездами, наслаждаясь воскресным отдыхом. Было что-то южное, милое, немного провинциальное в том, что тут же на улице на табуретах под доцветающими акациями шумели примуса и керосинки. Хозяйки в капотах стряпали обед, и едкий, но удивительно аппетитный запах жареной морской рыбы смешивался со страстным запахом белой акации. У некоторых подъездов стояли даже вынесенные из квартир кровати с красными подушками, и в них спали курчавые дети. Босые мальчики в подвернутых штанах несли на плечах необыкновенно длинные — морские! — с уважением подумал Петя — бамбуковые удилища с очень тонкими, гибкими концами, сбивавшими с деревьев целые вороха сухих цветочков. У некоторых мальчиков на руках грузно висели низки бычков, вываленных в морском песке, как в сухариках.

Стали появляться магазины с украинскими и русскими вывесками. Парикмахерская по-украински называлась «перукарня», мороженое — «мро́зиво», почтовый ящик — «поштова скринька», книжный магазин — «книгарня», трамвайная остановка — «зупинка».

Петя с уважением читал эти красивые, музыкальные, хотя и несколько странные для его московского уха слова из мира папиного детства. Особенно нравилось слово «мро́зиво» — морозное, покалывающее ледяными иголочками, возбуждающее желание положить на горячий, сухой язык ложечку алмазного, сахарного мороженого.

Вдалеке с отчаянным стуком и звоном прокатился вагончик переполненного трамвая, из окон и над площадкой которого тоже торчал целый лес длинных, канареечно-желтых бамбуковых удочек.

На пароконной платформе с откидными бортами провезли искусственный лед. Длинные мокрые бруски льда с подтаявшими концами гремели и прыгали по доскам. Один брусок соскользнул на мостовую, рассыпая вокруг себя капли воды, яркие, как бриллианты. Сноп сухих солнечных лучей ударил в глаза откуда-то из самой глубины ледяного бруска. Петя зажмурился и вдруг с особенной остротой почувствовал всю новизну этого знойного южного полудня, в незнакомом городе, где-то на краю света, в соседстве с близким, но еще не видимым морем. Ему сразу же очень сильно захотелось пить, захотелось «мро́зива».

Далеко не доезжая до центральных улиц, машина свернула в переулки.

— Эй, погоди, куда ты нас везешь? — воскликнул Петр Васильевич.

— Куда надо, туда и везу, — ответил Колесничук.

— Давай в «Лондонскую».

— Никакой «Лондонской»! Парадом командую я. Довольно я тебя мучил в Москве. Теперь ты меня будешь мучить.

— Безумец, остановись, — хохоча, закричал Бачей старший.

— Ничего преподобного. Святослав, слушай здесь. На дачу.

— На какую дачу?

— А ты думаешь, только у вас в Москве дачи? Не дрейфь. Мы тоже имеем дачи.

— У тебя дача? — с крайним изумлением воскликнул Петр Васильевич.

— Спрашиваешь!

— Давно?

— Второй год. Я ее своими руками выстроил. Спроси Святослава. Верно, Святослав? Получилась шикарная вилла. От Люстдорфа до Лузановки ты нигде не найдешь такой виллы.

— Ты просто фантазируешь.

— Не имею такой босяцкой привычки.

— Не верю.

— Увидишь.

— Все-таки я думаю, в «Лондонской» будет лучше.

Но Колесничук и слышать ничего не хотел. Он развернул перед Петром Васильевичем такие заманчивые картины жизни на знаменитой вилле, где их уже дожидается его «старуха», которая специально для московских гостей обещала приготовить знаменитый, настоящий украинский борщ и знаменитую камбалу по-гречески и собирается нажарить полсотни мировых бычков, что Бачей старший, махнув рукой и на «Лондонскую» и на дела, бесшабашно сказал:

— Э, неважно. Все равно. Вези на виллу!

Петя заметил, что с того времени, как отец спрыгнул с алюминиевой лестнички на траву одесского аэродрома, его как будто подменили: он стал необыкновенно живым, веселым, покладистым. Казалось, ему доставляло огромное наслаждение легко и безропотно подчиняться обстоятельствам. Пешком — так пешком. На машине — так на машине. На виллу — так на виллу! Не суть важно. Куда ни понесет его судьба, все равно всюду будет прекрасно, лучше не надо, потому что всё вокруг — его родина, его молодость, его счастье.

И Петю, так же как и его отца, захватил этот легкий, бездумный восторг подчинения.

Правда, было немного жаль, что сегодня уже не удастся осмотреть знаменитый городской театр, знаменитую лестницу, знаменитую Думу, знаменитую пушку, знаменитый памятник Дюку де Ришелье с ядром с английского фрегата в цоколе, легендарную Дерибасовскую улицу, множество прочих достопримечательностей города, о которых мальчик так много слышал от отца.

Но зато какое яркое счастье испытал Петя, как вздрогнула вся его душа, когда на одном из поворотов он внезапно увидел море. Оно было так близко, что до него, казалось, легко можно докинуть камень. Оно резко синело в конце переулка, между двух серых каменных заборов, утыканных сверху осколками бутылочного стекла.

Пыльная масса дикого винограда переваливалась из садов через заборы, до земли висела своим тяжелым руном, длинными плетьми узорчатых листьев. Таков был переулок. Море запирало его поперек своими синими воротами, превращая в тупик.

Машина последний раз прыгнула и остановилась как вкопанная.

— Приехали. Вылазьте.

— Ну, посмотрим, посмотрим, какая у тебя вилла.

Они вылезли из машины и пошли по переулку. По мере того, как они шли, море расширялось, отступало. Мальчик увидел внизу берег. Между краем обрыва, к которому они вышли, и берегом лежало пологое, морщинистое пространство черноземной почвы, поросшей бурьяном и кустами одичавшей сирени. Оно явственно хранило на себе следы многочисленных, давних оползней.

Берег, подмываемый подпочвенными водами, оползал в море террасами.

Когда-то здесь были дачи, сады, оранжереи, беседки. Теперь от них остались только холмы мусора, засыпанного землей и поросшего бурьяном и перистыми метелками хрупкого «чумак-дерева».

Несколько старых туий, некогда украшавших дачные сады, теперь криво торчали внизу возле самого моря, чудом сохранившись во время оползней. В одном месте уцелел кусок дачной баллюстрады. Гипсовые балясины, почти черные от времени, разбитые на суставы, нанизанные на ржавые прутья железной арматуры, еле виднелись в зарослях дерезы, болиголова, белены и паслёна.

На земле лежала половина садовой вазы, в которой некогда, вероятно, росло декоративное растение.

Петя не увидел во всем этом ничего, кроме довольно скучной, хотя и живописной картины запустения. Но Петр Васильевич вдруг остановился, пораженный тенью какого-то очень давнего воспоминания.

Он вспомнил именно эту гипсовую баллюстраду.

Тогда она — новенькая, белоснежная — тянулась по краю высокого обрыва, и по ней, как бы поверх моря, были расставлены новенькие гипсовые вазы с алоэ.

Он вспомнил яркозеленые газоны, гравий на дорожках, слоистые туйи с голубоватыми, даже на вид терпкими, мясистыми шишечками, статую Лаокоона, испещренную лиловыми цветами глициний, и художника, писавшего морской пейзаж под большим полотняным зонтиком.

О, как давно это было, но как ярко, во всех подробностях вдруг увидел Петр Васильевич эту картину своего детства. А ведь он был тогда совсем маленький. Он был меньше, чем сейчас его сын.

Да полно! Было ли все это на самом деле? Может быть, это лишь воспоминание какого-то бесконечно далекого, детского сна.

Но нет. Все это было. Все это только забылось, исчезло в тумане жизни, и все это вдруг опять тонко засветилось перед глазами во всей своей свежести и чистоте: и маленький Гаврик, и маленькая Мотя, осторожно положившая руку на плечо Петра Васильевича — тогда маленького Пети, и дедушкина шаланда, увозившая матроса в чужие края, и очень широкое, открытое море, в туманной голубизне которого таял маленький парус, легкий, воздушный, как чайка...

19

«Вилла» Колесничука

— Старик, очнись.

Колесничук тронул его за рукав.

— Еще успеешь налюбоваться.

Петр Васильевич вздрогнул и очнулся.

— Давай вниз,— сказал Колесничук. — Бегать не разучился?

— Спрашиваешь! — сказал Петр Васильевич, по-мальчишески вздернув подбородок.

Он произнес это знаменитое одесское «спрашиваешь» с особенным, старомодным черноморским щегольством и шиком, немного как бы с французским прононсом, в нос — «спранживаешь».

Затем они оба — Петр Васильевич и Колесничук — довольно неуклюже спрыгнули с невысокого обрыва и, поднимая тучи черной пыли, помчались напрямик вниз по пересеченному пространству прибрежья.

Петя едва поспевал за ними, хватаясь руками за кусты одичавшей сирени и за ломкие корни сорняков. А они лихо перепрыгивали через трещины оползней, съезжали на каблуках с мусорных холмов и хохотали, продолжая свой веселый, беспорядочный разговор.

— Слышь, Жора, Гаврика видаешь?

— Что за вопрос!

— Как он?

— В полном порядке.

— Знает, что я приезжаю?

— Спрашиваешь! Я к нему сегодня утречком специально заскакивал, чтобы захватить его на своей машине на аэродром. Не застал дома. Оказывается, обком партии послал его на две недели в район.

— Очень досадно.

— Ничего. Еще побачитесь. Мы тебя из Одессы скоро не выпустим. Не надейся.

— Да я и не надеюсь.

Не следует удивляться, что Петя старший так мало расспрашивал о своем старинном дружке Гаврике, с которым не виделся целую вечность. Это ни в какой мере не свидетельствовало о его душевной сухости или о том, что он изменил старой дружбе. Дело в том, что хороший тон настоящего черноморца требовал от человека величайшей сдержанности в выражении своих сердечных чувств. Быть сентиментальным считалось среди одесских мальчиков ужасным пороком, достойным не только всяческого осмеяния, но даже презрения. А бывший Петя, или, как мы его решили иногда называть для точности, Петя старший, чтобы не спутать с его сыном Петей,— хотя и был теперь немолодой, солидный москвич Петр Васильевич, но все же в глубине души всегда оставался одесским мальчишкой и, как таковой, свято соблюдал все требования хорошего тона своего черноморского детства.

Вскользь упомянув о Гаврике, он тотчас перевел разговор на другую тему.

— Где же твоя дача? — сказал он Колесничуку. — Старик, я не вижу твоей легендарной виллы!

— А это что?

Колесничук остановился и великолепным жестом простер вперед руку.

Как и следовало ожидать, знаменитая вилла представляла собой довольно нелепое, доморощенное строение, сооруженное без всякого плана из случайного дарового материала. Стены были сложены отчасти из старого кирпича, отчасти из того светложелтого ракушника, из которого, как уже заметил Петя, было выстроено большинство одесских домов и заборов.

Вместо извести, камни в сооружении Колесничука были скреплены глиной. На крышу пошли погнутые листы старого кровельного железа, черепица, полосы толя, фанера. Сверху — для прочности — лежали морские камни.

С одной стороны к дому примыкало нечто вроде открытой террасы, густо поросшей до самого верха вьюнком, унизанным «граммофончиками» крупных синих цветов с аметистовой серединой.

У стены Петя увидел красные весла и снятый руль шаланды. Недалеко от дома, среди бурьяна, дымилась летняя мазаная печь-плита, с чугунком без дна, венчавшим дымовод. На плите бурно жарилась рыба.

Женщина с подвязанными жесткими курчавыми волосами иссиня-черного цвета, в вышитой украинской сорочке, полная, с красным, воспламененным лицом, с усиками, хлопотала возле плиты, испытывая действие двойного, адского жара: солнца и пылающего кизяка.

Жирные куры, тоже казавшиеся одетыми в вышитые сорочки, ходили в бурьяне, и над ними вздрагивали зонтички укропа.

И все это, взятое вместе, на фоне шумно катящихся тинистых волн, крупных, мутножелтых, как бы даже немного подбеленных сметаной, как зеленые щи, имело такой уютный, простодушный, а главное такой гостеприимный вид, что Петр Васильевич невольно воскликнул:

— Ах, чорт бы тебя забрал, да у тебя тут настоящий райский уголок.

— Ага! Дошло наконец! — с торжеством сказал Колесничук, хвастливо подбоченившись. — Я ж тебе говорил, что знаменитая вилла. Милости просим. Так сказать, прохаем.

А уж навстречу гостям, вытирая красные, лоснящиеся руки о передник, от плиты бежала женщина в вышитой сорочке, оказавшаяся, как и следовало ожидать, хозяйкой «виллы», женой Колесничука.

Подобно большинству одесских хозяек, Раиса Львовна, или как ее обычно называли в обществе и на рынке «мадам Колесничук», обожала стряпать специальные южные кушанья и принимать гостей. Ее лицо, воспламененное кухонным и солнечным зноем и одухотворенное любимым занятием, сияло приветливой, несколько ленивой и чуть-чуть иронической улыбкой полнейшего блаженства.

И началась жизнь на берегу Черного моря, так не похожая на ту, которую Петя младший привык себе представлять в Москве, думая о путешествии в страну папиного детства.

В ней, в этой жизни, не было ни опасностей, ни приключений.

Наоборот.

Над маленьким, таким нелепым и таким милым домиком Колесничуков вечно сияла глубокая, золотая лень знойного черноморского лета.

С ровными промежутками, неутомимо, вечно разбивались о берег длинные волны. Море страстно вздыхало, обдавая острым устричным запахом ракушек и тины.

Ночью, в побеленной известкой комнате, где на двух парусиновых раскладушках-козликах спали Петя старший и Петя младший, на потолке в углу всегда сидела огромная треугольная бабочка «мертвая голова», изредка она начинала судорожно трепетать крыльями и таинственно, угрожающе гудеть.

Черное небо, усыпанное млечными летними звездами, висело за окном. Луч маяка смешивался с созвездиями.

А море все вздыхало и вздыхало...

С утра Петр Васильевич и Колесничук, наскоро выкупавшись в море, отправлялись в город: Колесничук — служить в своем чаеуправлении, Петр Васильевич — по делам арбитража. Они шли пешком, так как знаменитая автомашина все время находилась в ремонте. Кроме того, выяснилось, что она, строго говоря, не является собственностью Колесничука. Она была сооружена на кооперативных началах объединенными усилиями водителя Святослава, Колесничука и управляющего делами чаеразвесочного управления. Так что определить ее настоящего хозяина было трудно. На автомобиль претендовали все. Но это не имело практического значения, так как машина почти всегда была сломана.

Впрочем, это не слишком огорчало Петра Васильевича и Колесничука.

Взяв подмышку свои портфели — Петр Васильевич — свой столичный, щегольской, а Колесничук — старый, разбухший, помнивший еще эпоху

военного коммунизма и вмещавший, кроме бумаг, еще бутылку молока и несколько больших бутербродов с жареными глосиками,— друзья с удовольствием отправлялись в поход, ежедневно делая по берегу километров десять-двенадцать туда и обратно.

Можно себе представить, как весело они шли, как горячо и шумно галдели, как упоенно предавались воспоминаниям, узнавая каждый камень на берегу, каждую дачу, каждый спуск, которые были все связаны с их детством!

Они возвращались домой лишь к вечеру, иногда довольно поздно, объясняя это тем, что «заскочили» к Кольке или к Ваське и немного «погуляли» с приятелями.

Мальчик оставался один, под присмотром «мадам Колесничук». Это были часы безделья и скуки. Но еще никогда в жизни Петя не испытывал такого упоительного безделья и такой нетрудной скуки.

А впереди предстояло еще столько прекрасного!

Но прошла неделя — и вдруг, в воскресенье утром двадцать второго июня, все это полетело к чорту.

20

Отец и сын

Все спуталось, смешалось.

Петя утратил ощущение времени. За два с половиной месяца, которые прошли с того зловещего воскресенья, произошло столько событий, что мальчик потерял им счет и порой с трудом мог восстановить их последовательность.

Главное заключалось в том, что они оказались отрезанными от Москвы. Они застряли в Одессе. Рейсовые самолеты были отменены. Пассажирские поезда не ходили. Телеграммы принимались только военные и правительственные. В городе шла мобилизация и всё связанное с нею.

Петр Васильевич сделал попытку выбраться из Одессы морем. Но все пассажирские пароходы, уже перекрашенные в серо-свинцовый цвет и превращенные в транспорты, перевозили войска и боеприпасы.

С дачи пришлось переселиться в город, так как все побережье объявили запретной зоной.

Наконец-то мальчик увидел город. Но это уже был совсем не тот город, который Петя один раз мельком увидал по дороге с аэродрома на знаменитую «виллу».

Улицы, грозно освещенные — после ночного налета — каким-то сухим, особенно белым и безжизненным, но ослепительно сильным солнцем, казались необыкновенно длинными, пустыми, неприбранными.

На стенах выгорали однообразные, белые листки военных приказов.

И вот однажды Петя увидел отца в военной форме, подстриженным более коротко, чем он обычно стригся. Петр Васильевич по своему возрасту и по своему довольно видному служебному положению мог бы добиться отсрочки и, вернувшись в Москву, получить броню. Но он предпочел итти на фронт.

Он решился на это с быстротой и легкостью молодости, вернувшейся к нему в родном городе. Может быть, он даже поступил в какой-то мере легкомысленно по отношению к своей семье. Но возвращаться в Москву, где предстояло тяжелое прощание с женой и девочками, где надо было устраивать дела, где он предвидел столько различных осложнений,— нет, на это он уже был неспособен.

Долгие проводы — лишние слезы. Война — так война. Чем скорее, тем лучше.

Он вспомнил первую мировую войну и себя — мальчишкой вольноопределяющимся в батарее, а потом прапорщиком. Он вспомнил бои под Сморгонью, румынский фронт. Он почувствовал, что молодость не то что возвращалась, а что она как бы никогда и не проходила. Он был сейчас душевно молод, свободен. И он решительно воспользовался своей свободой. Тем более, что его друга Колесничука тоже призвали в армию.

Они оба ходили в военкомат, и через несколько дней оба надели военную форму, странно сидевшую на этих немолодых людях.

Колесничука аттестовали интендантом третьего ранга и назначили начальником какого-то продовольственного склада, а Петр Васильевич от административно-хозяйственной должности отказался и попросился в строй. Как старого артиллериста, его зачислили в артиллерийский полк, который как раз в это время формировался в городе.

Пока получали лошадей и приводили в порядок материальную часть, Петр Васильевич сделал еще одну попытку отправить Петю в Москву.

К этому времени железнодорожное сообщение немного наладилось, и Петру Васильевичу удалось посадить Петю в переполненный товаропассажирский поезд.

Мальчику предстояло ехать одному.

Но, в конце концов, он уже был не так мал, и надо же когда-нибудь начинать самостоятельную жизнь.

Петр Васильевич — в военной форме — втиснул мальчика в вагон, поручил его заботам измученной проводницы, дал ему на дорогу сто рублей, письмо для матери, поерошил его волосы, и они простились.

Петя уехал.

Но поезд добрался только до станции Бирзула. Впереди разбомбили мост. Поезд простоял на путях трое суток, а потом его вернули назад в Одессу.

Однако когда Петя добрался с вокзала по малознакомым улицам домой — к Колесничукам — оказалось, что отец уже на фронте, Колесничук в командировке, а заплаканная «мадам Колесничук» укладывает вещи, так как за эти дни положение на фронте резко ухудшилось и начиналась эвакуация населения.

Но прошло еще по крайней мере полтора месяца, прежде чем, наконец, в начале сентября, «мадам Колесничук» с вещами и Петей очутилась в порту среди насметной толпы горожан, желающих попасть на теплоход, уходивший из осажденной Одессы в Новороссийск.

В порту они потеряли друг друга. «Мадам Колесничук» вместе со всеми ее чемоданами и узлами оттеснили к железной рубчатой стене пакгауза. Петю толпа унесла и притиснула к самым сходням. Ребенка пропустили вперед, чьи-то добрые руки втащили его на палубу, а «мадам Колесничук» осталась в порту. Петя был один, среди чужих людей. Ночью теплоход отошел от пристани. Через час после отхода в море его атаковала неприятельская авиация.

21

У друзей

И вот теперь мальчик лежал на грубой деревенской кровати, потеряв представление о времени, в тяжёлом полузабытьи, ничего не соображая и лишь испытывая мучительные приливы и отливы сознания, возникновение и исчезновение каких-то незнакомых людей, вещей, запахов.

Чаще всего перед его глазами появлялся маленький глобус на верхней полке бамбуковой этажерки с потрепанными книжками и цветными бумажными коробочками и рамками, обклеенными морскими ракушками.

Этот глобус и этажерка находились в каком-то странном несоответствии с мазаной деревенской печью, маленькими окошками и пучками сухих трав и цветов, развешенных по выбеленным деревенским стенам.

Окошек было два.

Они смотрели на мальчика сбоку, в упор, все время с утомительным однообразием повторяя суточные приливы и отливы света.

Красные степные закаты сменялись трауром звездных ночей.

Однажды показался и проплыл очень поздний, осенний месяц. Он заглянул сначала в одно окошко, потом — совсем низко — в другое. Было что-то цыганское, воровское в его туманных рогах. Его провожал дальний лай или, скорее, вой встревоженных степных собак. Мальчик с тоской представил себе этих собак с вытянутыми волчьими мордами, воющих на месяц с порогов далеких хижин.

Иногда близко от Пети, в углу, слышался душный шорох соломы. В хату вносили вороха соломы, бросали на пол возле печки — и скоро отблеск громадного огня лихорадочно охватывал стены.

Прозрачные волны розового света бесшумно лизали этажерку и глобус. Глобус блестел отраженным светом, как и подобало настоящей планете. Это была планета Земля, плывущая в волнах бушующего солнечного света.

Легкие босые ноги шлепали по мазаному полу. Тень знакомой головы передвигалась по хате. Она то вырастала до угрожающих размеров, поглощая собою все, то вдруг уменьшалась и четким силуэтом прилипала к розовой стене.

Мальчик видел на тени красивый профиль очень молоденькой девушки, почти девочки, чистую линию лба и носа, круглый подбородок, тонкую шейку — сильную и вместе с тем нежную. Он замечал даже тени маленьких стрельчатых ресниц.

Тени тонких рук носились по стене, переставляя утварь, или делали молниевидное, судорожное движение, стряхивая термометр.

Петя знал, что девочку зовут Валентина. Это имя повторялось часто. Для больного мальчика оно уже значило гораздо больше, чем простое человеческое имя «Валентина». Оно обозначало множество вещей и понятий.

Подскочившая до сорока ртуть, угрюмый, угрожающий блеск ее плоской нитки, в один миг заполнявшей почти всю литую сердцевину градусника, было — Валентина.

И прохладная грубоватая рука, просунутая под его горячую шею и поднимавшая его голову, чтобы он мог напиться; солоноватый вкус воды, выщербленные края старой эмалированной кружки возле губ, все это тоже было — Валентина.

Валентиной была звезда, дрожащая в неровном стекле окошка, и тревожный ночной лай степных собак, и тот постоянный, рычащий, раскатистый звук войны, который с каждым днем все приближался, приближался, заставляя дрожать на этажерке рамочки, оклеенные ракушками, и глобус.

О, какое одиночество, какая доводящая до отчаяния скука сжимала сердце мальчика. Это было предчувствие неминуемой беды, гибели, сознание, что все рушится.

Кроме Валентины, была еще ее мать. Она появлялась реже. В представлении больного мальчика она была как-то связана с постоянным звуком моря. Это был замедленный звук громадной косы, размахнувшейся на несколько километров. С нарастающим шумом, день и ночь, эта коса неутомимо откладывала на берег ряды волн. Ряды волн со свистом откладывались на песок где-то совсем близко, у черного изголовья, за тонкой стеной.

Иногда мать Валентины входила босая, в мужском полушубке, и приносила с собой круглую ивовую корзину с маленькими креветками. Петя уже знал, что креветки называются «рачки». Они кипели в мокрой корзине, щелкая, как стальные пружинки, стреляя во все стороны песком и брызгами.

Она снимала со стены перемет, садилась на пол и начинала насаживать рачков на крючки — «наживлять». Ее пальцы работали удивительно ловко, точно, с механической быстротой, как у опытной вязальщицы. Но мысли ее при этом были далеко. На ее неподвижном, немного морщинистом лице со сведенными бровями светились настороженные, какие-то «стоячие» глаза. Казалось, она не только видит этими глазами что-то огромное и страшное, невидимое мальчику, но также и «прислушивается» ими к таинственным голосам беды.

А свистящая коса всё откладывала и откладывала непомерно длинные ряды прибоя, и между каждыми двумя рядами в мире вдруг повисала такая тишина, что, казалось, само сердце останавливается на весу.

И опять наступало дивное беспамятство.

Но вот однажды все это кончилось. Петя проснулся. Он именно не очнулся, а проснулся. И он понял, что он уже не болен. Он это ощутил всем своим существом. Он еще не поправился, но болезнь уже прошла.

22

Мотя папиного детства

Он был один.

Чувствуя блаженную прохладу и слабость, он не без труда скинул с себя тяжелое ватное одеяло и стал рассматривать свои руки и ноги. Они очень похудели, побледнели.

Ему жалко было видеть свои тонкие пальцы с белыми ногтями. Он согнул руку и попытался напрячь мускул. Но из этого ничего не вышло. Мускул был вялый, дряблый.

Тогда мальчику пришла в голову мысль попробовать встать с кровати и пройтись по комнате. С большими усилиями он опустил ноги на пол и встал, держась за спинку кровати.

И тут он заметил, что на нем надета длинная девчачья рубашка без рукавов, с кружевцами на груди. Он понял, что это сорочка Валентины. Он покраснел от смущенья и даже немного рассердился. Вот еще новости, ходить в девчачьей рубашке! Но делать было нечего.

Он сделал несколько шагов, наслаждаясь чувством своего роста. Он показался себе очень выросшим, почти высоким. Закинув голову, он увидел невысоко над собой балку потолка, оклеенную пожелтевшей газетой «Черноморская коммуна».

Все вещи вокруг: этажерка с глобусом, скамья, стул — теперь показались ему слишком маленькими, низкими. Среди этих вещей он чувствовал себя великаном.

Голова приятно пошла кругом. Ноги подогнулись и задрожали. Петя едва добрался до кровати и лег ничком. На миг он потерял сознание. Но это был легкий, сладкий обморок выздоровления. И тотчас он очнулся с испариной на лбу. Испарина эта тоже была необыкновенно приятна, целебна.

Ему опять захотелось спать, и он заснул, мирно положив руки под щеку. Его охватил крепкий, приятный сон — глубокий отдых, сковавший все его члены истомой выздоровления.

Когда он проснулся, уже был вечер.

В печи стреляла кукурузная ботва. В полуоткрытую дверь дышало холодом моря. Туман переваливал через порог и призрачно входил в комнату, тут же поглощаемый жарким огнем печи.

Раскаты близкого боя трясли хижину.

Мать Валентины, отворачивая лицо от едкого дыма, вытаскивала из печи ухватом черный казанок. Валентина стояла у кровати и не мигая смотрела на Петю.

— Я уже выздоровел,— сказал мальчик, жмурясь и улыбаясь.

Она приложила ладони к его лбу, потом к сырым глазам. Углом простыни она вытерла его холодное, вспотевшее во сне лицо.

— Я уже выздоровел, — повторил мальчик, исподлобья рассматривая Валентину.

Он видел ее множество раз. Но тогда он был болен, и она появлялась перед ним в том волшебном тумане жара, который наделял ее неземной красотой — прозрачной, очень печальной, молчаливой. Теперь же он видел перед собой вполне обыкновенную, даже немного грубоватую полудевушку, полудевочку, высокого подростка в мокрой мужской куртке, с тонким, коротким носом, небольшим, но сильным подбородком и светлыми, серовато-зелеными глазами, отчетливыми, как отражение в зеркале.

— Почему ты думаешь, что ты выздоровел? — сказала она, пожимая плечами. — Откуда это видно? Лично я этого не вижу.

Вероятно, она уже привыкла относиться к больному мальчику немного свысока, как к маленькому. Это обидело Петю.

— Я знаю, — сказал он, — потому, что у меня уже нет жара, и потому, что я хочу кушать.

— Мама! Вы слышите? — радостно, тонким голосом воскликнула Валентина. — Он уже хочет кушать.

— Не кричи, как скаженная. Я слышу. Может быть, он покушает нашего кулеша, спроси его.

— Петя, — сказала Валентина, официально поджав губы и двинув лопатками, — хочешь нашего кулеша?

— С большим удовольствием. Мерси, — сказал Петя.

Он даже зажмурился от удовольствия. Он чувствовал волчий аппетит: как говорится, вола бы съел!

Валентина придвинула к постели табурет и покрыла его ручником. Затем, повозившись у печки, она поставила на табурет тарелку с мелкими розочками, полную восхитительного варева. Кулеш, как это всегда почему-то случается с кулешом, немножко пригорел. От него необыкновенно аппетитно попахивало кисленьким деревенским дымком. В нем плавали золотистые кусочки лука и поджаренного сала, а крупные четвертинки рассыпчатой картошки торчали из разваренного добела пшена.

Скромно улыбаясь, Валентина подала мальчику деревянную ложку.

— Покушай. Интересно, как тебе покажется. У вас в Москве, наверное, кулеша не варят.

— Ладно, — сказал Петя кряхтя и принимаясь за еду.

Он, конечно, много раз слышал от отца о знаменитом одесском кулеше. Но, признаться, он никак не предполагал, что кулеш может оказаться таким вкусным. Петя дул в ложку, облизывался, сопел. Валентина смотрела на него, сложив по-бабьи руки, и одобрительно кивала головой.

— Рубай, мальчик, рубай. Поправляйся.

Между тем мать Валентины присела на край лавки, тяжело опустив большие рабочие руки. Петя чувствовал на себе ее остановившийся, задумчивый взгляд. Он не знал, он не мог знать значения этого взгляда— грустного и какого-то очень светлого. Он не знал, что ее душа в эту минуту охвачена тем странным, роковым оцепенением, которое иногда вдруг постигает человека, останавливает время и поворачивает его вспять. В такие минуты сознание необыкновенно обостряется, возникает тревожное и вместе с тем сладостное ощущение, что все это уже когда-то было...

Мать Валентины смотрела на мальчика, дувшего на горячую картошку, и переживала именно это повторение времени. Она чувствовала, что все это уже когда-то было в ее жизни. Но где и когда — она не могла вспомнить.

Был кулеш, была немного придымленная картошечка, очень горячая, на которую надо было дуть. Был черномазый, вихрастый мальчик в козловых новеньких башмаках, с веселым смущением смотревший на нее, и была она сама, похолодевшая от восхищения, совсем маленькая девочка с Ближних Мельниц — Мотя, и было сказано таким тоненьким голоском, точно в горле пикнула крошечная, испуганная птичка:

— Мальчик, хочешь нашего кулеша?

И внезапно она вспомнила всё с такой ясностью, словно это случилось не когда-то, а происходит сейчас, в эту самую минуту.

— У нас был один знакомый мальчик, — сказала она с испуганной улыбкой. — Мы тогда жили на Ближних Мельницах. Он пришел до нас в гости, и ему тоже понравился наш кулеш. Сын одного учителя с Канатной угол Куликова поля, Петя Бачей.

Она это сказала про себя, на языке своего детства, даже употребив неправильное выражение «до нас в гости», но она сказала это вслух, громко.

Петя положил ложку и с удивлением посмотрел на нее.

— Я тоже Бачей, — сказал он, еще не понимая, что́ происходит.

— Разве твоя фамилия Бачей?

— Конечно, Бачей.

— Валентина, ты слышишь? Его фамилия Бачей! — почти крикнула мать.

Валентина пожала плечами.

— Я не понимаю, мама, чего вы так кричите.

— Нет, мальчик, ты в самом деле Бачей?

Петя даже немного обиделся, как будто бы его приняли за самозванца.

— Ну, да. Бачей. А что особенного?

— С Канатной угол Куликова поля?

— Мама, вы окончательно потеряли всякое соображение, — сказала Валентина.

— Валентина! — грозно подняла голос мать.

— Что?

— Ты, кажется, начинаешь грубить своей матери?

— Ой, нет, что вы, мамочка. Я не грублю. А меня только удивляет

ваша Канатная угол Куликова поля, когда мальчик — московский пионер и первый раз в жизни в Одессе.

Мать Валентины задумалась, а потом спросила мальчика:

— А папа твой родом не из Одессы?

— Папа родом из Одессы.

— С Канатной угол Куликова поля?

— Я не знаю.

— Сын учителя?

Петя растерянно посмотрел на Валентину. Он слышал от папы, что дедушка преподавал в одесских учебных заведениях. Но ему трудно было сразу ответить на вопрос, трудно сразу понять, что его отец — сын учителя.

Впрочем, если дедушка где-то преподавал, значит он был учитель.

— Ну да, сын учителя, — сказал, наконец, Петя.

— Сын одесского учителя?

— Да, сын одесского учителя.

Мать Валентины встала, вытерла фартуком лоб и прошлась туда и назад по комнате.

Оставался еще один вопрос, который должен был разъяснить всё. И ей трудно было задать этот вопрос. Ей стало жарко.

Наконец она сказала.

— Деточка, как зовут твоего папу?

— Петр Васильевич.

Она почти с отчаянием посмотрела вокруг, как бы ища свидетелей этого беспримерного случая. Но никто — ни Петя, ни Валентина ничего не понимали.

— Твоего папу звать Петр Васильевич? — сказала мать Валентины тихо.

— Да.

— Петя?

Мальчик подумал и слегка рассердился.

— Ну, конечно. Если Петр Васильевич, значит Петя. Чего особенного?

— Петя Бачей?

Не говоря больше ни слова, она подошла к этажерке и взяла самую маленькую рамочку, оклеенную ракушками. Она вытерла ее рукавом и поставила на табурет перед Петей. Под стеклом находилась маленькая любительская фотография — четыре на шесть — почти выгоревшая и размытая, плохо закрепленная, того рыжевато-каштанового оттенка, каким отличались все любительские снимки лет тридцать пять — сорок тому назад.

— Ты никогда не видел такой снимок?

Мальчик поднес рамку к глазам. Это была довольно хорошо знакомая Пете группа одесских мальчиков, хранившаяся среди множества других старых любительских фотографий в одном из ящиков папиного шведского бюро.

Еще совсем маленьким мальчиком Петя любил лазить в узенькие, таинственные отделения папиного стола и рассматривать весь этот увлекательный вздор: какие-то старые мундштуки, трубки, квитанции, пригласительные билеты, сломанные запонки, карандаши, лезвия, пилюли, марки, иностранные монетки, ластики — всё, что когда-то имело тесную связь с папиной жизнью, а теперь было никому не нужно и забыто; если вещички эти не выбрасывали, то лишь потому, что их охраняла магическая формула «авось пригодится».

Среди этих вещей и вещичек было множество фотографий — выцветших, полинявших, с отваливающимися уголками. Петя часто рассматривал маленькую фотографию — группу. Отец, посмеиваясь, говорил, что это их знаменитая отрадненская футбольная команда.

Мальчики были очень маленькие, взъерошенные, гордые. Первый ряд сидел на траве, скрестив ноги по-турецки. Второй ряд стоял. Позади второго ряда, на бледном фоне акации, которая вышла на снимке не в фокусе, в виде скопления белых световых кружочков, виднелась фигура известного городового одесской дачной местности «Отрада» по фамилии Зальцман — из немцев-колонистов — в белом кителе, фуражке с бляхой в виде ленты и длинными русыми усами. Некоторые мальчики были в гимназической форме. Посередине первого ряда, с футбольным мячом между колен, сидел в рубашке с расстегнутым воротом аккуратно причесанный мальчик с суровым, неумолимым выражением простонародного лица и сморщенным, пестрым носиком. Это и был тот самый знаменитый одесский дружок отца — Гаврик, о котором Петя так часто слышал.

Сам же петин отец — Петр Васильевич, а тогда просто Петька Бачей с Канатной угол Куликова поля — стоял во втором ряду, первый с краю.

— Вот мой папа, — сказал Петя, показывая пальцем на черномазого гимназистика в большой твердой фуражке, который, сложив по-наполеоновски руки и повернув лицо в профиль, высокомерно смотрел вдаль, всем своим видом стараясь выразить превосходство над окружающим.

— Верно, — сказала мать Валентины. — Петя Бачей, с Канатной угол Куликова поля. Так, значит, это твой папа?

— Ну, конечно.

Она искоса посмотрела на мальчика, желая найти в нем сходство с тем, другим мальчиком, Петей ее детства. Вероятно, она нашла это сходство, так как все ее лицо пошло сияющими морщинками. Она стерла средним пальцем слезу, показавшуюся в углу глаза, и вдруг, не в силах больше сдерживаться, изо всех сил обняла мальчика за плечи и прижала к себе.

Петя смущенно освободился.

— Ничего, Петичка, это можно, ты мне все равно как родной мальчик, — зашептала она ласково. — Я тебе все равно как родная тетя. А это кто стоит, не узнаешь? — сказала она, касаясь пальцем края снимка.

Петя посмотрел и увидел маленькую босую стриженую девочку с большим, тяжелым ребенком на руках. Девочка, вероятно, попала на снимок случайно. Она очень плохо вышла, совсем бледно. С трудом можно было разобрать цветочки на ее ситцевом платьице и совсем светлую головку в ореоле размытого света.

Сколько раз ни рассматривал Петя снимок, он никогда не замечал этой девочки.

— Узнаешь? — сказала мать Валентины с надеждой.

Петя молчал.

— Тебе папа никогда не говорил, кто эта девочка?

Петр Васильевич никогда не говорил Пете, кто эта девочка. Может быть, он тоже не заметил ее. А может быть, он когда-нибудь и сказал вскользь, да мальчик пропустил мимо ушей. Так и нужно было сказать.

Но Петя с особенной остротой почувствовал, что ответить таким образом нельзя никак. Это значит ее обидеть. Слишком много волнения послышалось ему в голосе валентининой матери.

Петя в нерешительности молчал.

Она вздохнула.

— Неужели не узнаешь?

— Не узнаю.

— Присмотрись.

Петя добросовестно присмотрелся и вдруг совершенно ясно увидел не сходство, а нечто гораздо бóльшее, чем сходство — какой-то душевный свет, бесконечно знакомый и родной, окружавший эту девочку, почти слившуюся с пейзажем.

Мальчик робко взглянул на Валентину, потом на ее мать.

— Это Валентина? Да? — сказал он.

— Валентина? Ох, ты меня совсем уморишь! — заливаясь слезами и смехом, простонала мать Валентины и положила голову на табурет. — Как же это может быть Валентина, когда этому снимку, дай бог память, тридцать пять лет. Ее тогда и в помине еще не было. Так, значит, ты не знаешь, кто эта девочка?

— Не знаю.

— Это Мотя Черноиваненко, племянница этого самого Гаврика, который сидит с мячом. Мотя Черноиваненко. Тебе папа ничего не рассказывал про Мотю Черноиваненко?

— Нет, не рассказывал,— честно сказал Петя, хотя почему-то знал, что это очень огорчит мать Валентины.

И точно: она огорчилась.

— Ну, я так и знала. Меня мальчишки никогда не замечали, — сказала она с простодушным вздохом. — Я за ними всюду таскалась, а они все равно меня не замечали. А теперь, когда прошло столько лет — где же? Я тогда была такая малявка.

— Так это вы? — с некоторым недоверием сказал Петя.

Он еще раз посмотрел на нее, на карточку и опять увидел неотразимое сходство. На этот раз он совершенно ясно увидел, почувствовал, что маленькая девочка в выгоревшем ситцевом платьице на выгоревшем любительском снимке и эта пожилая, добрая женщина с крупными рабочими руками — один и тот же человек, связанный с ним, с Петей, силой и светом какой-то очень давней, вечной любви.

23

Передний край

Они и так относились к мальчику хорошо.

Теперь же он стал как бы членом их семьи. Он рассказал им все свои обстоятельства, и в свою очередь узнал, что́ происходит в мире.

Положение было крайне тяжелое, почти безнадежное.

Еще вчера у людей теплилась надежда. Сегодня ее уже не было. Из города приходили беженцы, передававшие, что есть приказ оставить Одессу.

В порту грузились транспорты, принимая раненых, пленных, артиллерию, отступающие войска. Над городом и особенно над портом все время висели черные, седые облака взрывов. В небе тревожно бегали звездочки зениток. Воспаленное зарево пожаров и выстрелов светилось по ночам на зубчатых краях туч. Оно судорожно вздрагивало, растягивалось, сжималось, опять растягивалось, обрывалось, мерцало. Оно грозно скрежетало, рычало.

Ворчливый гул раскатывался по морю подобно чугунным шарам, пущенным по мрамору. Эхо тяжело катилось вдоль обрывов, наполняя гулом самые отдаленные пещеры берега.

Во тьме ночного моря шли затемненные транспорты. На них налетали вражеские бомбардировщики. Корабли отбивались. В черной воде отражались багровые языки пламени.

Несколько дней подряд по Николаевской дороге двигались толпы беженцев, рассчитывавших выйти из окружения. Но оказалось, что Николаев уже занят немцами и дорога перерезана танками. Беженцы повернули назад.

Впоследствии, вспоминая об этих страшных днях, Петя видел на всю жизнь врезавшуюся в его память картину мрачной, почерневшей осенней степи, по которой торопливо и бесцельно — куда глаза глядят — брели толпы беззащитных людей с тачками и подводами, бросая по дороге узлы и мебель, смешиваясь с обозами отступающих войск, шарахаясь и разбегаясь по сторонам при звуке авиационных моторов.

Теперь, когда мальчик уже мог выходить, он увидел, что хибарка стоит на самом краю степи, над обрывом, в начале расселины, спускающейся к берегу моря. Вокруг было еще несколько хибарок, уже необитаемых, заколоченных.

Брошенные куры бродили в почерневших будяках.

Сначала Петю удивляло, что все куда-то уходят, двигаются, спасаются, спешат, и лишь они одни остаются на месте. Но скоро он узнал, в чем дело.

Мать Валентины Матрена Терентьевна — маленькая Мотя папиного детства — была председателем правления рыболовецкой артели «Буревестник». Точнее говоря, она замещала своего мужа, отца Валентины, старого рыбака Перепилицкого, бывшего конника из славной бригады Котовского, в первые же дни войны ушедшего на фронт вместе с двумя сыновьями.

Большинство рыбаков ушло в армию. Остались только старики и дети. Но и они тоже уже давно разошлись кто куда — некоторые в город к родственникам; некоторые на шаландах отправились вдоль берега, рассчитывая добраться до Очакова, до Николаева или же до Евпатории; некоторые подались в окрестные деревни и хутора в надежде, что их примут к себе добрые люди.

Но Матрена Терентьевна с дочкой оставалась на месте. У нее на руках было артельное имущество большой ценности: три невода, из которых два были совсем новые, несколько превосходных шаланд, множество переметов, паруса, снасти, наконец вся артельная денежная отчетность, платежные ведомости, банковские авизовки, чековая книжка текущего счета артели, немного наличности и договоры с различными учреждениями и организациями, по которым артель не успела получить денег ввиду моратория, объявленного в начале войны.

Это имущество нельзя было бросить на произвол судьбы.

Матрена Терентьевна никак не могла свыкнуться с мыслью, что скоро сюда придут румыны и немцы. Она еще продолжала надеяться. Она часто уходила в степь, на Николаевскую дорогу, и дожидалась какой-нибудь воинской части. Она появлялась почти на линии огня, где каждый штатский человек, особенно неизвестная женщина, распрашивающая о положении армии, могла показаться шпионкой, но она, как это ни странно, ни в ком не вызывала подозрений: слишком взволнованным, слишком простым и честным было ее лицо с испуганными глазами и сухими, горькими морщинами вокруг маленького, сжатого рта.

Она рассказывала военным о положении артели, она советовалась, она с надеждой смотрела в лица, ожидая ответа.

И всегда ответ был один и тот же:

— Не сдадим!

Она с новой надеждой возвращалась домой, хотя в самой глубине души и продолжала ощущать тягостную тревогу. Она понимала, что не мог же в самом деле советский офицер или солдат сказать ей, что город сдадут, как бы ни было безнадежно положение.

Но ей так хотелось верить!

Она высохла за эти дни.

Но однажды она вышла, по своему обыкновению, на дорогу, и ее поразила перемена, происшедшая вокруг. Сначала она не поняла, в чем заключается эта перемена. Как будто все оставалось, как прежде. И вместе с тем было что-то угрожающе-мрачное не только в складках еще больше почерневшей степи, не только в быстрых, водянистых тучах, которые — гряда за грядой — шли с моря, чуть не касаясь рыжих бунчуков неубранной кукурузы, было что-то угрожающе-мрачное в самом воздухе.

Матрена Терентьевна осмотрелась и поняла: вокруг, насколько хватало глаза, до самого горизонта не было заметно ни одной живой души. И как бы подчеркивая это зловещее, неестественное безлюдье, эту подавляющую тишину, посредине дороги стояла ножная швейная машина с большой буквой «З» на чугунной подставке — «Зингер» — и возле нее лопнувший мешок овса, над которым прыгали и молчаливо взлетали тяжелые воро́ны, черные, с иссиня-металлическим, зловещим отливом.

Она сделала несколько шагов в сторону от дороги и вдруг в кукурузе у самых своих ног увидела круглую, свежевыкопанную яму, в которой сидело четверо солдат в черных матросских шапках с лентами. Они устанавливали пятку большого полкового миномета, похожую на стальное блюдо.

Она вскрикнула от неожиданности. Солдаты повернули к ней молодые, темные лица, на которых с особенным, лихорадочным оживлением блестели глаза и белые зубы.

— Тетка, вы что! Ошалели?

Она стояла над ними молча, не понимая, что́ происходит.

— У вас повылазило, чи шо? Не видите, что здесь передний край? Сейчас откроется бой. Тикайте!

Только тут Матрена Терентьевна заметила, что степь, которая сперва показалась ей безлюдной, полна скрытого движения. То здесь, то там, в кукурузе, мелькали фигуры солдат и матросов, делавших перебежку.

Судя по их воспаленным, давно не бритым и не мытым лицам, по их грязным, пропотевшим тельняшкам, видневшимся из-под расстегнутых гимнастерок и бушлатов, судя по их тяжелому, свистящему дыханию, они уже несколько дней не выходили из боя и были в том состоянии отчаянного, последнего напряжения, которое охватывает душу бойца в моменты крайней опасности и делает чудеса.

Матрена Терентьевна почувствовала ужас. Она поняла, что сейчас, сию минуту, здесь должно произойти нечто ужасное.

— Мамаша, тикайте, тикайте! — кричал моряк в солдатском обмундировании, обмотанный накрест пулеметными лентами, с гранатой за поясом, с винтовкой в руках, без шапки, со страшным, забинтованным лицом (она заметила этот старый бинт, сквозь который проступала черная мазь), пробегая мимо нее.

— Ложись! — услышала она с другой стороны.

Она инстинктивно упала и прижалась лицом к твердой, холодной земле. В ту же секунду, одновременно с завывающим, режущим свистом, неподалеку от нее, из земли — или даже из-под земли — с грохотом вымахнул черный, рыжий, с молнией в середине столб и во все стороны

протянулись длинные, ноющие струны осколков, срезывая по радиусам ряды высокой кукурузы.

С оглушительным звоном в ушах она вскочила и побежала назад, чувствуя, как из ее волос, с ее платья, с шеи сыплется земля. Она бежала изо всех сил, стиснув зубы и зажмурив глаза. Ужас гнал ее все дальше и дальше. Она бежала, ничего не соображая, кроме того, что за ее спиной, там, откуда она бежит, уже кипел бой, слышались крики, сыпались очереди пулеметов, лопались ручные гранаты...

На всем бегу она наскочила на пирамидку щебенки возле дороги, сильно стукнулась об нее коленом, поскользнулась и упала, обдирая ладони.

Она с трудом перевела дух.

Не чувствуя боли, она уже хотела встать и бежать дальше, как вдруг увидела грузовичок с моряками, переодетыми в пехотное обмундирование, но в матросских шапках с лентами. Грузовичок проносился мимо. Подпрыгивая на выбоинах и чуть не падая на поворотах, он на полном газу летел в самое пекло боя. Она увидела трясущийся пулемет на радиаторе и моряка, обмотанного пулеметными лентами, который лежал возле него, прильнув к прицельной рамке. Она увидела еще несколько моряков, так же накрест обмотанных пулеметными лентами, в фуражках с бешено развевающимися лентами, с гранатами, поднятыми над головой.

Все это мгновенно напомнило ей семнадцатый год — и пронеслась перед нею, как давнее видение, Революция.

Один из матросов держал военно-морской флаг, и он летел над ними, не поспевая за движением, шелковым вихрем — что-то голубое, что-то белое, что-то красное — треща, как пулемет, так что казалось, с грузовика бьет не один пулемет, а два.

— За Родину! За Сталина! — услышала она хриплый, страстный, страшный, сорванный ветром и унесенный в степь голос, и все скрылось в удушливых облаках сражения.

Только теперь Матрена Терентьевна со всей ясностью поняла истинное положение дел. Она поняла, что это последняя, яростная, отчаянная попытка — не отстоять город, нет, на это уже не было ни малейшей надежды, — а что это последняя попытка задержать врага, нанести ему как можно больше потерь, показать ему, как дерутся большевики, и со славой умереть на пороге своего любимого города с именем Сталина на пересохших, холодеющих губах.

24

Мальчик остался один

Когда Матрена Терентьевна, разорвав башмаки и в кровь разбив ноги, прибежала домой, нельзя было сказать, что она успокоилась.

Наоборот. Ее беспокойство усилилось, дошло до последнего предела. Но теперь это был не ужас, не слепой, безумный страх. Теперь это было сильное и решительное движение души, раскрывшейся во всю свою широту и уже готовой на всё.

Все стало поразительно ясным.

В этот миг Матрена Терентьевна не размышляла, не раздумывала; каким-то сокровенным, таинственным движением сердца она все поняла и все могла объяснить.

Когда она подбегала к дому, военный корабль ставил дымовую за-

весу. Он как бы висел в мрачной туче вечернего моря, поверх плоской крыши хибарки, поросшей бурьяном.

Четыре языка орудийного огня, четыре ослепительных остроугольных полотнища вырвались из пушек, оторвались, полетели и пропали в клубах мрачного дыма.

Залп потряс обрывы.

И тут же Матрена Терентьевна внутренним чутьем поняла, что это очень хорошо, что, значит, на помощь атакующим морякам подошел крейсер и открыл по врагу огонь из орудий главного калибра. Она так и подумала: «главного калибра».

Четыре снаряда с воем пронеслись над ее головой в степь, и через несколько секунд четыре взрыва потрясли землю с такой силой, что с обрыва потекли вниз ручейки обрушившейся земли и глины.

Она остановилась перед дверью, глубоко передохнула и решительно вошла в хибарку.

Петя и Валентина молча стояли перед ней, слегка дрожа от канонады, с вопросом в глазах.

— Всё, — жестко, даже грубо сказала Матрена Терентьевна и решительно ударила рукой по воздуху.— Валентина, собери мальчика, а я пока спущусь вниз.

Валентина кивнула головой. Ей не нужно было ничего больше объяснять. Она стала очень серьезной, сумрачной.

— Мама, а вы там одна управитесь?

— Постараюсь управиться, — сказала Матрена Терентьевна сквозь зубы.

Петя робко, вопросительно смотрел то на мать, то на дочь. Слово «управиться», сказанное матерью с каким-то особенным, жестким выражением, наполнило сердце мальчика еще бо́льшей тревогой.

Пока мать возилась в сенях, громыхая жестянками, Валентина поспешно, но без лишней торопливости, достала вещи и велела мальчику одеваться. Вздрагивая при каждом залпе главного калибра и при каждом взрыве в степи, Петя оделся.

Его новый московский костюмчик превратился бог знает во что. От пребывания в соленой воде он сел, помялся, как-то весь полинял. В некоторых местах он был порван, но Петя заметил, что его кто-то тщательно, хотя и грубо, зашил и заштопал. Несколько оторвавшихся пуговиц было заменено другими, более грубыми и разными.

Петины сандалии утонули, когда его выбросило за борт. Вместо них Валентина подала мальчику сильно поношенные, хотя и вполне целые башмаки. Они оказались велики, и Пете пришлось наскоро напихать в них газетной бумаги. Чулок совсем не было. Петя надел башмаки на босу ногу. Несмотря на газетную бумагу, они все-таки были сильно не впору. Нога в них болталась, скользила.

— Это ботиночки моего старшего брата, Терентия. Они еще почти совсем новые. «Скороход», — сказала Валентина поспешно, как бы желая предупредить возможные возражения по поводу неудобной обуви.— Терентий сейчас в армии. И другой братишка, Василий, тоже в армии.

Но она напрасно старалась. Петя не выразил никакого неудовольствия. Он понимал, что другой обуви нет и взять ее неоткуда. Не итти же босиком. А то, что предстояло куда-то итти — в этом мальчик уже не сомневался.

Затем девочка подала ему короткий, старый полушубок, от которого кисло пахло овчиной. Мальчик молча надел его. Полушубок тоже оказался велик, гораздо ниже колен. Рукава пришлось подвернуть, так как они закрывали кисти рук.

Московская новая кепка утонула. Валентина дала Пете другую кепку — серую, желтоватую от времени. Он надел ее. Ему было неприятно. Он еще никогда не надевал чужих, ношеных вещей. Но он ничего не сказал.

Если бы Петя сейчас посмотрел на себя в зеркало, он бы, вероятно, не только удивился, он бы, пожалуй, ужаснулся.

Худой, с болезненным лицом, давно не стриженный, в чужой, слишком большой для него одежде, с испуганными глазами, он был похож на беспризорного. Если бы на нем не было сравнительно приличных, во всяком случае целых, крепких ботинок, его безусловно можно было принять за беспризорного. Особенно некрасивой, нищенской казалась большая старая кепка с отстегнутым козырьком.

Но Петя не видел себя со стороны. Он все еще чувствовал себя хорошо одетым столичным пионером, вице-президентом кружка юных натуралистов.

Вдруг он вспомнил о своем рюкзаке, в котором лежало все его имущество: мыло, рубашки, зубная щетка, сто рублей, его бумаги, письменные принадлежности, мамина фотография. Рюкзака не было. Он остался на горящем теплоходе.

Теперь у Пети не было никакого имущества. Он был в полном смысле слова нищий.

Пока мальчик переодевался с помощью Валентины, Матрена Терентьевна несколько раз входила в комнату. Один раз она вошла и завернула в простыню какие-то заранее отобранные бумаги, тетради, папки. Она туго связала сверток ручником и отложила в угол, на табурет, на видное место, чтобы в любой момент можно было его захватить.

В другой раз она вошла, тяжело дыша, как видно бегом взбиралась по обрыву, с остановившимися глазами и грозно сжатым ртом, пошарила по углам, нашла топор, стукнула топорищем в порог и, не переставая трудно дышать, выбежала вон.

Через несколько минут издалека, снизу послышался ее крик, перебиваемый шумом прибоя и залпами: она звала Валентину.

— Я ж сказала, что она одна не управится, — пробормотала Валентина, глядя на мальчика насторожившимися, невидящими глазами. — Сиди здесь. Никуда не уходи. Жди нас. Мы сейчас вернемся. Живо вдвоем управимся и вернемся.

В это время с моря ударил очередной залп главного калибра. Багровый свет мелькнул в окошках. Стекла задребезжали.

Мальчик съежился. Его тряс озноб. Он делал усилия, чтобы не стучать зубами.

— Не бойся, — сказала девочка, — пока они бьют из главного калибра, значит еще ничего. А вот когда они перестанут бить из главного калибра...

— Тогда что?

— Тогда... другое дело. Тогда — плохо. Сиди и жди.

Валентина так же, как и ее мать, пошарила по углам, но другого топора не нашла. Она схватила кухонную секачку, висящую на гвоздике возле двери, и, решительно согнувшись, шагнула за порог в сумрак быстро наступающего вечера.

Мальчик остался один.

25

Флаг корабля

Он сел на табурет посредине комнаты, где, ему казалось, было менее опасно, дрожа и прижимая к груди руки в чересчур длинных рукавах полушубка.

Теперь он жадно прислушивался к залпам главного калибра. В промежутках между залпами он озирался по углам, где с угрожающей быстротой сгущалась и накапливалась темнота.

Ему было страшно.

Ему было так страшно, что в другое время он, может быть, выскочил бы из дома и закричал.

Но сейчас, кроме страха, его душой мало-помалу овладело другое, новое чувство — чувство ответственности за свои поступки перед лицом того грозного, смертельно опасного и неотвратимого, что окружало его со всех сторон и требовало от него душевной собранности, твердости, мужества. И требовало от него действий.

Но он ничего не мог делать. Он должен был сидеть и дожидаться.

Это вынужденное бездействие усиливало страх. Мальчику казалось, что он окружен невидимыми опасностями. Каждая тень, каждое изменение света за окошками казались крайне опасными.

Если бы в эту минуту в хибарку вошел кто-нибудь чужой, мальчик потерял бы сознание.

Вдруг окно снаружи заслонил какой-то предмет, и тотчас этот большой предмет сполз вниз; что-то снаружи мягко стукнулось в глиняную стенку.

Некоторое время Петя неподвижно смотрел в окно, но ничего не увидел, кроме розовых, водянистых отражений какого-то отдаленного степного пожара. Петя затаил дыхание, не смея пошевелиться.

Было удивительно тихо.

Несколько минут он с таким напряжением вслушивался в эту опасную, подавляющую тишину, что у него потемнело в глазах. Сначала он не понимал, почему эта тишина его так пугает. Но вдруг он понял: больше уже не стреляли из главного калибра.

Между тем огненные отражения в окне становились все ярче, все тревожнее. Горело где-то совсем недалеко, позади хибарки, как будто бы сбоку, внизу, на берегу. Горело порывами.

Внезапно снаружи опять мягко ударило в стенку, и в нижние стекла окошка слабо, но отчетливо постучала чья-то рука. То была несомненно рука, слабая человеческая рука.

На фоне неспокойного, яркого зарева Петя увидел отчетливые тени согнутых пальцев, которые перебирали по стеклу. И тотчас рука упала вниз, пропала.

Вне себя от ужаса, мальчик попятился к кровати и взялся похолодевшими руками за ее грубую спинку. Но сейчас же какая-то могущественная сила, та самая сила, которая иногда неудержимо толкает человека навстречу опасности, потянула его к окну.

С неподвижным лицом, как лунатик, Петя приблизился и прильнул к стеклу, но ничего не увидел, кроме летней глиняной печурки, сложенной перед хижиной, стены, растрепанного бурьяна, полыни, перезревшего укропа и живорыбного садка — этой маленькой закрытой лодочки с дырками,— поставленного боком.

Тогда, осторожно ступая большими, тяжелыми башмаками и придерживая дрожащими пальцами ворот полушубка, Петя подошел к двери, открыл ее и выглянул наружу. Первое, что он увидел при свете беспо-

койного огня, был человек, лежавший совсем недалеко от порога, под окошком.

Он лежал на спине, неудобно прислонив голову к стенке. Одна рука его была откинута. Полусогнутые пальцы медленно, механически перебирали по утрамбованной возле стены глине, как по клавишам.

Это был краснофлотец в солдатском обмундировании, но в матросской шапке с черными лентами, прилипшими к окровавленному лбу. Под разорванной гимнастеркой тяжело поднималась и опускалась грудь, обтянутая полосатой тельняшкой, темной от пота и крови.

Смерть уже начала класть свои глубокие, резкие тени на незрячее сырое лицо, словно вылепленное из серой замазки. Это неподвижное, напряженное, с закатившимися глазами лицо, безразличное, как маска, уже не определяло возраста. Оно в равной мере могло быть и лицом юноши, и лицом старика. На нем еще продолжали жить одни только губы — широкие и растянутые, пепельно сизые, совсем светлые, почти белые, гораздо более белые, чем лицо. Они с трудом шевелились, в их уголках слабо кипела розоватая пена.

Петя застыл, не в силах отвести глаз от этого страшного, еще ни разу в жизни не виданного им зрелища человеческой кончины.

Матрос застонал.

— Дядя, что с вами? — бессмысленно закричал мальчик. — Вам больно?

И в тот же миг закатившиеся глаза умирающего медленно вернулись на свое место и посмотрели на мальчика.

Они посмотрели просто и сознательно, выражая му́ку и вместе с тем какую-то громадную тревогу, которая пересиливала страдание.

Некоторое время матрос смотрел на Петю, как бы желая понять, что это за мальчик, откуда он взялся и можно ли ему верить.

И с Петей произошло то же самое, что случилось нынче с Матреной Терентьевной, когда она увидела атаку краснофлотцев. Пете вдруг всё стало поразительно ясно. Не прилагая никакого умственного усилия, мальчик сокровенным, таинственным движением сердца все теперь понял и все мог объяснить.

Он понял, что́ хотели сказать глаза умирающего матроса.

Они говорили Пете:

«Понимаешь ли ты, что я умираю и что ты последний человек, которого я вижу в жизни. Могу ли я довериться тебе? Враг ты или друг?»

В ответ на это Петя бросился в хижину и принес кружку воды. Он сел возле матроса на корточки и приставил кружку к его твердым губам.

«Выпейте воды, я — друг»,— сказали глаза мальчика.

Лоб матроса страдальчески сморщился гармоникой, и матрос сделал усилие, чтобы отрицательно покачать головой, при этом его глаза нетерпеливо сказали:

«Ах, нет, нет! Не надо воды. Поздно. Моему телу уже ничего не нужно. Но ты понимаешь, мальчик, что мы разбиты, враг наступает и тебе как можно скорее надо бежать, спасаться. Но погоди на один миг. Мне надо сказать тебе нечто очень важное».

— Что? Что вы хотите? — прошептал Петя, наклоняясь к твердому, белому уху матроса.

В груди у краснофлотца тяжело заклокотало. Он сделал страшное усилие, передвинулся всем своим холодеющим телом и неловкой рукой стал вытаскивать из-под себя какую-то вещь.

Его глаза говорили мальчику с мольбой:

«Помоги же мне, неужели ты не понимаешь?»

Петя понял, и преодолевая страх перед смертью, которая совершалась на его глазах, с усилием приподнял одеревяневшее тело матроса и вытащил какое-то смятое, окровавленное полотнище. Ему показалось сначала, что это кусок простыни со странной голубой каймой. Но тут же он заметил, кроме голубой полосы, красную звезду, серп и молот и понял, что это военно-морской флаг.

— Знамя? — проговорил мальчик.

«Да, это наше боевое знамя, флаг корабля,— сказали глаза матроса.— Возьми его. Я тебе верю».

Петя обеими руками взял полотнище. Он понял все, что произошло. Понял, что был страшный, последний бой на подступах к городу, что матросы держались до последнего человека, что знаменосец был смертельно ранен и, спасая знамя, полз по степи до тех пор, пока не дополз до хижины. Собрав последние силы, он постучал в окошко, а теперь умирал и, умирая, передавал боевое знамя ему, Пете, с тем, чтобы он сохранил его. И в то же время Петя уловил в глазах матроса мелькнувшее сомнение.

Кровь прилила к щекам мальчика, на ресницах закипели слезы обиды.

— Я пионер, — сказал Петя с усилием, чувствуя, как у него сжимается горло. — И я вам даю... — голос его дрогнул совсем по-детски и оборвался. — И я клянусь... Честное пионерское слово, честное сталинское, что я... честное под салютом...

Петя поднял руку и сделал пионерский салют.

Потом, с внезапным порывом, он прижал к губам смятый, продранный осколками флаг, от которого пахло пороховой гарью, жженым гребнем, потом и еще чем-то душным, железистым. Он ощутил на губах этот солоноватый железистый вкус и понял, что это вкус высыхающей крови.

Слезы хлынули из глаз мальчика. Он плакал порывисто, злобно, не стесняясь своих слез, и вытирал мокрое лицо знаменем.

Сквозь слезы он увидел, что матрос с нечеловеческим усилием сделал какое-то движение. Мальчик сейчас же понял, что матрос тянется лицом к знамени. Мальчик обеими руками протянул ему полотнище, и матрос прильнул к нему губами.

Его грудь высоко поднялась и уже больше не опустилась. Она так и осталась навсегда, туго обтянутая тельником под рваной гимнастеркой с оттопыренным застегнутым нагрудным карманчиком.

Остановившиеся глаза матроса были полузакрыты и как будто немного искоса смотрели на этот карманчик.

И Петя опять понял значение этого остекляневшего взгляда. Он с трудом отстегнул ледяными пальцами латунную пуговицу с пятиконечной звездой и вынул из кармана небольшую книжечку в пропотевшем картонном переплете — комсомольский билет, из которого выглядывала бумажка.

Петя вытащил бумажку и прочитал при свете все того же непонятного зарева слова, крупно и поспешно написанные химическим карандашом: «Умираю за честь и славу Родины, за любимого Сталина. К сожалению, не успел перейти в партию. Прошу считать меня членом великой коммунистической партии. Смерть фашистским захватчикам! Да здравствует коммунизм! Комсомолец Андреичев Николай».

Петя посмотрел на краснофлотца Николая Андреичева и понял, что он мертв.

Но мальчик не испугался этого. Он быстро, но без суетливости, со странным спокойствием положил комсомольский билет и записку в кар-

ман, отвинтил с гимнастерки краснофлотца Андреичева комсомольский значок и тоже спрятал его в карман, затем распахнул полушубок, расстегнул пиджачок и, подсунув под него знамя, аккуратно обернул его вокруг своего туловища.

После этого он тщательно застегнулся, огладил себя со всех сторон и решительно вытер рукавом ветхого полушубка мокрое лицо.

26

Зарево над Одессой

Только теперь мальчик обратил внимание на странное зарево.

Оно то опадало, то поднималось высоко вверх, беспокойно отражаясь в низко бегущих ночных тучах.

Что-то горело на берегу, под обрывами.

Петя подошел к спуску и посмотрел вниз. Он увидел несколько дымных, багровых костров, пылавших в ряд, близко друг от друга, быстро и яростно. В этих кострах светились ребристые скелеты горящих лодок. Трескучие искры снопами вылетали из черного дыма, который, крутясь, боролся с угрюмыми вихрями пламени, красными, как стручковый перец.

То одолевал дым, то одолевало чистое пламя, то они смешивались. Тогда мальчику представлялось, что они валят и шатают друг друга из стороны в сторону, как два враждебных духа — один красный, другой черный.

Но вот, наконец, красный одолел. Чистый огонь поглотил дым и сильно вырвался вверх. Он ярко осветил прибрежный песок, волны с гривами пены и глинистую стену обрывов со всеми их подробностями: с черными следами старых рыбачьих костров, с пещерами, с гнездами морских птиц.

Петя увидел Матрену Терентьевну и Валентину, которые, заслоняясь локтями от огня и дыма, бегали вокруг пылающей ребристой груды.

Было что-то мрачное, зловещее в этих двух маленьких, великолепно освещенных фигурках, которые на фоне непроглядно-черной ночи быстро, но неторопливо делали внизу какое-то нелегкое дело.

И мальчик опять, в тот же миг, без всякого умственного напряжения понял, что́ они делают. Они уничтожали имущество артели «Буревестник». Они рубили, обливали керосином и жгли лодки, садки, рвали сети, ломали кадки для соленья рыбы, весла, мачты...

Петя бросился им на помощь.

Но они уже кончили свое дело и бежали ему навстречу, прыгая вверх по обвалившимся ступеням, вырезанным в глинистом обрыве.

— Ну, ты уже готов? — крикнула Валентина осипшим голосом, увидев мальчика.

— Готов!

— Так чего ж ты здесь путаешься под ногами? Беги обратно, надо собираться.

Она говорила с ним, как с маленьким — повелительно и властно. Но Петя принял это как должное, не обиделся. Он даже почти не заметил этого.

Валентина и ее мать трудно, напряженно дышали. Их лица блестели от пота, были покрыты копотью. От них едко пахло керосином. Их одежда была в некоторых местах прожжена искрами.

Слезы, смешанные с потом, катились по черному лицу Матрены Терентьевны. На нем было написано такое отчаяние, такое глубокое горе, что у мальчика невольно сжалось горло.

— Такое несчастье, такое несчастье,— бормотала она про себя, утирая рукавом морщинистые щеки и сморкаясь. — Господи боже, вы только подумайте, сколько погибает артельного имущества. Люди работали, наживали... Едва-едва артель стала как следует на ноги, как— на́ тебе!.. Ничего!.. Всё сгорело в один час...

Она протянула руки, посмотрела на них с горестным изумлением, как бы не в силах понять, что это она сама, этими самыми руками уничтожила бесценное артельное имущество, гордость ее мужа, гордость всех рыбаков, гордость всего района.

Ее обессилевшие руки тяжело упали вдоль тела. Она села на глиняную ступеньку спуска, опустила голову и зарыдала.

— Мама, не смейте плакать! — со злобным отчаянием крикнула Валентина, делая усилия, чтобы не зарыдать самой. — Вы что — маленький ребенок, дитя? Перестаньте себя расстраивать. Неподходящее время. Разве вы не знаете, что́ велел товарищ Сталин? Он велел не оставлять этим гадам ни одной ниточки, ни одного зернышка. Все велел безжалостно уничтожать, жечь, топить, подрывать! Пускай ткнутся своим поганым рылом в нашу опустошенную, обгорелую советскую землю. Пускай обожгутся.

Она замолчала, переводя дух, страшная, бледная, с большими, стоячими глазами и раздутыми ноздрями.

— Слышите, мамочка? — сказала она вдруг нежно и обняла мать за поникшие плечи. — Слышите, что я вам говорю? Вытрите ваши слезы и вставайте. Надо итти.

Матрена Терентьевна еще некоторое время посидела, не поднимая головы. Видимо, она собиралась с силами. Потом она устало поднялась на ноги, отряхнула юбку, махнула рукой и, не оглядываясь, быстро пошла к хижине.

Петя и Валентина едва поспевали за ней.

Краснофлотец Андреичев Николай попрежнему с поднятой грудью лежал у стены между порогом двери и окошком. Из-под него на убитую глину натекла большая темная лужа.

— Стойте,— сказал Петя, переводя дух. — Видите?

Но они уже увидели. Они стояли возле мертвого матроса. Они долго молчали, собираясь с мыслями.

Тогда мальчик стал быстро рассказывать, как было дело.

Он рассказал все, но умолчал о знамени.

Он чувствовал себя связанным страшной, молчаливой клятвой, нарушить которую было все равно, что изменить Родине. Это была священная и нерушимая клятва пионера.

Нелепо и смешно было бы предположить, что Петя не доверял Валентине и ее матери. Он верил им всей душой. Они были сейчас для него самые близкие, родные люди.

И все-таки могучая сила воинской присяги, которую пионер Петя молчаливо принял под салютом, перед лицом умирающего бойца-комсомольца, славного знаменосца Николая Андреичева, охватила душу мальчика и властно приказала ему молчать.

Матрена Терентьевна опустилась на колени перед матросом и прижалась ухом к его высокой груди. Она долго слушала, надеясь уловить хотя бы слабое биение его сердца.

Но сердце краснофлотца молчало.

Не доверяя своему слуху, она сбегала в хижину и принесла зеркальце. Она приложила его к сизым губам матроса. Она с жадностью всматривалась в поверхность стекла — не замутится ли оно, не появится ли на нем хотя бы самый маленький след дыхания.

Но поверхность зеркала оставалась совершенно холодной и чистой.

Тогда она осторожно, немного надавив большими пальцами, закрыла матросу веки и поцеловала его в лоб.

Это роковое движение большими пальцами и это до отчаяния чистое зеркало, холодно повторявшее беспокойно бегущее по тучам отражение догорающего огня, вдруг с необыкновенной силой подействовали на мальчика.

Только сейчас, впервые, он не только понял умом, а все его существо безжалостно пронзило подлинное чувство смерти, ее потрясающей простоты и вместе с тем необъяснимой тайны, доводящей до слепого ужаса.

Петя уже плохо сознавал, что происходит. Он потерял волю. Он только подчинялся. Он делал то, что ему приказывали Валентина и Матрена Терентьевна.

Впоследствии он мог вспомнить лишь некоторые подробности того, что происходило.

Он помнил, как похоронили матроса—а его похоронили тут же, недалеко от хибарки, выкопав могилу лопатами, которые почему-то доставали с крыши, и Петя тоже копал — он это очень хорошо помнил. После того как матроса похоронили, он с Валентиной еще некоторое время ждал Матрену Терентьевну, собиравшую в хижине какие-то необходимые артельные документы.

Наконец, Матрена Терентьевна вышла из хибарки, держа подмышкой громадный сверток бумаг. Петя даже заметил, что они были завернуты в порыжевшие листы газеты «Черноморская коммуна». Это было все, что осталось от артели «Буревестник».

Когда они отошли на несколько десятков шагов от хибарки, Матрена Терентьевна вспомнила, что забыла еще что-то важное. Она положила сверток в бурьян, пошла в хибарку и скоро вернулась с глобусом и фотографиями, которые сняла с этажерки.

Ничего больше она не взяла.

Потом все трое, в полной тьме, к которой еще не успели привыкнуть, пошли по степи.

Каким образом за их спиной загорелась хибарка, Петя не помнил. Он только помнил, что хижина пылала за их спиной, как костер, и опять в дыму и пламени боролись два существа — черное и красное.

Они шли через степь.

Петя не знал, куда они идут. Они шли долго, торопились, и мальчик натер себе ноги большими башмаками, но он молчал и продолжал итти, неуклюже ковыляя.

Потом они увидели несколько далеких пожаров. Это горели окраины Одессы. Горели нефтесклады, горел лакокрасочный завод имени Ворошилова, горели элеваторы.

Они пошли в направлении этих пожаров, мимо какой-то мелкой воды, в которой отражались зарево и искры, бушующие вверху.

Они не встретили никого по дороге.

Они всё шли и шли, дыша, как загнанные лошади.

27

Напутствие

Разговор был окончен.

— Стало быть, действуйте!

Секретарь обкома пожал через стол руку Черноиваненко и, не выпуская ее из своей руки, проводил его до самой двери.

Он взялся за американский замок, врезанный в глухую, пухлую

дерматиновую обивку двери, но прежде чем открыть дверь, притянул к себе Черноиваненко, и они поцеловались.

— Действуйте! — повторил секретарь обкома.

И Черноиваненко, нахлобучив свою полувоенную фуражку и поправив на плече лямку большого, неудобного противогаза, вышел из кабинета.

Этот маленький, немолодой, сердитый человек с наганом в потертой кобуре поверх демисезонного пальто был тот самый Гаврик Черноиваненко, друг папиного детства, о котором Петр Васильевич любил упоминать всякий раз, когда начинал предаваться воспоминаниям. Это был тот самый мальчик, который некогда снялся в группе знаменитой отрадненской футбольной команды, сидя по-турецки на траве, с мячом между колен, — дядя Матрены Терентьевны и, следовательно, двоюродный дедушка Валентины.

Теперь он был старый партийный работник районного масштаба, с большим стажем. Ему было больше сорока пяти лет. Но в его маленькой, сухой и крепкой фигурке, в его пестреньком мальчишеском носике, который он то и дело морщил, в его бодливо опущенной голове, выражавшей готовность в любую минуту вступить в драку, наконец в его острых, недоверчивых глазах, как бы говоривших: «Вы мне голову не морочьте, не на такого напали»,— во всем этом было столько молодого, если не сказать детского, что можно было подумать, будто время потеряло над ним власть.

В приемной, кроме бойцов внутренней охраны и сотрудников обкома, которые передвигали и заколачивали большие ящики, приготовленные к отправке в порт, находилось множество других людей, явившихся по вызову секретаря.

Они занимали все стулья и диваны, беспорядочно сдвинутые в одну сторону, а те, кому нехватало места, ходили, лавируя между ящиками, или сидели на мраморных подоконниках.

Почти все стекла были выбиты. Окна, наскоро заделанные фанерой, усиливали тягостное впечатление беспорядка.

Дневной свет скупо и неравномерно проникал в помещение. Он казался раздражающе серым. А синяя лампочка, горевшая где-то в самой глубине обкомовского коридора и сквозь множество дверей, распахнутых на две створки, отраженная в пыльном зеркале, утомительно напоминала о бессонных ночах и подкрашивала каждый предмет и каждое лицо своим ненатуральным, каким-то химическим, аптекарским светом.

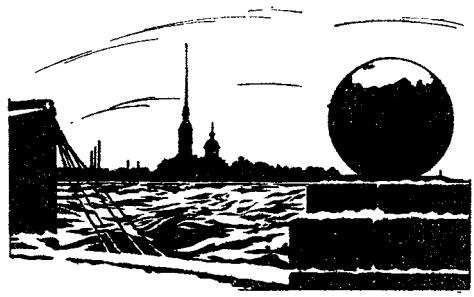
Все много курили.

То и дело где-нибудь вспыхивал огонек зажигалки, но тотчас же угасал от холодного октябрьского ветра, доносившего непрерывный звук слитной артиллерийской пальбы.

Большинство находившихся в приемной людей были хорошие знакомые Черноиваненко. Черноиваненко пробыл в кабинете секретаря обкома, принимая во внимание обстановку, бесконечно долго — свыше двух часов. Теперь, когда он, наконец, вышел, все вопросительно и тревожно посмотрели на него.

Но он быстро, молча, с воинственно опущенной головой, прошел своей валкой черноморской походочкой через всю комнату, не зацепившись ни за один ящик, сделал в дверях решительное, мальчишеское движение, как бы подтягивая штаны, и больше его уже никто не видел до конца войны.

(Продолжение следует.)



ГИБЕЛЬ ПУШКИНА

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ

★

На островах пылали снег и лед.
На острова
В санях и пешим ходом
Прекраснодушных питерских господ
Звала в тот день веселая погода.

До островов
От самой от Невы —
У придорожья толчея людская.
И, мимо очагов людской молвы,
Скакали лошади, секунды высекая...

В толпе никто поднять не может век:
Сверкает воздух!
Солнце над толпою
Неугомонно обливает снег
Безукоризненною белизною.

— А ну, ямщик! Скорее! Не томи!
До Черной речки путь яснее свечки.
А ты куда поехал, чорт возьми?..
— Мы едем, Пушкин,
Прямо к Черной речке!

— Эх, секундант! Какой простор вокруг,
А ты угрюм... Гляди заправским франтом!
Иль это правда,
Что хороший друг
Не может быть хорошим секундантом?

Гони, ямщик!
Ты дожил до седин,
Но и тебе непостижимо это:
Какой-то иностранный господин
Плюет на честь российского поэта!..

Навстречу сани.
— Прежние друзья!
— Что поздно, Пушкин? Можно ли
так мешкать?..
У них на лицах разобрать нельзя:
Где сожаленье,
Где усмешка.

Дорога тут, за дачами, тесна.
С простым возком возок нарядный рядом.
Навстречу сани.
— Кажется, жена
Сверкает близоруким взглядом.

А секундант-сосед шумит, гремит.
Наверно, ждет заступничества света?
Но никого, увы, не вразумит
Ни Пушкина необычайный вид,
Ни грохот выпавшего пистолета.

— Любезный друг мой!
Стоит ли шуметь?
Напрасна нарочитая заминка:
Кремни и пистолеты осмотреть
Успеем мы на месте поединка.

К чему волненье? Брось терзать усы!
Умей скрывать святое нетерпенье.
Но... лошади сегодня, как часы,
Медлительны до умопомраченья...

— Нет, ты неправ. У каждой — в пене грудь...
Вон и Дантес кокардою маячит.
Постой, ямщик! Ты можешь отдохнуть.
Остановись
У Комендантской дачи.

Внезапный вихрь вспорхнул над головой,
Взревел в отчаянье, обжег ознобом.
Хотел поднять, чтоб унести с собой.
Хотел поднять,
Но не́ дали сугробы.

Январский снег широк, глубок, как мысль.
Как пламя, це́пок и, как время, вязок.
Эх, хорошо б по снегу пронестись
С горы
Под скрип мальчишеских салазок!

Бывало, с девушками на пруду
Шутил поэт, забыв тоску изгнанья...
— О, где же ты,
Когда тебя найду,
Онегинское разочарованье?

Какая чушь... Откуда эта блажь?
Да разве я сейчас не русский витязь?!
Эй, секунданты! Скоро ли? Когда ж?

— Готово всё.
К барьерам становитесь!..

— Жене я посвящаю подвиг чести.
А вдруг не подвиг? Вдруг... Темно вокруг...
А может, лучше было бы — как Пестель,
Как Муравьев...
От царских рук?

От царских рук... Спадает с глаз завеса.
Но... тьма вокруг. Ты в западне, поэт...
И кто сказал бы мне, что у Дантеса
Сейчас в руках
Не царский пистолет?

Все спуталось. Послушным будь, курок.
Противник ждет.
Навстречу — шагом быстрым!
И тут решил поэта смертный срок
Предупредительно-поспешный выстрел.

Погиб поэт.
Он перерос свой век.
Он перенес в соседний век расплату...
Горячей кровью
Обливая снег,
Большое солнце близилось к закату.

1927—1949

НАШ СОВРЕМЕННИК
(Пушкин)

Пьеса в 8-и картинах

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ

★

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Александр Сергеевич ПУШКИН

В Одессе:

Граф Михаил Семенович ВОРОНЦОВ, генерал-губернатор Новороссийского края

Елизавета Ксаверьевна ВОРОНЦОВА

Александр Николаевич РАЕВСКИЙ, друг Пушкина

Василий Иванович ТУМАНСКИЙ, поэт

Филипп Филиппович ВИГЕЛЬ

Михайло Иванович ЛЕКС, чиновник при Воронцове

Барон БРУНОВ, чиновник особых поручений при Воронцове

Вера Федоровна ВЯЗЕМСКАЯ, жена друга Пушкина П. А. Вяземского

Ольга НАРЫШКИНА, подруга Воронцовой

МАТРОС

ХОЗЯИН РЕСТОРАЦИИ

ДЕВОЧКА ПРИ РЕСТОРАЦИИ

ШКИПЕР-ИТАЛЬЯНЕЦ

НИЩИЙ

КУПЕЦ-УКРАИНЕЦ

МОЛОДОЙ КУПЕЦ

АНГЛИЧАНИН

СТАРЫЙ КАПЕЛЬДИНЕР

СЕДОЙ ОФИЦЕР

МОЛОДОЙ ПОРУЧИК

ОФИЦЕР С ПОВЯЗКОЙ НА ГЛАЗУ

ТОЛСТЫЙ ОФИЦЕР

Кузьма ДЕРЮКОВ, солдат.

Матросы, грузчики в порту, публика в театре, солдаты, слуги.

В Михайловском:

СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ, отец Пушкина
НАДЕЖДА ОСИПОВНА, мать Пушкина
АРИНА РОДИОНОВНА, няня Пушкина
ИВАН ИВАНОВИЧ ПУЩИН, друг Пушкина
ИОНА, игумен Святогорского монастыря
ЧЕЛОВЕК В СКУФЕЙКЕ
СУЕТЛИВЫЙ МУЖИЧОК
СЛЕПЕЦ
ПОВОДЫРЬ
ПОЖИЛОЙ ЯМЩИК
ШУЛЕР
ПРИКАЗЧИК
ЧИНОВНИК
ЧЕЛОВЕК В ТРЕУХЕ
СЕДОЙ ЯМЩИК
БАБА В ПЛАТКЕ
НИЗЕНЬКИЙ ЯМЩИК
ИСПРАВНИК
СТРАЖНИК

Дворовые девушки, крестьяне, ямщики, посетители трактира.

Действие происходит в 1824 и 1825 годах в Одессе и селе Михайловском.

ПЕРВАЯ КАРТИНА

Пристань в Одесском порту. Веранда ресторации. На пристани навалены тюки с товарами, старые якоря, канаты.

Раннее утро. В морской мгле видны парусники, стоящие в порту. Вблизи ресторации причален небольшой корабль-трамбак. Низенький заспанный хозяин ресторации накрывает на веранде столики. Ему помогает босая девочка в черном платье. На причальной тумбе около ресторации сидит загорелый матрос в бархатных потертых штанах, подпоясанный красным платком. Он высоко подкидывает монеты и ловит их на лету.

Девочка (хозяину ресторации). Что ему нужно? Он сидит здесь уже целый час.

Хозяин. А, бродяга! Должно быть, выгнали с трамбака за пьянство.

Матрос (весело). Здорово, хозяин!

Хозяин (сердито). Здорово!

Девочка (смотрит вдоль пристани, вскрикивает, улыбается). Смотри! Он уже идет сюда. Как рано!

Хозяин. Кто?

Девочка. Тот маленький, веселый. С железной палкой.

На пристань входит Пушкин. Пушкин без шляпы, в расстегнутом сюртуке. Волосы у него мокрые после недавнего купанья. Пушкин замечает матроса, подкидывающего деньги, останавливается и с любопытством смотрит на него. Потом высоко подбрасывает свою железную трость и ловит ее в воздухе. Матрос оглядывается на Пушкина и не успевает поймать монету. Она катится по пристани. Пушкин и матрос пытаются схватить ее, но монета скатывается в море.

Девочка выбегает, ложится на край пристани и смотрит вниз.

Пушкин. Я только что выкупался. А то бы нырнул за монетой.

Девочка. Здесь глубоко. Да ее уже и не видно.

Пушкин. А это что блестит? Вон там!

Девочка. Это скумбрия. А может быть, ставридка.

Матрос (Пушкину). Какого чорта! Из-за вас я упустил последний золотой.

Пушкин. С незнакомыми надо разговаривать учтиво. Особенно, если они ходят с железной палкой.

Девочка. А зачем она вам, такая тяжелая палка?

Пушкин. Чтобы не дрожала рука.

Матрос (насмешливо). На что годится такая рука! Бренчать на гитаре?! Вот рука! (Показывает Пушкину свою широкую руку).

Пушкин. Да, рука матросская. (Берет руку матроса и сжимает ее).

Матрос безуспешно пытается вырвать руку, корчится, потом садится на землю и хохочет. Пушкин отпускает его руку и улыбается.

Матрос (машет рукой). Да вы кто? Фокусник, что ли?

Пушкин. Просто я много пишу. Потому и крепкие пальцы.

Матрос (все еще машет рукой). Ну-ну!

Хозяин (кланяется Пушкину). Ресторация открыта. Прошу вас.

Пушкин. Сейчас, Христо. (Матросу) Вы здешний?

Матрос (высыпает на ладонь оставшиеся мелкие монеты, пересчитывает их и потому отвечает не сразу). Я? Погодите! Нет, я из-под Херсона. Плавал штурвальным на этом итальянском трамбаке (Показывает на причаленный корабль). Пусть его разобьет громом со всей командой и капитаном! (Снова пересчитывает деньги). Эх, нехватит даже на фунт маслин! (С раздражением швыряет деньги в море, поворачивается и собирается уйти. Пушкин его удерживает).

Пушкин. Зайдем в ресторацию. Я вас хочу угостить.

Матрос (протягивает Пушкину руку, но тотчас ее отдергивает). Ну что ж! Зайдем!

Входят на веранду, садятся за столик. На военном корабле в порту вспыхивает огонь, доносится пушечный выстрел.

Пушкин. Вот и солнце!

Воздух наполняется оранжевым блеском. В ресторацию входят два купца. Один — плотный украинец в парусиновом балахоне, другой — молодой, слащавый и вежливый. Хозяин подает на столик Пушкину вино, маслины и кофе.

Пушкин (наливает матросу вино, сам ест маслины). Ну, рассказывайте! Как попали в благословенную Одессу? И по какой причине вас отставили от корабля?

Матрос. Чортова история! Вышли мы из Мессины. Порт такой есть в Сицилии. А на самом перевале, в Адриатике, прихватило нас штормом. Такой задул широкко...

Купец-украинец (матросу). Вы, часом, не апельсины доставили к нам? Или коринку?

Матрос. Апельсины. Все трюмы ими набиты.

Молодой купец. О, Мессина, Мессина! Померанцевый рай!

Матрос. Э-э, бросьте! Пекло, визг, вонь от горелого масла. Одуреть можно от такого итальянского рая.

Купец-украинец (матросу). А какая цена на те апельсины? У вашего шкипера?

Матрос. Вон сам шкипер идет, собака. Его и спрашивайте.

В ресторацию входят толстый шкипер и матрос — итальянцы. Молча садятся за столик, заказывают вино и тотчас начинают играть в кости. Матрос пересаживается спиной к итальянцам. Купцы подходят к столику шкипера, и у них начинается оживленный, прерываемый стуком костей разговор.

Пушкин (матросу). Да! Так, значит, задуло широкко?

Матрос. Еще как задуло! Зашли мы укрыться от него в греческий порт Миссолонги. Ну, и подлое ж место! Болото, грязь, полно греческих солдат-сулиотов. Мятежников. Воюют с турками.

Пушкин (взволнованно). Вы были в Миссолонги?

Матрос. Я же вам говорю — был! Ничего там нету интересного. Одна греческая водка — «мастика». Прямая отрава!

Пушкин. А вы не слышали там, в Миссолонги, про одного знатного англичанина?

Матрос. Это про какого? Может, про Байрона? Так я про него не только слышал. Я его один раз даже видел. Рядом. Вот так, как вас.

Пушкин (хватает матроса за руку). Не пейте! Сначала расскажите про Байрона.

Матрос. Да что рассказывать! Ничего интересного...

По пристани проходят Александр Раевский и поэт Туманский. Раевский что-то рассказывает. Туманский смеется.

Пушкин (замечает их, зовет). Раевский! Туманский! Подождите! (Выбегает на пристань). Куда? Купаться? Успеете! Я встретил здесь матроса. Из Миссолонги. Он видел Байрона и обещался все рассказать. Пойдемте! (Тащит Раевского и Туманского в ресторацию).

Туманский вежливо здоровается с матросом за руку. Раевский небрежно кивает матросу, садится и наливает себе вина.

Раевский (матросу). Ну, как лорд Байрон? Не потерял былую красоту? Любопытно, о чем вы беседовали?

Матрос. Поговорить нам не пришлось...

Раевский. Это прискорбно. Особенно для Байрона.

Матрос (Раевскому). А вы бы погодили насмешничать. Я человек простой. И ежели, скажем, выгнали меня с корабля за драку со шкипером и руки у меня канатами стерты, так я все равно могу понимать, какой человек был Байрон.

Туманский. Почему был? Он есть.

Матрос (ударяет кулаком по столу, он слегка пьян). А потому что был! Вы слушайте как следует! Отстаивались мы в Миссолонги. Тоска такая — завоешь! Сошел я на берег. Думаю, хоть мастики хлебну, согреюсь в таверне. Только выскочил я из шлюпки на берег, как сорвался ветер, дождь! С неба хлещет, будто потоп. Рядом церковь. Я — в нее, чтобы укрыться. Вхожу. Свечи горят, и полна церковь греческих солдат. А посреди церкви стоит на помосте дощатый гроб, закрытый черным плащом. На крышке — зеленые ветки и шпага. Тонкая такая шпага, с золотой рукояткой. Я, конечно, спрашиваю солдат: «Кого вы хороните?» Говорят: «Лорда Байрона».

Туманский. Когда он умер? От чего?

Матрос. Да недавно. В апреле. От тамошней горячки скончался.

Раевский. Бред! Делириум! (Пушкину) Охота тебе верить пьяным россказням!

Матрос (Раевскому). Значит, не верите? Выходит, что я наврал? (Встает). Эх, ты, костлявый!.. Да я таких одним щелчком сшибаю с палубы!

Раевский. Потише, любезный!

Матрос (хватает Раевского за фалды сюртука и сильно его встряхивает. Говорит Пушкину) С кем связались! (Плюет). Спасибо за угощение. (Уходит).

Раевский (вскакивает, хватает железную трость Пушкина.) Грязный хам!

Туманский отбирает у Раевского трость и усаживает его за столик.

Шкипер (оборачивается к Пушкину). Этот матрос врет!

Пушкин (радостно). Да?

Раевский. Как ты мог поверить первому проходимцу!

Шкипер. Си, синьор. Он врет всегда. Семпре! Но сейчас, должно быть, первый раз в жизни он сказал правду. Лорд Байрон умер. Гроб с его телом перенесли на бриг «Флориду» и отправили в Англию. Когда «Флорида» отошла в море, с берега дали тридцать семь пушечных выстрелов.

Пушкин. Ему было тридцать семь лет...

Шкипер. Да. Как это, по-русски... Нивола... тучи в тот день упали низко (показывает), цеплялись за мачты. И огонь пушек освещал, как фонари... коме лантерна... наши паруса.

Матрос-итальянец. Сэ вэро!

Молчание.

Пушкин (говорит как бы про себя). Вот жизнь, подчиненная единому порыву... единой страсти. Он умер за свободу. В этом есть величие и сила духа.

Раевский. А мы здесь воюем с графом Воронцовым.

Пушкин. Ну что ж! Он стоит того! Кто он такой? Придворный хам, покрытый густым английским лаком. Он предпочитает любого лондонского шалопая всем русским. В том числе и мне.

Раевский. Не кричи, Саша!

Пушкин. А ты меня не береги. Уж больно меня охраняют любезные друзья. Доберегли́сь до того, что хотят отстранить от самого достойного, чем живут лучшие люди России. Я знаю все!

Раевский. О чем ты говоришь?

Пушкин (наклоняется к Раевскому). О тайном обществе. Оно ведь существует?

Раевский. Никакого общества нет!

Туманский (хватает Пушкина за руку). Замолчите! Безумный человек! Вас надо беречь. Всеми силами. Вы — солнце нашей поэзии.

Пушкин. Что поэзия? Слова! А эти руки хотят держать оружие...

Туманский. Нельзя так клеветать на себя. Ваши стихи разят, как пуля! И поют, как арфа! И шумят, как морская волна!

Раевский откровенно смеется.

Пушкин. Это немного выспренно сказано, Василий Иванович. Но все равно, спасибо!

Туманский. В истории России вы сыграете бо́льшую роль, чем Байрон в истории Греции. Несравнимо бо́льшую. Помяните мои слова!

Порыв ветра с моря подымает скатерть, треплет волосы.

Пушкин. Как свежо!

К веранде подходит нищий с гитарой. Берет на гитаре аккорд.

Туманский. Что-то знакомое, Александр Сергеевич.

Нищий (поет).

Гляжу, как безумный, на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль...

Раевский. Поздравляю, Саша. С уличной популярностью.

Пушкин. Дай послушать.

Итальянцы, Туманский и босая девочка начинают подпевать нищему. Никто не замечает, что на пристани появляются две красивые, изящно, но просто одетые женщины — Елизавета Воронцова и Ольга Нарышкина. С ними входит высокий надменный человек с тяжелой челюстью — барон Брунов. Нищий кончает песню. В его рваную шляпу летят монеты. Воронцова бросает нищему горсть серебра. Воронцову замечают. Пушкин, Раевский и Туманский встают. Хозяин ресторации низко кланяется Воронцовой. Купцы снимают шляпы. Пушкин бросается к Воронцовой. Целует руку ей и Нарышкиной. Небрежно здоровается с Бруновым. Подходят Туманский и Раевский.

Пушкин (Воронцовой). Как вы очутились здесь?

Воронцова. Я очень рано проснулась. Разбудила Ольгу. И мы решили пойти с ней в порт. Впервые. (Улыбается.) Посмотреть — «не белеют ли ветрила, не плывут ли корабли?».

Туманский. Очаровательное решение!

Пушкин. Чудесное!

Пушкин отходит с Воронцовой к краю пристани. Остальное общество оживленно беседует в стороне.

Пушкин. Как я рад, что вы здесь, в порту. Таким ранним утром. Вы вся, как утренняя свежесть...

Воронцова. Почему так пахнет смолой?

Пушкин. От кораблей. Вы вошли сюда, как воплощенье счастья.

Воронцова. Не надо говорить мне этого.

Пушкин. Почему?

Воронцова. Потому, что я не могу понять, когда вы говорите от чистого сердца, а когда для того, чтобы вскружить голову женщине. Вы страшный человек, Пушкин. (Оглядывается на ресторацию, читает вывеску) «Ресторация Христофора Думитраки». (Смеется.) Я узнала, что по утрам вы бываете здесь. И мне почему-то захотелось посмотреть этот ваш простонародный приют. Говорят, вы здесь даже пишете.

Пушкин. Да. Это удивительное состояние. Я просыпаюсь до утренней сигнальной пушки, сбегаю в порт, купаюсь в соленых волнах, потом пью здесь турецкий кофе и мараю бумагу. Новым романом в стихах. Нет лучшего места для этого.

Воронцова. Посмотрите мне в глаза. Вот так! И не делайте вида, что вам весело, Пушкин. Чем вы огорчены?

Пушкин. Как вы могли догадаться?

Воронцова. Об этом не спрашивают.

Пушкин. Да. Огорчен. Я только что узнал... В Греции умер Байрон.

Воронцова (незаметно кладет свою руку на руку Пушкина). Как тревожно за вас... Какая все-таки непрочная жизнь... (Подходит Раевский). Да, Александр Сергеевич, я хотела вам сказать — недели через две мы с Михаилом Семеновичем и со своими друзьями отправляемся на яхте в Крым, в Юрзуф. Вы, кажется, там бывали?

Пушкин. Да. Я очень привязался к Юрзуфу.

Воронцова. Тогда вы должны поехать с нами. Непременно.

Пушкин. Но как к этому отнесется его сиятельство граф Воронцов?

Воронцова (вспыхивает). Я имею право приглашать тех, кто мне дорог. Помимо мужа.

Пушкин благодарно целует ей руку.

Раевский. Человек предполагает, а бог располагает, Елизавета Ксаверьевна.

Воронцова. Как вы любите выставлять свою иронию.

Подходят Нарышкина, Туманский, Брунов.

Нарышкина. Никогда не думала, что здесь так интересно! Можно сесть на эти канаты?

Туманский. Все можно! (Все рассаживаются на сваленных на пристани канатах). Можно даже принести сюда столик из ресторации. И заказать кофе.

Пушкин (кричит хозяину). Христо! Давайте сюда стол! И газированную воду! И вина! И баклаву!

Хозяин и девочка тащат столик. Пушкин и Туманский отбирают у хозяина подносы с кофе и вином и сами подают их на стол. На палубе трамбака появляются матросы. Они облокачиваются на планшир и с веселым любопытством рассматривают общество на пристани.

Брунов. Напрасно мы разыгрываем спектакль перед этими черномазыми.

Нарышкина. Но это же очень забавно!

Воронцова. Как называется этот корабль?

Туманский кричит матросам по-итальянски. «Алессандро»,—кричат в ответ матросы.

Воронцова. «Алессандро»! Александр! Удивительное совпадение. Как все здесь неожиданно! (Пушкину) Пусть бог хранит этот корабль. С таким милым именем.

Пушкин (вполголоса). Я не могу ничего ответить. Я потерял слова. У меня падает сердце. При вас я превращаюсь в мальчишку.

Воронцова (смотрит, смеясь, в глаза Пушкину). А я — в девчонку.

Раевский (он следит за Воронцовой и Пушкиным, зевает). Все то же, то же, то же. Из века в век! Бесплодное кружение сердец.

Один из матросов бросает с палубы апельсин. Пушкин ловит его и подает Воронцовой. Второй апельсин ловит Туманский. Подает Нарышкиной. Матросы смеются. Женщины начинают тут же чистить апельсины. Пушкин наливает всем вина.

Воронцова (Пушкину). Вот вы и развеселились.

На пристань быстро входит низенький запыхавшийся чиновник Лекс.

Пушкин (шутливо представляет Лекса):

Вот Михайло Иванович Лекс —
Прекрасный человек-с!

Все преувеличенно приветствуют Лекса. Он смущенно и почтительно кланяется.

Лекс (Пушкину, вполголоса). Нельзя ли нам отойти в сторонку, Александр Сергеевич? Я вас ищу-с.

Пушкин. А что?

Лекс. Есть дело-с. Срочное. От графа Воронцова.

Пушкин. Идемте! (Отходит с Лексом в сторону). Ну, что там у вас?

Лекс. Насчет саранчи-с.

Пушкин. Какой саранчи?

Лекс. Вам же известно, Александр Сергеевич, что в наших степях возродилась саранча.

Пушкин. Ну так что же?

Лекс. Имею на руках предписание. Его сиятельства. На ваше имя.

Пушкин. Давайте! (Лекс осторожно протягивает Пушкину бумагу. Пушкин читает). «Состоящему при мне коллежскому секретарю Пушкину. Поручается вам отправиться в уезды Херсонский, Елисаветградский и Александрийский, явиться в тамошние уездные присутствия и потребовать от них сведения: в каких местах саранча возродилась и какие средства употребляются к истреблению оной»...

Пушкин отрывается от бумаги, яростно смотрит на Лекса. Тот растерянно отступает.

Лекс. Предписание-с. Огорчительное. Не соответствует вашему дару. Но, как говорится, против рожна не попрешь.

Пушкин. А ну вас... (читает дальше). «После сего имеете осмотреть важнейшие места, где саранча возродилась...» (комкает бумагу). Подлец ваш граф Михаил Семенович!

Лекс. Нельзя-с!

Пушкин. Чего нельзя?

Лекс. Так сильно выражаться, Александр Сергеевич.

Пушкин. Ну, хорошо — полуподлец! Это вам больше по душе? (Подходит Раевский. Пушкин протягивает ему бумагу). Прочти. Воронцов издевается надо мной.

Раевский читает бумагу. Лекс кланяется и уходит.

Пушкин (кричит вслед Лексу). Передайте графу Воронцову! Мне надоело зависеть от того, что у его сиятельства несварение желудка! И вообще мне надоело быть в подчинении у сановных холопов!

Лекс в ужасе исчезает. Все с недоумением смотрят на Пушкина. Воронцова встает, хочет подойти к Пушкину. Нарышкина ее удерживает.

Раевский (Пушкину). Ты лезешь в петлю.

Пушкин. И очень хорошо! (Расстегивает ворот сюртука, срывает галстук). Он думает, что я коллежский секретарь! А я думаю, что я немного больше этого чина. (Вырывает у Раевского бумагу, читает) «Состоящему при мне»... (Кричит) Я состою не при нем! Болван! Я состою при России. (Быстро идет на веранду ресторации. Раевский идет следом за ним). Христо! Принесите чернил. Скорее!

Хозяин торопливо ставит на стол чернильницу. Пушкин, стоя, что-то набрасывает на обороте приказа, потом перечитывает написанное и начинает смеяться. Швыряет бумагу на стол.

Пушкин (Раевскому). Не ходи за мной. Извинись за меня перед всеми (быстро уходит).

Раевский (про себя). Ох, Саша, как ты занесся! (Берет брошенную Пушкиным бумагу, читает написанное, усмехается).

Воронцова (зовет). Александр Николаевич!

Раевский спохватывается и выходит на пристань. Его окружают.

Воронцова (взволнованно). Что с ним? Страшно было смотреть на него.

Брунов. Бешеный темперамент!

Раевский. Вообще-то пустяки. Он получил не весьма приятное предписание от Михаила Семеновича. Пушкина отправляют на саранчу.

Туманский. Как?! Это чудовищно!

Воронцова. Ах, вот что! (Нарышкиной) Пойдем, Ольга. Коляска, наверное, нас ждет.

Нарышкина. Что вы всполошились! Разве не знаете Пушкина? Он пробежит сейчас по солнцепеку десять верст и успокоится. Куда уходить? Мне тут так нравится!

Воронцова (Нарышкиной). Мне надо поговорить с мужем.

Нарышкина. Фу, глупости! Поедет на саранчу и вернется. От этого не умирают. Но раз ты так хочешь... Пойдем!

Воронцова, Нарышкина и Туманский уходят. Брунов идет за ними, но Раевский его удерживает.

Раевский. Одну минуту. Хотите знать, как Пушкин ответил на приказ Воронцова? Это великолепно! Прямо блистательно! (Протягивает Брунову бумагу).

Брунов (читает).

Полумилорд, полукупец,
Полуглупец, полуневежда,
Полуподлец, но есть надежда,
Что будет полным, наконец.

Позвольте! Но если это дойдет до графа? (Смотрит на Раевского.) Хорошо. Я буду молчать.

Раевский (смотрит на Брунова). Все равно. Каждое слово Пушкина доходит до ушей его сиятельства.

Брунов. Вы убеждены?

Раевский. Совершенно. А этот листок я могу оставить вам. На память. Вернее, чтобы вы не полагались только на свою память. Пушкинские стихи требуют дословной передачи. К тому же — автограф!

Брунов. Благодарю вас.

Брунов пожимает руку Раевскому. Раевский отдергивает руку и быстро уходит. «Поберегись, барин!»—кричат грузчики и бегут мимо Брунова с тюками товаров на спинах. Брунов отскакивает в сторону, тщательно складывает бумагу и прячет в карман.

ВТОРАЯ КАРТИНА

Коридор в одесском театре. Идет спектакль. Двери в ложи закрыты. Из зала доносятся звуки оркестра. Широкое окно в конце коридора распахнуто. За ним—теплая ночь. Низко над морем висит багровая луна. Свечи в настенных канделябрах мигают от ветра.

На широком подоконнике сидят Пушкин и Туманский. Оба во фраках. Рядом с ними стоит Вигель. Пушкин что-то вполголоса рассказывает. Туманский прыскает и прикрывает рот рукой. Вигель приседает от смеха. Подходит старый капельдинер.

Капельдинер (умоляюще). Помилосердствуйте, господа! Ложа его сиятельства рядом. Во время представления в зале надобно сидеть. А не здесь.

Вигель (машет на капельдинера рукой). Ступай, ступай! Душно нам в зале.

Туманский (сквозь смех). О, господи! Нет, Александр Сергеевич, не сносить вам головы. Писали бы лучше своего «Евгения Онегина». Право!

Пушкин. Проклятый роман. Без точности, без плана. Течет, как жизнь.

Туманский. Не понимаю.

Пушкин. Милый, я и сам не понимаю. Льется жизнь — льется роман. Я хочу включить в него все свои мысли. А они у меня, как известно, скачут.

Вигель. Всегда вы так! Смеетесь над собой. А работаете с упоением. Я видел. Подглядел в замочную скважину. Да-с! (Туманскому) Валяется на диване, царапает на каких-то клочках. И то нахмурится, то засвистит, то захохочет, как безумный. Над своими собственными строчками.

Пушкин (оборачивается, смотрит на ночное море, повторяет слова Вигеля). Всегда я так! Всегда я так! Пустое! Вы лучше послушайте, как тянет акацией.

Вигель. А поездка на саранчу вам оказалась на пользу, Александр Сергеевич. Повеселели.

Пушкин. Кстати!.. Это можно положить на музыку? Или нет? (начинает читать, соблюдая неясный напев). «И чувствую, в очах родились слезы вновь, душа кипит и замирает; мечта знакомая вокруг меня летает; я вспомнил прошлых лет безумную любовь, и все, чем я страдал, и все, что сердцу мило, желаний и надежд томительный обман... Шуми, шуми, послушное ветрило, волнуйся подо мной, угрюмый океан».

Капельдинер снова подходит, но, услышав голос Пушкина, останавливается, слушает, потом тихо удаляется.

Вигель. Вы способны заставить даже меня восторгаться стихами...

Пушкин. «Волнуйся подо мной, угрюмый океан»... Да... Мне просто весело! Вот и все! На днях поплыву в Крым, в Юрзуф.

Туманский. Вы получили приглашение от графа?

Пушкин. Нет, от графини.

Вигель. Этого недостаточно. Граф должен скрепить его своим изысканным голосом. И благосклонным жестом. Но, милый мой Александр Сергеевич...

Пушкин. Что «но»?..

Вигель. До него, кажется, дошли какие-то едкие ваши стишки. Насчет его персоны.

Пушкин. Не может быть! Они известны только моим друзьям.

Вигель. От сотворения мира так повелось, что нет худших клеветников, как закадычные дружки.

Пушкин. Я прошу вас, Филипп Филиппович, оставить намеки. Говорите прямо, кого вы держите на примете?

Вигель (вздыхает). Я, грешный, могу ошибиться. Сами разберетесь. При вашей проницательности.

Из зала доносится глухой шум рукоплесканий. Двери из лож в коридор распахиваются. Виден нарядный зал в тусклом блеске золота и дыму свечей. Пушкин и Туманский соскакивают с подоконника. Из ближайшей ложи выходят Воронцова, Нарышкина, Раевский, барон Брунов. Позже всех выходит граф Воронцов — красивый, сухой и вежливый генерал. Воронцов пропускает вперед румяного и плотного англичанина в черепаховых очках.

Воронцов (англичанину, по-английски). Я вызову к себе Маразли и заставлю его назначить для вас выгодную цену на пшеницу.

Англичанин. О, благодарю вас! (Смеется). Великобритания не останется в долгу перед вами.

Во время последующей сцены коридор заполняется в глубине оживленной толпой. Пушкин кланяется Воронцовой. Она не протягивает ему руки, очень сухо встречает его поклон. Только слегка кивает ему в ответ. Пушкин, выпрямившись, пристально смотрит на нее. Воронцова отворачивается, обмахивается веером. Все

наблюдают эту немую сцену. Замечает ее и Воронцов. Он оставляет англичанина с Бруновым и подходит к Воронцовой и Пушкину.

Воронцов (подчеркнуто вежливо здоровается с Пушкиным). Здравствуйте, Александр Сергеевич. Вы уже прибыли! С обследования саранчи? Даже покрылись степным загаром. А мне об этом еще никто не докладывал. Надеюсь завтра получить от вас рапорт относительно вашей поездки.

Пушкин. Я могу представить его немедля, ваше сиятельство.

Воронцов. Ну зачем же! Излишнее усердие. Под упоительные мелодии Россини неохота читать деловые бумаги. Даже написанные вашим пером.

Пушкин. Я прошу вас принять от меня рапорт на словах, ваше сиятельство. Он короток. И совершенно ясен.

Воронцов (пожимает плечами). Ну, если так... Не смею прекословить.

Пушкин. Так вот! Саранча летела, летела и села. Сидела, сидела, все съела и вновь улетела.

Нарышкина не может сдержать смех, отворачивается. Все остальные смущены выходкой Пушкина.

Воронцов (побледнев). Это все?

Пушкин. Все, ваше сиятельство.

Воронцов. Благодарю вас. (Оборачивается к Туманскому, стоящему по правую руку Пушкина). Василий Иванович, я буду чрезвычайно рад, если вы согласитесь совершить с Елизаветой Ксаверьевной и мной увеселительную поездку в Юрзуф. На яхте. Мы отплывем на днях.

Туманский (кланяется). Почту за честь!

Воронцов (останавливается на мгновение взглядом на Пушкине, переводит глаза на Вигеля, стоящего по левую руку Пушкина, и слегка кланяется Вигелю). Филипп Филиппович, я надеюсь, что и вы присоединитесь к нашему обществу. Дамы без вас совсем заскучают. Я сочту за счастье показать вам свое крымское именье.

Вигель (смущенно взглядывает на Пушкина, отвечает, помедлив, и тем самым невольно подчеркивает неловкость положения). С охотой, ваше сиятельство. Хотя я и не мастер по части увеселения дам.

Воронцов (поворачивается к Раевскому). А вас я уже имел удовольствие пригласить несколько раньше.

К Воронцову подходят англичанин и Брунов. Воронцов знакомит англичанина с Вигелем, Туманским и Пушкиным.

Воронцов. Мои сотрудники. Господин Вигель, талантливый поэт господин Туманский. Молодой поэт господин Пушкин.

Англичанин. Я очень рад.

Воронцов. Не скрою, что господин Пушкин является почитателем вашего прославленного поэта лорда Байрона.

Англичанин (в ужасе подымает руки). О, Байрон! Нет, нет! Не упоминайте его имени здесь. При дамах. Это безнравственный человек.

Пушкин (по-английски). Клевета всегда грязнит память великих людей.

Англичанин. Это неслыханно! (Отворачивается от Пушкина, разводит руками.)

Брунов берет англичанина под руку и отходит с ним в сторону.

Воронцов (Пушкину). Напрасно вы позволяете себе, Александр Сергеевич, дерзости по отношению к иностранцам. Они — гости нашей страны, России. Это обязывает к учтивости.

Пушкин. А ваше сиятельство напрасно отожествляет себя с Россией. Этот лондонский маклер — ваш гость. Позвольте мне думать о нем то, что я думаю. А Россию оставим в покое.

Воронцов. Признаться, я не понимаю вашего желания вступать в спор с таким полуневеждой и полуглупцом, каким я являюсь в глазах некоторых подчиненных мне лиц.

Пушкин (бледнеет). Так как я не считаю себя подчиненным вашему сиятельству, то и не принимаю эти слова на свой счет.

Воронцов. Вы забываете, что по повелению государя императора вы подчинены мне!

Пушкин. Я подчинен своей совести. И благу своего отечества. (Кланяется Воронцову). Так же, как, надеюсь, и вы, ваше сиятельство. Это — высокое назначение. И я только могу преклоняться перед вашей способностью среди трудных государственных дел находить время, чтобы подбирать клочки бумажек, исписанных мною для собственного развлечения.

Воронцов. Оставим это! (Резко поворачивается и подходит к англичанину и Брунову).

Воронцова стоит побледневшая, теребит веер и смотрит в сторону.

Воронцова (в смятении, Раевскому). Да... я забыла... Вы не знаете... завтра... какой завтра будет спектакль?

Раевский собирается ответить, но Пушкин его опережает.

Пушкин (Воронцовой). «Пустое сердце или слишком покорная жена», ваше сиятельство. Совершенно новая пьеса.

Воронцова (вздрагивает, тихо). Какая дерзость! (Поворачивается спиной к Пушкину и, нервно смеясь, начинает говорить с Раевским).

Вигель (Пушкину). Вот он с вами и расквитался. За ваши злые стишки. Ах, Александр Сергеевич, Александр Сергеевич! Какой бес толкает вас под ребро. И так вы висите на волоске. Совсем себя не жалеете!

Пушкин (показывает Вигелю глазами на Раевского). Это он? Разболтал эпиграмму?

Вигель. Не знаю. Поелику он ваш друг, то очень вероятно. Простите великодушно, но там, где замешана женщина такой живой прелести, как Елизавета Ксаверьевна, дружба теряет силу и верность. Друзья — соперники! Это очень опасно, дорогой Александр Сергеевич. Поверьте моей опытности. (Отходит с Пушкиным к окну).

К Пушкину и Вигелю подходит Туманский. Пушкин внешне спокоен, но бледен.

Воронцов (Брунову). Я должен буду просить Петербург, чтобы они немедленно избавили меня от этого Пушкина!

Брунов. Безалаберный парень.

Воронцов. Безалаберный! Скажите лучше — наглец! И атеист! Московская полиция перехватила его возмутительное безбожное письмо. Государь рассержен. Безалаберный! В распространении вредных идей он не обнаруживает никакой безалаберности. А наоборот, упорство необычайное. Этот, знаете, из тех малых, что стали бы мылить петлю, если бы нас с вами, упаси бог, начали вешать.

Дребезжит колокольчик, возвещающий конец антракта. Коридор медленно пустеет. Нарышкина и англичанин уходят в ложу. Туда же направляются и Воронцов с Бруновым.

Воронцова (Раевскому). Зачем он написал эту мерзкую эпиграмму? Зачем?! И все, все испортил. И так возмутительно вел себя здесь.

Раевский. Неужели вы до сих пор не знали, что ради острого слова он не пощадит ничего?

Воронцова. Но есть же вещи, которые даже он, с его ветреным умом, должен щадить.

Раевский. Какие?

Воронцова. Вы — его друг. Вам я могу сказать это. Должен он щадить хотя бы... привязанность.

Раевский. Может быть.

Воронцова. Скажите ему. Я не могла поступить иначе. Зачем он поставил меня в такое невыносимое положение? Ведь у него же доброе сердце. А я... (Замолкает).

Второй раз дребезжит колокольчик. Последние зрители торопливо возвращаются в зал.

Раевский. Мне вы можете совершенно довериться.

Воронцова. Вы сами должны понять... Мне очень больно. Я не хочу его терять. И не могу. Кажется, пора.

Раевский. Я останусь с ним?

Воронцова. Как знаете! (Быстро уходит в ложу).

Раевский подходит к Пушкину. Вигель и Туманский, переглянувшись, тотчас уходят в зрительный зал. В коридоре остаются только Пушкин, Раевский и старый капельдинер. Снова возникает заглушенная музыка.

Раевский (берет Пушкина под руку). Почему ты не идешь в кресла?

Пушкин (отнимает руку). Я ухожу отсюда. Мне душно. Прощай!

Раевский. Погоди. Мне надо сказать тебе нечто для тебя не совсем безразличное.

Пушкин. Ну, что ж... Говори.

Раевский. Ты знаешь, что она страдает. И велела мне передать тебе об этом.

Пушкин. Что ж! Она не могла найти лучшего посредника, чем ты?

Раевский. Почему?

Пушкин. Ну, баста! Мне надоело быть зрителем твоей комедии.

Раевский. Объяснись!

Пушкин. Изволь! Я готов изъясниться во всем. Ради прошлой дружбы. И ради моей привязанности к твоему семейству. Вот тебе набросок моей жизни здесь. Я ссыльный. Невольник. Я получаю свой скудный ссыльный паек. И достаточную долю унижений. От Воронцова, правой руки императора.

Раевский. Не горячись.

Пушкин. Нас же никто не подслушивает. Кого же ты боишься? Неужто себя?

Раевский. Опомнись, Пушкин!

Пушкин. Не знаю, кому из нас надо опомниться раньше. Здесь, в ссылке, я впервые понял с полнейшей ясностью, что вся моя суть — в поэзии. Былая лицейская игра в стихи окончена. Теперь не то! Я говорил тогда в ресторации: «Поэзия — звук пустой». Это была, конечно, глупость несусветная. Я знаю могущество слова. И я знаю, что способен дать русскому слову полную меру этого могущества. Полную меру! Я хочу жечь словами сердца.

Раевский. Но не такими эпиграммами.

Пушкин. Всем! И эпиграммами тоже! Которые доверительно передаются за моей спиной моим злейшим врагам. (Замолкает.) Здесь, в изгнании, я нашел любовь. Она вошла ко мне, как входит в каземат слабый луч солнца. Погоди! Я понимаю все. Ты тоже любишь ее. Если ты вообще способен кого-нибудь любить. Поверим в это. Я знаю, что не смею касаться этого предмета. Но погоди, не перебивай! И что же? Ра-

ди того, чтобы оттолкнуть от меня женщину, ты подогреваешь ненависть ко мне у ее сиятельного мужа. Ты забываешь, что он — наместник государя. Ты забываешь, что я — ссыльный. Ты — сын отца, известного своим благородством, идешь об руку с холопами царя, со всем этим диким барством. Ради чего? Ради того, чтобы устранить меня со своего пути?

Раевский. Замолчи! Где доказательства этого?

Пушкин (показывает себе на грудь). Вот здесь доказательства.

Раевский. Брось дурачиться! Я люблю твой поэтический дар. Неужели я могу действовать против тебя?

Пушкин. Ты любишь мой дар? То-то два года подряд ты вливал мне в сердце яд неверия во всё, яд иронии, осмеяния всех простых движений души.

Раевский. Но ты же соглашался во многом со мной!

Пушкин. Да. Пока твой цинизм казался мне признаком мудрости. Но сейчас я вырос из этого платья. Оно теснит мне плечи.

Раевский. За что ты сердишься, не понимаю.

Пушкин. Не надо жалких слов. Это изобличает тебя.

Раевский. С тобой сейчас не сговоришься. Лучше я уйду.

Пушкин. Уходи. Но последним приговором будет твой собственный. А он придет. Бог с тобой, Шура. Иди! И оставь меня навсегда. В своих мыслях и заботах о собственных чувствах и удобствах. Я не хочу с тобой встречаться. Ни на каких дорогах. Даже на самой узенькой тропинке.

Раевский. Подумай. Не говори окончательно.

Пушкин. Нет, все обдумано. Все сказано. Прощай. И будь счастлив.

Раевский поворачивается и быстро уходит. Пушкин садится на подоконник, опускает голову на руки.

Пушкин. Опять один! Один! Когда же это кончится!

Музыка в зале усиливается, звучит торжественно и грозно. К Пушкину подходит старый капельдинер. Он несет стакан газированной воды.

Капельдинер. Выпейте, сударь.

Пушкин подымает голову, берет стакан, жадно пьет.

Капельдинер. Я, извините, стоял поблизости, слыхал... Как говорится: страшен сон, да милостив бог.

Пушкин неожиданно обнимает капельдинера, на мгновение прижимается лбом к его плечу, потом отстраняется и бежит по коридору к выходу.

Капельдинер (смотрит вслед Пушкину). Горячая голова! А преклонить ее, видать, некуда. Эх, беда, беда!

ТРЕТЬЯ КАРТИНА

Офицерская палатка в степи на берегу моря под Одессой. Полог палатки откинут. Видно взволнованное море—глухое и грозное от нависших туч. Изредка сквозь тучи пробивается солнце. Тогда картина бурного моря становится еще более зловещей. До палатки доходит шум прибоя.

За столом посреди палатки сидят за бутылкой вина несколько офицеров-артиллеристов в расстегнутых мундирах.

Седой офицер. Имен не писать и не называть! И ничего не поверять бумаге. Это непременное требование главы Южного общества полковника Пестеля. Поэтому, господа, следует все, что у вас имеется письменного касательно общества, немедленно сжечь.

Молодой поручик. Неужели надо сжигать и пушкинские стихи?..

Офицер с повязкой на глазу. А ты держи их в голове.

Седой офицер. Я знавал в гвардейской артиллерии в Петербурге пушкинского друга Ивана Ивановича Пущина. Вот был человек! Ушел из полка и поступил надворным судьей. Чтобы хоть на этом малом поприще принести народу наибольшую пользу. Сейчас, говорят, он вступил в Северное общество.

Толстый офицер. Молодчина! А то наши отставные больше метят в винные пристава, на тепленькие местечки.

Офицер с повязкой. Пойдешь и в винные пристава. Ежели тебя замучают парадировками да всей этой армейской акробатикой. Вот мой дядюшка из третьей дивизии. Боевой офицер, весь изрубленный, всегда был в походах. А не вынес, ушел из армии в пристава.

Молодой поручик. Чего ж так?

Офицер с повязкой. Поставили его солдатам на кивера стаканы с водой. Для плавности маршировки. Ну, а солдаты половину стаканов и расплескали. Рекруты! Необученные.

Седой офицер. Небитые, значит?

Офицер с повязкой. Небитые.

Седой офицер. Э! Все прогнило. От макушки до самых корней.

Толстый офицер. Плешивый царь — плешивое и государство. Добром это не кончится.

Молодой поручик. Да, добром не кончится. Помните предсказание: «Как адский луч, как молния богов, немое лезвие злодею в очи блещет, и, озираясь, он трепещет среди своих пиров».

Офицер с повязкой. Дальше прочти. Там слова такие, что... Эх, мать честная! (Машет рукой).

Молодой поручик. «Шумит под Кесарем заветный Рубикон, державный Рим упал, главой поник закон; но Брут восстал вольнолюбивый: кинжал, ты кровь пролил, и мертв объемлет он Помпея мрамор горделивый».

Седой офицер. Вот так поглядишь вокруг: одна мерзость, унижение человека да воровство. А услышишь слова Пушкина—и веришь, что все это кратковременно. Потому что только великому народу может быть дан такой поэт.

Офицеры. Браво! Браво!

Седой офицер. Ну, что там, «браво, браво». (Сердито) Все сжечь! Есть опасение, что в Петербурге уже пронюхали. Как бы не заслали лазутчиков и к нам на батарею. (Зажигает свечу на столе). Устав тоже надо спалить. А жаль!.. (Достает из внутреннего кармана мундира бумагу). Жаль!

Офицер с повязкой. Савелий Петрович, прочитайте напоследок. Хоть первые строчки.

Седой офицер (надевает очки, читает). «Опыт всех народов и всех времен доказал, что власть самодержавная равно гибельна для правителей и для общества; что она не согласна ни с правилами святой веры нашей, ни с началом здравого рассудка. Нельзя допустить основанием правительства — произвол одного человека, нельзя согласиться, чтобы все права находились на одной стороне, а все обязанности — на другой».

Отдаленный крик: «Стой! Кто идет?» Седой офицер замолкает. Все прислушиваются. Снова отдаленный крик. Офицеры вскакивают.

Офицер с повязкой. Часовые. Кого-то задержали.

Седой офицер. Кто мог пройти на батарею! Из посторонних! (Начинает торопливо сжигать на свече устав). Пепел соберите и выкиньте на-

ружу! (Офицер с повязкой собирает пепел и выбрасывает его из палатки. Толстый офицер смахивает остатки пепла со стола на пол. Молодой поручик разливает по стаканам остатки вина). Как некстати! Какая нужна осторожность! (Офицерам) Все к столу. У нас обыкновенная пирушка. От гарнизонной скуки.

Толстый офицер (хватает гитару). Ловко, Савелий Петрович! (Берет на гитаре аккорд, запевает).

Гусар забыл любовь и слезы
Своей пастушки дорогой,
И рвал в чужбине счастья розы
С красавицей другой.

Все (подхватывают).

Всё здесь, друзья, изменой дышит,
Теперь нет верности нигде!
Амур, смеясь, всё клятвы пишет
Стрелою на воде!

У входа в палатку появляется Пушкин в сопровождении двух солдат с ружьями. Пение обрывается. Все пристально смотрят на Пушкина.

Солдат (докладывает седому офицеру). Вот, задержали, ваше высокородие! На батарее. Около крайних орудий. Говорит: «Шел берегом, братцы, заплутался».

Седой офицер (снимает очки и строго спрашивает Пушкина). Как вы сюда попали, сударь?

Пушкин. От излишнего любопытства.

Седой офицер. Я бы вас попросил отвечать мне точно и не шутить. Вам известно, что пребывание посторонних лиц на береговой батарее возбраняется.

Пушкин. Ваша батарея стоит так укрыто, что я споткнулся о пушку. Я иду из Одессы на дачу Рено. И сбился со знакомой тропы.

Толстый офицер. Дача Рено? Ежели не ошибаюсь, летняя резиденция графа Воронцова.

Пушкин. Совершенно точно.

Офицер с повязкой. Да... Обстоятельство странное.

Пушкин. Прошу опросить меня и не задерживать. Я тороплюсь.

Седой офицер (Пушкину). Да вы кто такой?

Пушкин (смущенно). Я... Пушкин.

Молодой поручик (вскакивает). Как?! Пушкин?! (бросается вон из палатки, кричит). Прислуга! К орудиям!

Мимо палатки бегут солдаты. Офицеры торопливо застегивают мундиры. Пушкин стоит в недоумении.

Голос молодого поручика. Слушать команду! Батарея! Огонь!

Багровый огонь выстрелов озаряет палатку. Орудийный залп.

Офицер с повязкой (кричит). Молодец, Петя! (Пушкину) Уши! Заткните уши! Оглохнете!

Пушкин затыкает уши. Второй залп. Вход в палатку заволакивается дымом.

Пушкин. Зачем палят?

Третий залп.

Седой офицер (крепко пожимает Пушкину руку). В вашу честь, Александр Сергеевич. Молодость! Она всегда бурлит. Вот не ожидал, что бог пошлет на старости лет такого гостя. Никак не ожидал! (Не выпускает руку Пушкина, снова трясет ее, потом, решившись, целует Пушкина).

Пушкин (счастливо смеется). Но эти залпы против вашей субординации. И вашего устава.

Седой офицер. В воинском уставе нет статьи, запрещающей салют поэтам.

Пушкин радостный, взволнованный здоровается с офицерами. Входит молодой поручик, останавливается на пороге, смотрит на Пушкина сияющими глазами.

Офицер с повязкой (молодому поручику). Что, Петя? Не верится?

Молодой поручик (тихо). Будто сон...

За спиной молодого поручика теснятся солдаты.

Седой офицер (обращается к солдатам, радостно). Ребята, это Пушкин! Небось, слыхали?

Солдаты. Ну, как не слыхали, ваше высокородие! Ихние песни известные.

Седой офицер. А что вы знаете?

Пожилой солдат. Нам больше всего приглянулась одна песня, ваше высокородие.

Пушкин. Какая?

Пожилой солдат. Про Наташу. «Вянет, вянет лето красно, улетают ясны дни».

Пушкин смеется.

Седой офицер (солдатам). А теперь — по палаткам. Ужинать. Часовым смотреть в оба!

Пушкин (солдатам). А что у вас на ужин?

Пожилой солдат. Печеная картошка, ваше благородие.

Пушкин. Нельзя ли и мне? Страсть как люблю печеную картошку.

Солдаты (смеются). Спечем! Постараемся!

Солдаты уходят. Остается один, болезненного вида, солдат.

Солдат (Пушкину). Александр Сергеевич! Неужто не признаете?

Пушкин (вглядывается в солдата). Кузьма! Да ты как сюда попал? Из Михайловского? (Офицерам) Это человек моего отца, из его псковского имения.

Солдат. Да как попал! Обыкновенно, Александр Сергеевич. Папаша ваш, Сергей Львович, велели забрить...

Пушкин (смущен и расстроен). Ты что, хворый как будто?

Солдат. Болею я тут, в этих местах. Не то от жары, не то от воды.

Пушкин. Да... Худо, значит, дела, Кузьма?

Солдат. Куда уж хуже, Александр Сергеевич.

Седой офицер (солдату). Ну, ступай. Потом разберемся.

Солдат. Слушаюсь. (Уходит).

Пушкин. Да... Отец у меня старых правил...

Седой офицер. Садитесь! (Пушкин садится вместе с офицерами к столу). Что-нибудь с этим солдатом придумаем. Человек больной. Значит есть основание для отчисления вчистую.

Пушкин. Снимите с меня эту тягость. А то уж очень много их набралось.

Толстый офицер откупоривает бутылку шампанского, разливает его по бокалам.

Седой офицер. Выпьем за нашего славного соотечественника!

Офицеры и Пушкин встают.

Молодой поручик. Друга вольности!
Офицер с повязкой. Властителя умов!
Толстый офицер. И сердец!

Все пьют до дна.

Пушкин (растроган). Спасибо! Мне совестно принять ваши слова по отношению к одному себе. Я постоянно мучаюсь от несовершенства всего, мною написанного.

Молодой поручик. Это неверно!

Пушкин. Не знаю. Может быть. (Молодому поручику) Вы дали блистательный салют.

Молодой поручик (радостно). Двадцать четыре выстрела, Александр Сергеевич. По числу ваших лет.

Седой офицер (Пушкину). Вы не окончили вашу мысль...

Пушкин. Встреча с вами поколебала меня в моих сомнениях. Если в моих стихах вы находите призыв к вольности и справедливости, то я счастлив этим. Трудно сознавать себя в одиночестве и в изгнании. А здесь столько дружеских рук!

Все офицеры протягивают Пушкину через стол руки. Руки соединяются над столом. Слышен рев прибоя. Снаружи уже темнеет.

Пушкин. Это похоже на клятву.

Седой офицер. Да. Пусть это будет нашей клятвой. (Офицерам) Зажгите свечи.

Офицер с повязкой зажигает на столе свечи.

Молодой поручик. Выразим эту клятву вашими же словами, Александр Сергеевич: «Отчизне посвятим души прекрасные порывы».

Пушкин. Я кое о чем догадываюсь, господа. И это делает меня еще более счастливым. Ну, что ж! (Встает). Выпьем за жажду вольности, что горит и в молодых и в старых сердцах! За то, чтобы затих, наконец, над Россией кандальный звон. Чтобы мы могли, не стыдясь, посмотреть в глаза вчерашним рабам, а сегодняшним братьям и протянуть друг другу руки. Я знаю. И я верю. Так же, как и вы. Приближаются времена расплаты. За унижение, за рабский пот, за жестокости самовластья. Заря уже занимается. Над нашей Россией, над нищими ее селами. Значит, надо выпить за солнце.

Офицеры. Браво! (Чокаются с Пушкиным).

В палатку заглядывает солдат.

Седой офицер. Тебе чего?

Солдат. Да вот, печеную картошку прислали... его благородию (показывает на Пушкина).

Пушкин. Давай сюда, на стол.

Солдат (высыпает печеную картошку из котелка на стол). Горяченькая. Не ожгитесь, ваше благородие.

Пушкин (берет одну картофелину, она очень горячая). Ах, хороша! (Перебрасывает, смеясь, картофелину из руки в руку).

Офицеры (поют под гитару).

Кубок янтарный
Полон давно,
Пеной угарной
Блещет вино!

ЧЕТВЕРТАЯ КАРТИНА

Дикий, запущенный сад на даче Рено под Одессой. Густые кусты акации нависают над полуразрушенной прибоем подпорной стеной. Вдоль стены тянется каменная баллюстрада.

Сумерки. На море буря. Слышно, как прибой бьет в подпорную стену. Иногда пена захлестывает в сад.

На старой скамье сидят Воронцова и княгиня Вера Вяземская. Перед ними стоит Лекс. Шляпу он держит в руке.

Лекс. Обегал весь город и нигде его нет-с. Ни в ресторации у Отона, ни у Думитраки, ни у Филиппа Филипповича Вигеля. Поэтому осмелился приехать. По наущению Филиппа Филипповича. Он утверждает, что Александр Сергеевич направился именно сюда, на дачу Рено. Но и тут его нет.

Вяземская. Да, он обещал здесь быть. А что за срочность такая?

Лекс. Виноват! Не расслышал. Море сильно бушует.

Вяземская (громче). Я говорю, что за спешка такая... с Александром Сергеевичем?

Воронцова. Зачем он понадобился? Графа же нет в Одессе. Он еще в Крыму.

Лекс. Не могу знать. От графа пришло из Юрзуфа новое предписание. Относительно Александра Сергеевича.

Воронцова. Хороший вы человек, Михайло Иванович, но всегда являетесь с какими-то предписаниями и неприятностями.

Лекс. Напрасно так говорите, Елизавета Ксаверьевна. Содержания этого пакета я не знаю. Что мне прикажут, то и делаю. В соответствии с местом, занимаемым мною по табели о рангах, мне рассуждать не полагается. Меня Александр Сергеевич даже окрестил «вечным титулярным советником». Но я на него не в обиде. (Женщины молчат, пена захлестывает в сад). Девятый вал. Да-с!

Воронцова. Да вы садитесь, Михайло Иванович.

Лекс. Благодарствую. (Садится). Весь день, действительно, бегаю, ног под собой не слышу.

Воронцова. Почему вы Александру Сергеевичу все прощаете, даже насмешки?

Лекс. За талант. Боюсь заслужить вашу ироническую улыбку, но смело скажу, что Александр Сергеевич — величайший поэт нашего отечества. Ежели не всего земного шара.

Воронцова (слегка похлопывает Лекса по руке, ласково ему улыбается). Милый вы, Михайло Иванович.

Лекс. Не знаю-с. Жизнь у меня ничтожная. А Александр Сергеевич блистает в нашем мраке, как вот эта звезда-с! (Показывает на яркую звезду в разрыве черных туч). Я, извините, сплю на полу под шинелькой, но поэзию воспринимаю до глубины сердца. Бывает, признаться, даже слезу прольешь. Вот недавно... Попалась мне «Полярная Звезда». И там стихотворение Александра Сергеевича. Прелести невообразимой. Каждое слово — кристалл! Я прочел это стихотворение при самом Александре Сергеевиче. Не удержался. Он внимательно так это выслушал и говорит: «Да! Великолепно сказано!» Я, конечно, пришел в некоторое замешательство. «Позвольте, говорю, так это же вы сами сочинили, Александр Сергеевич». А он посмотрел на меня и отвечает как бы с сомнением: «Как будто я». Удивительный человек-с!

Вяземская. Какое стихотворение?

Лекс. Не решаюсь прочесть. Голос невыразительный.

Воронцова. Прочтите.

Вяземская. Самому Пушкину читаете, а нам нельзя?

Лекс. Ну, раз вы приказываете... Начинается оно так... «Редеет облаков летучая гряда. Звезда вечерняя, печальная звезда, твой луч осеребрил увядшие равнины»...

Воронцова встает, подходит к баллюстраде, смотрит на море. Лекс замолкает.

Воронцова (не оборачиваясь). Что же вы? Читайте!

Лекс. «...твой луч осеребрил увядшие равнины, и дремлющий залив, и темных скал вершины. Люблю твой слабый свет в небесной вышине...»

Воронцова облокачивается о баллюстраду, наклоняет голову, незаметно прижимает к глазам платок. Вяземская замечает это.

Лекс (повторяет). «Люблю твой слабый свет в небесной вышине...»

Вяземская (трогает Лекса за локоть). Погодите!

Лекс (испуганно). А что? (Замечает склонившуюся над баллюстрадой Воронцову). Мне уйти?

Вяземская. Принесите с веранды фонарь, Михайло Иванович. А то в этих потемках мы потом не доберемся до дому.

Лекс вскакивает и уходит. Вяземская подходит к Воронцовой, кладет ей руку на плечо.

Вяземская. К чему эта хандра? Вот уж не думала, что вы способны на это.

Воронцова. Такой уж день. Буря... И эти непонятные пушечные выстрелы. Помните? И Лекс с его секретным пакетом. Зачем он здесь?

Вяземская. Ну, от него мы легко избавимся, от Лекса. (Помолчав) Я не могу вас понять. Чего вам нехватает? Самой прелестной, счастливой и богатой женщине, каких я встречала.

Воронцова. Ну, что ж... вы правы. С детства меня учили блистать в свете и дарить свое расположение достойным людям.

Вяземская. То есть, знатным?

Воронцова. Да. И то — дарить по крохам. Поэтому я и сберегла свое сердце нетронутым. С некоторых пор все, что окружает меня в доме мужа, стало чуждым для меня. Вот, я вернулась из Юрзуфа раньше Воронцова.

Вяземская. Вы заметили, что Пушкин увлечен вами?

Воронцова. Кем он только не увлекается! Он был влюблен в Амалию Ризнич, в какую-то гречанку в порту.

Вяземская. Неужели вы и вправду не заметили этого? Или вы так избалованы всеобщим обожанием, что даже любовь такого человека, как Пушкин, вам совершенно не льстит?

Воронцова. Мне кажется, вы заблуждаетесь. (Усмехается). Я не смею надеяться на любовь великого поэта. Мы ведь с ним совершенно разные. Разве можно вообразить, чтобы я стала его подругой, его женой.

Вяземская (резко). Нет! Это нелепость! (Спохватывается, говорит более мягко). С его непостоянством, с его бурным и резким нравом? И с вашей капризностью, избалованностью? Да еще при такой разнице положений? Если бы это случилось, вы бы не были счастливы.

Воронцова. Я это прекрасно знаю. Ну, а если бы он был хоть чуточку другим?

Вяземская. Тогда бы он не был поэтом!

Воронцова. Я думала как-то, может ли женщина принести свою любовь в жертву поэзии. И решила, что за это можно возненавидеть поэзию.

Вяземская (сердито). То-то вы расплакались от его стихов!

Возвращается Лекс с фонарем. Ставит фонарь на землю около скамьи.

Лекс. Чудно-с! Буря, а в воздухе ни ветерка.

Воронцова. Михайло Иванович!

Лекс. Что-с?

Воронцова. Возвращайтесь-ка лучше в город. Вы же совершенно измучены. А пакет оставьте. Александр Сергеевич будет здесь непременно. Я ему передам.

Вяземская (Лексу). Действительно, лица на вас нет. Смотреть тошно. До чего избегался, бедняга!

Лекс. Весьма благодарен, но... пакет этот секретного свойства.

Воронцова. Неужели вы могли подумать...

Лекс (поспешно). Нет-с! Нет-с! Я ничего не думаю. Не смею сомневаться в супруге его сиятельства. (Достает пакет). Некоторое служебное упущение, конечно. (Передает пакет Воронцовой). Но видимость должна быть такая, будто я самолично вручил этот пакет Александру Сергеевичу. В случае каких-либо вопросов. Со стороны графа.

Воронцова. Будьте спокойны, Михайло Иванович.

Лекс. Исключительно из расположения к вам. У меня ведь тоже сердце в груди, а не пуговица с казенным орлом.

Воронцова. Спасибо, Михайло Иванович. Я позабочусь, чтобы вы впредь не спали на полу на шинельке.

Лекс (он, видимо, растроган словами Воронцовой). Ну, что вы! Это ни к чему-с. Честь имею кланяться. (Уходит).

Воронцова, помедлив, пока скроется Лекс, быстро разрывает пакет, вынимает предписание. Бросает конверт на землю. Вяземская испытующе смотрит на Воронцову. Воронцова, нахмурившись, читает предписание, заметно бледнеет, прячет бумагу у себя на груди.

Вяземская. Ну что?

Воронцова. Мелкие придирки.

Вяземская. Но все же?

Воронцова (улыбается). Это же секретное предписание, Вера Федоровна. Не заставляйте меня быть нескромной.

Вяземская. Одна нескромность влечет другую.

В кустах раздается грозное рычание. Женщины вскрикивают. Из кустов со смехом выскакивает Пушкин.

Воронцова (радостно). Пушкин! Наконец-то!

Вяземская. Что это еще за новое ребячество!

Пушкин (хватает Вяземскую за руки и кружит ее). Вольно же вам пугаться! (Оставляет Вяземскую, целует у Воронцовой руки). Мне сейчас все трын-трава! Хотите, я заставлю эту волну остановиться?

Показывает на море. Оттуда с плеском и гулом подходит большая волна. Она бьет в стену. Пена высоко взлетает над балюстрадой и заливает женщин и Пушкина. Пушкин хохочет.

Вяземская (отряхивая платье). Насквозь промокла. А он еще хохочет! Вот пустельга!

Пушкин. Да! Я — дурак, пустельга, свинья! Сегодня я согласен на все!

Воронцова (Вяземской). Надо переменить платье, Вера Федоровна. Мои вам будут впору. Пойдемте в дом.

Вяземская. Ради бога, не беспокойтесь. Я дойду одна. Надеюсь, ваша Аннета мне что-нибудь найдет.

Воронцова. Конечно.

Вяземская уходит, погрозив Пушкину пальцем.

Воронцова (протягивает Пушкину руки). Ну, здравствуйте! Я не видела вас целую вечность. Я так рвалась сюда из Крыма... Даже бросила там Воронцова. (Садится на скамью. Пушкин опускается на землю около ее ног, облокачивается одной рукой о колени Воронцовой). Встаньте. Тут сыро.

Пушкин. Ни за что!

Воронцова. Вы сегодня какой-то особенный. (Над баллюстрадой снова всплескивает пена). Какие волны! (Ворошит волосы Пушкину). Смешной!

Пушкин. Смешной?

Воронцова. Нет! Очень хороший.

Пушкин. Только няня вот так ворошила мне волосы. Когда прощала за какую-нибудь шалость.

Воронцова. А мать?

Пушкин. Никогда! (Замолкает). Со мной только что случилось забавное происшествие.

Воронцова. Я боюсь теперь ваших происшествий.

Пушкин. Это особенное. Я шел сюда, заблудился и забрел на береговую батарею. Меня арестовали.

Воронцова. Ну конечно!..

Пушкин. Послушайте дальше. Меня привели в офицерскую палатку. Под штыками. Но когда офицеры узнали, кто я такой, они дали три залпа из пушек. В мою честь.

Воронцова. Так вот почему стреляли!

Пушкин. Да. Перед вами мне хочется хвастать.

Воронцова. Почему?

Пушкин. Может быть, потому, что вам я легко могу подарить свою славу. Больше у меня ничего нет за душой.

Воронцова. Встаньте, милый. Я боюсь за вас. Земля сырая.

Пушкин. Ничего! Я думаю сейчас об одном...

Воронцова Да? (Легко гладит Пушкина по волосам). О чем же?

Пушкин. О том, что я, в конце концов, счастлив. Это совершенно неожиданное открытие.

Воронцова. Если бы это было так!

Пушкин. Я предан своему народу. Я ему нужен. Сегодняшний случай меня в этом утвердил. В этом — моя гордость. И моя сила. Перед ней меркнут мощь и блеск всех императорских дворов. Кто дал мне поэтический дар, я не знаю. Но я буду верен ему до последнего вздоха. И до последней крупицы я его отдам тому, перед кем я в неоплатном долгу.

Воронцова. Кому это, Пушкин?

Пушкин. Своему народу. Он создал меня. Я обязан ему всем счастьем поэзии, всей радостью славы, всей силой своего существа. (Замолкает). И вы...

Воронцова. Как странно то, что вы говорите. (Замолкает). Что я? (Смотрит на море). Как быстро темнеет.

Пушкин. Подходит гроза. Видите? (Над морем мигает отдаленная зарница). Да... Странность и прелесть любви... в том, что мы с вами

живем в одно время. А могло быть иначе. Тысячелетия были до нас и будут после нас. Они нас могли разделить. Но жизнь свела нас после многих лет неясного ожидания. А могло быть иначе. И вот надо же было так случиться, что меня сослали в Одессу, а вы приехали сюда из своих пышных Александрийских садов. И вошли в библиотеку вашего дома, когда я сидел там и писал свои заметки о цыганах. Вы остановились позади, я оглянулся и увидел свет ваших глаз. «Какой у вас неразборчивый почерк!» — это единственное, что вы тогда сказали, но я ощутил эти слова, как слова... любви.

Воронцова (порывисто). Родной мой!.. (Наклоняется к Пушкину, но тотчас отстраняется). Нет, не могу.

Пушкин (встревоженно). Что с вами?

Воронцова. Нет, ничего... (Быстро опускается на колени рядом с Пушкиным, обнимает его за плечи, прижимается головой к его груди). Как мне страшно остаться... без тебя.

Пушкин (тихо). Как ты сказала?

Воронцова (едва слышно). Без тебя...

Пушкин поднимает голову Воронцовой. Она смотрит на него встревоженными глазами, потом снова прячет лицо у него на груди. Волна захлестывает в сад.

Пушкин. У тебя лицо холодное от бури.

Воронцова. Я не могу дольше скрывать это...

Пушкин. Зачем скрывать любовь?

Воронцова. Нет. Вот здесь... (Сжимает у себя на груди платье). Я ношу несчастье. Послушай. Только что приезжал Лекс. Он привез секретный пакет для тебя. Я отобрала его. И вскрыла.

Пушкин вскакивает, помогает подняться Воронцовой. Буря разыгрывается. Срывается ветер. Шумит сад.

Пушкин. Опять этот Лекс! Что было там, в пакете?

Воронцова. Я не в силах тебе рассказать. Прочти. (Достает бумагу, протягивает Пушкину).

Пушкин начинает читать. Воронцова порывисто вырывает у него бумагу, но тотчас отдает ее обратно.

Воронцова. Все равно! Читай! Все кончено теперь!

Пушкин (берет фонарь, светит на бумагу и читает; бумагу рвет ветром). «По повелению его императорского величества, сообщенному мне Новороссийским генерал-губернатором графом Воронцовым, вам надлежит не позже, чем на вторые сутки по получении сего, отправиться в имение ваших родителей в Псковскую губернию, где вы будете находиться под надзором местных властей без права перемены места жительства. Прогонные деньги в сумме 389 рублей 4 копеек благоволите получить в моей канцелярии. Одесский градоначальник Гурьев». (Пушкин начинает хохотать).

Воронцова. Что с вами?

Пушкин. Властители России! Лавочники! Рассчитали все до четырех копеек. Дешево же я обошелся его величеству — всего 389 рублей 4 копейки. (Перестает смеяться). О, нет! Чорта с два! Вся эта нечисть, в том числе и ваш сиятельный супруг, хотят заклепать мне рот. Дураки! Если пистолет дает осечку, то слово — никогда! (Воронцова делает движение, чтобы уйти. Пущкин ее удерживает). Прости меня! Но это так подло.

Воронцова. Я не сержусь.

Пушкин. Если бы ты уехала со мной!

Воронцова. Нет! Не требуй от меня невозможного.

Пушкин. Чего же стоит тогда любовь?

Воронцова. Сколько раз я думала, что делать дальше? И не могла решить. Уйти к вам? Какое это было бы счастье! (Пушкин берет ее за руки). Но непрочное. Мимолетное и всегда отравленное страхом.

Пушкин. Почему?

Воронцова. Потому что люди не позволят мне быть счастливой. Никогда! Все обрушится на меня и на вас. Клевета, презрение света, гнев родных, изгнание, месть, бедность. Все! Мне страшно об этом подумать.

Пушкин. Какие трезвые речи! Кто вам внушил эти мысли?

Воронцова. Что скрывать! Я люблю вас. И человека, и поэта. Не знаю, кого больше.

Пушкин. Но отказаться от любви?! Ради чего?

Воронцова. Я не отказываюсь от нее. Но наши жизни никогда не придут к единой гармонии. Поверьте, так нужно. Когда мы встретимся, а встретимся мы непременно, вы первый же скажете, что я была права.

Пушкин. Я не могу представить себе свою жизнь без вас.

Воронцова. Дайте руку. (Снимает со своей руки и надевает на палец Пушкину кольцо). Это старинный арабский перстень из сердолика. Он ограждает от несчастий. Никогда не снимайте его... даже если забудете меня. А теперь попрощаемся.

Сильный порыв бури. Грохот волн. Далеко в ночном мраке снова загорается и гаснет зарница. Воронцова обнимает Пушкина за плечи, долго смотрит ему в лицо, потом медленно целует Пушкина в глаза, в лоб, в губы.

Воронцова (с отчаянием). Что это? Родной мой! Неужели ты плачешь? (Успокаивает Пушкина, как маленького мальчика). Не надо! Не мучай свое сердце из-за меня! Ну, милый!.. Ну, зачем это?.. Мы увидимся—и тогда, может быть, я больше не покину тебя. Может быть, у меня хватит сил. Слышишь?

Пушкин. Да, это слабость. Но я не могу понять всех этих постоянных потерь в своей жизни.

Воронцова (снова порывисто обнимает Пушкина). Бедный мой! Так надо. Прощай. И помни — где бы ты ни был, я всегда в мыслях с тобой.

Пушкин. Так надо... Ну, что ж! Прощай. До сих пор я не знал, что ты такая...

Воронцова. Какая?

Пушкин. Такая хорошая... И такая слабая духом.

Слышны голоса.

Воронцова. Кто-то идет. Уходи. Но нет, нет!.. Не навсегда!

Воронцова торопливо крестит и обнимает Пушкина. Он скрывается в темноте. Воронцова облокачивается на балюстраду, смотрит на море. Все чаще мигают зарницы. Голоса приближаются. Люди идут с фонарем, его свет падает на мокрую листву акаций. Воронцова не оглядывается. Входит Воронцов со слугой. Слуга несет фонарь. Воронцов останавливается, молча смотрит на Воронцову. Делает знак слуге. Тот ставит фонарь на землю и уходит.

Воронцов. Вы меня сегодня не ждали? (Воронцова быстро оборачивается, смотрит на Воронцова, молчит). Я вернулся в Одессу несколько раньше, чем предполагал. (Воронцова молчит). Почему вы одна? Здесь?

Даже без вашего вечного спутника господина Раевского? (Воронцова все так же молчит). Я вас не узнаю, Элиз. Вы даже не здороваетесь.

Воронцова не двигается. Он наклоняется, берет ее руку и замечает на земле конверт, оброненный Воронцовой. Целует ей руку, потом подымает конверт, читает при свете фонаря надпись на нем.

Воронцов. Он был нынче здесь?

Воронцова. Кто?

Воронцов. Коллежский секретарь господин Пушкин.

Воронцова. Да, был.

Воронцов. Надеюсь, что вы его больше никогда не увидите.

Воронцова (гневно и холодно). Я не остановлюсь ни перед чем, если вы...

Воронцов. Если я?..

Воронцова. Если вы позволите себе еще хоть раз так издевательски выразиться о нем. Можете быть спокойны, я остаюсь при вас. Но я требую, чтобы вы не вторгались в ту область моего сердца, которая принадлежит только мне. И никому больше.

Воронцов (несколько мгновений думает, потом пожимает плечами и почтительно кланяется Воронцовой). Как вам угодно!

Воронцова берет у него конверт, рвет его на мелкие куски и бросает по ветру. Воронцов подает ей руку. Она отстраняет его и уходит. Воронцов напевает французскую песенку и смотрит ей вслед. Жалко мигают от ветра забытые на земле фонари. Сильная молния. Первый тяжелый гром прокатывается над морем и заглушает грохот прибоя.

ПЯТАЯ КАРТИНА

Комната отца Пушкина, Сергея Львовича, в Михайловском: тесная, с низкими потолками, заставленная старой мебелью. Среди ветхой обстановки выделяется только одно яркое пятно — цветистый халат на Сергее Львовиче.

За окном видна речка Сороть, взгорья, лесистые дали. Пасмурный осенний день. Ветер несет листья.

Сергей Львович стоит около печки. Из печки валит дым. Сергей Львович в отчаянии всплескивает руками.

Сергей Львович (кричит). Сюда! Кто там есть! Ариша! Петька! Куда вы подевались?

В комнату вбегает человек в солдатской шинели, без шапки. Сергей Львович в страхе от него отшатывается.

Сергей Львович. Ты кто? Я тебя не знаю. Я слуг своих зову, а не тебя. Как посмел войти?

Человек. Вы сильно кликали. Я подумал, чего приключилось.

Сергей Львович (приглядываясь к человеку). Никак Кузька Дерюков?

Человек. Так точно. Кузьма.

Сергей Львович (успокаивается, отгоняет платком дым). Полезай, открой вьюшку.

Кузьма подставляет табуретку, становится на нее, шарит в печке.

Кузьма. Вьюшка-то открыта, да наполовину. А она, эта печка, главное, сама по себе дымит.

Входит Арина Родионовна.

Арина Родионовна. Исусе Христе! Опять весь дом прокоптили, глаза у всех выело. Сколько раз я говорила, печи надо чинить. Так нет — не слушаются.

Сергей Львович. Чинить! Тебя не спросили! Вот уедем в Петербург, тогда и починишь. Я грязь при себе разводить не позволю.

Арина Родионовна. Да у вас и так мусорно.

Сергей Львович. Вьюшку ты открывала?

Арина Родионовна. Не открывала я.

Сергей Львович. Не открывала! Ничего по-людски не умеете делать. Ты у меня гляди, старая. Как приехал Александр Сергеевич, так ты только о нем, только о нем... Вокруг него одного семенишь. Я все вижу.

Арина Родионовна. Не велик грех.

Сергей Львович. Открой окно. И подай мне теплый халат. (Арина Родионовна подает ему теплый халат, открывает окно). Октябрь на дворе, а тут сиди с открытыми окнами! (Входит Надежда Осиповна, мать Пушкина). Не дом, а рыдван. Разбойничья трущоба!

Надежда Осиповна (Сергею Львовичу). Ты, очевидно, все позабыл, Сергей Львович. Это дом Ганнибалов. И не тебе бранить его, раз ты им пользуешься.

Сергей Львович. Я ничего не говорю, душенька, относительно Ганнибалов. Семейство почтенное. А дом все-таки дрянь!

Арина Родионовна машет рукой и уходит.

Надежда Осиповна. Об этом мы еще поговорим. Кто этот человек?

Сергей Львович (вспоминает о присутствии Кузьмы). Да, братец. Тебя же забрили в войско. А ты опять здесь явился. Уж не беглый ли? А то смотри!

Кузьма. Никак нет, не беглый. Меня по нездоровью отпустили обратно.

Сергей Львович. Где служил?

Кузьма. В городе Одессе.

Сергей Львович. Та-ак!.. Значит, с Александром Сергеевичем в одной Пальмире. Ты там про Александра Сергеевича ничего не слыхал?

Кузьма. Как же! Слыхал! Был случай, встретились даже. Александр Сергеевич шли берегом мимо нашей батареи, да и заплутались. Зашли на батарею. Ну, а наши офицеры, как узнали, что это, значит, сами Александр Сергеевич, тотчас вызвали людей к пушкам и дали в его честь залпы.

Сергей Львович. Что ты врешь! Быть не может!

Кузьма. Как перед истинным, Сергей Львович. Сам палил.

Сергей Львович. Это в честь Александра-то! (Кузьме) Ступай! (Кузьма выходит. Надежде Осиповне) Слыхала? Салют в честь сына. Все-таки талант! Наследственный.

Надежда Осиповна. Уж не от вас ли?

Сергей Львович. Неужели возможно в этом сомневаться, душенька! Вспомни про брата Василия Львовича. Первоклассный поэт. Вся Россия зачитывалась его «Опасным соседом».

Надежда Осиповна. Поэма для дворни!..

Сергей Львович (не слушает ее). Ежели посмотреть со стороны, то что представляется! Талантливый и блудный сын талантливого и достойного родителя. Он не ставит меня ни во что! Но я терплю. Из христианского смирения. А также из сознания, что славой своей он обязан мне. Хотя по гордыне своей этого не понимает. Потомство воздаст мне должное. Я займу свое место в памяти просвещенных людей.

Надежда Осиповна (язвительно). А диким своим нравом Александр обязан, конечно, мне. Так, что ли, ты думаешь?

Сергей Львович. Вы, Ганнибалы, все какие-то такие... шалые.

Надежда Осиповна. Если у Александра и есть признаки таланта, то он исходит из нашего рода.

Сергей Львович (не слушает ее). Никто так не страдает от его скверных качеств, как я. Никто! Ты не можешь проникнуть в мою душу, а то бы ты содрогнулась. (Бьет себя в грудь.) Ты видишь перед собой самого несчастного отца!

Надежда Осиповна (равнодушно). Чем это ты несчастлив?

Сергей Львович (возводит глаза, с аффектацией). Кто может понять трагедию отца, призванного во имя долга перед отечеством и государем стать тюремщиком собственного сына! Вот тема, достойная Шекспира! (За окном слышится дробный, частый стук). Это что? Опять рубят капусту! Тотчас прекратить это дурацкое занятие!

Надежда Осиповна. Не вмешивайся. Ты в этом ничего не понимаешь.

Сергей Львович. Все объединились, чтобы пустить меня по-миру. Все! И ты с ними. И ты, Брут! (Надежда Осиповна сердито смеется). Сколько раз говорено, чтобы квасить капусту целыми кочнами!

Надежда Осиповна. К чему это? Не понимаю.

Сергей Львович. Как—к чему? Мне ваша капуста не нужна. Можете потом выкинуть ее свиньям. Мне нужен крепкий капустный сок, что натекает на дно бочек. От кочнов.

Надежда Осиповна. Пить его, что ли, с похмелья?

Сергей Львович. Душа моя! Пойми! В этом секрет женской прелести. Какая женщина не стремится к свежести щек и нежной гибкости кожи? В Париже нет красавицы, которая не мылась бы капустным соком.

Надежда Осиповна. Мы и так хороши. Без капустного сока.

Сергей Львович. Да я не о тебе пекусь, матушка. Тебе уж слава те господи, стукнуло за пятьдесят. А о нашем состоянии. Все имения заложены и перезаложены. Государь мне денег не даст, и не подступайся. После такого сына, как Александр. А деньги где? Я тебя спрашиваю. Из ваших фижм и лент да туфелек денег не добудешь.

Надежда Осиповна. Ты что ж, предполагаешь торговать капусным соком?

Сергей Львович. Да. Представь! В лучших кауферных заведениях Москвы и Петербурга. Его процеживают, сдабривают лавандой, разливают в хрустальные флаконы. И всё! И название можно придумать какое-нибудь такое... грациозное: «Поцелуй Нереиды» или «Рдеющие ланиты».

Надежда Осиповна. Ты просто глуп!

Сергей Львович (опускается в кресло, он поражен). Ну, матушка! Хватит с меня одного Александра!

Надежда Осиповна. Кстати, об Александре. Ему пришло письмо. Из Петербурга.

Сергей Львович. Что ж ты молчала? Давай сюда! Да погоди, закрой окошко. И задерни занавески. Как бы он не заметил! Вот уж неспособны вы, женщины, хранить государственные тайны. (Надежда Осиповна достает из-за корсажа и протягивает ему конверт. Закрывает занавески. Сергей Львович осторожно отламывает сургучную печать на конверте, вскрывает письмо). Где Александр?

Надежда Осиповна. Стреляет из пистолета. В сарай. Нарисовал мелом какую-то зверскую рожу и палит в нее. Пуля в пулю.

Сергей Львович. Ох, душа моя, как бы не дострелялся он до новой беды! Кого готовится уничтожать? Подай мне чернильницу. (Надежда Осиповна подает чернильницу). Что за дом! Чернила высохли, одни дохлые мухи на дне. Нет, так жить нельзя! (Наливает в чернильницу немного духов из флакона). За душу берет этот запах.

Надежда Осиповна. Дворцовые духи?

Сергей Львович. Да... Помнишь, Надин, как лакеи прыскают эти духи на жаровни? Ах, прелесть! Пахучий такой дымок, игра хрустальная под потолками, белые плечи красавиц, музыка на антресолях, а на улице — кареты с фонарями и храп коней! О, боже, боже!

Надежда Осиповна. Ты бы не о плечах красавиц вздыхал, а привел бы в порядок несчастное свое хозяйство. В Петербург выехать не на что! Приказчики у тебя все мерзавцы. Только к себе в карман и тянут.

Сергей Львович. Не мешай! (Начинает читать письмо). Ага! Это стоит заметить. (Списывает что-то из письма).

Надежда Осиповна. Что тебе нынче был за пакет? От кого?

Сергей Львович. (Прикрывает написанное ладонью, вполголоса). От генерал-губернатора графа Паулуччи. Требует от меня письменных сведений относительно переписки и поведения Александра. Вот это мы ему и пошлем! И пошлем! (Напевает по-французски). Ничего особо предосудительного, но, вместе с тем, несколько вольно. Александру это совершенно не повредит, а я в глазах государя исполню свой долг.

Надежда Осиповна. Смотри не пересоли. Всегда увлекаешься.

Сергей Львович (снова списывает). Свечку надо приготовить для сургуча. Снова запечатать письмо.

Надежда Осиповна (зовет). Ариша! Свечку барину принеси!

Арина Родионовна (вносит свечку). Дождик накрапывает. Ветер. А Александр Сергеевич в дом все не идет. Я уж кликала, кликала. (Никто ей не отвечает, Сергей Львович торопливо пишет). Все он не спит, все мается, как безродный какой...

Надежда Осиповна. Ну, ну, все ты выдумываешь! Ступай! (Арина Родионовна уходит). Удивительно пристрастие у Александра к мужикам. Как встанет утром, прежде всего бежит к Арине, с ней здоровается. А мы с тобой у него на втором счету.

Сергей Львович. Вот то-то! (Прислушивается. Слышен смех Пушкина). Идет!

Прячет письмо в конверт, начинает разжигать сургуч на свече. Горящий сургуч капает на письмо. Письмо загорается. Сергей Львович прихлопывает его толстой книгой.

Надежда Осиповна. Боже, как ты все-таки неуклюж!

Входит Пушкин. Лицо его горит от ветра. Он, видимо, возбужден осенним холодом, стрельбой.

Сергей Львович. Что ж ты входишь, не постучавшись!

Пушкин. Простите! Я хотел попросить у вас летописи Карамзина. Они мне надобны для работы.

Сергей Львович. Неужто нечто историческое будешь писать? Трагедию, что ли?

Пушкин. Может быть. Какой у вас чад от сургуча!

Надежда Осиповна. Печка надымила.

Сергей Львович. По силам ли тебе трагедия? Трагедия, комедия, тарарамедия... Да-с! Значит, собрался писать... Вы, молодежь, всё так, скондачка...

Пушкин (улыбается). Да как-нибудь справлюсь. Можно взять Карамзина?

Сергей Львович. Да я сам его искал. И все нету. Лева, должно быть, унес.

Пушкин. Так вот же он. У вас под рукой. Позвольте!

Берет толстый том со стола. Сергей Львович старается прикрыть письмо рукой, но Пушкин замечает письмо, берет его.

Пушкин. Это мне! Кто его вскрыл?

Сергей Львович (вскрикивает, откидывается на спинку кресла). О-о-о!.. (Хватается за грудь). Опять схватило! Боже! Надин! (Закатывает глаза). Сжимает сердце... (Громко стонет).

Надежда Осиповна. Где нюхательная соль? (Пушкину) Подай! Там, на туалете!

Пушкин пристально смотрит на Сергея Львовича и не двигается. Надежда Осиповна хватает флакон с солью. Дает понюхать Сергею Львовичу.

Пушкин. К чему это? Я же все знаю.

Сергей Львович (неожиданно выпрямляется, кричит тонким голосом, по лицу его текут слезы). Не смей! Так говорить отцу! Да я тебя велю связать. Атеист! Ты учишь втихомолку безбожию своего брата. И развращаешь сестру преступными идеями. Бунтовщик! (Подымает руки к небу). И это мне, мне ты, господи, послал такого сына! За что?! (Пушкину) У тебя нет сердца! Ты хочешь погубить всех нас. Уж не итти ли нам по твоей милости в Сибирь!

Пушкин (сдерживаясь). Не вынуждайте меня сказать вам то, что непристало слышать отцу и старому человеку.

Сергей Львович (деланно смеется). Вот, извольте, я уже старик! Развалина! Да я, сударь мой, моложе тебя. Душой. Во мне еще кипит кровь просвещенного века, времен матушки Екатерины. А ты кто? Атеист! Насмешник!

Пушкин. Не будем спорить. Я прошу вас выслушать меня. (Ходит по комнате).

Надежда Осиповна. Александр, перестань ходить! У меня мельтешит в глазах. Что за манеры, господи! Откуда?

Пушкин (останавливается). Я живу здесь уже три месяца. И я хочу представить вам свое и ваше положение в том свете, в каком оно существует. Если вы сами этого не замечаете. (Сергей Львович в изнеможении валится на спинку кресла. Надежда Осиповна трет ему виски духами). В Одессе я был в самых стесненных обстоятельствах. Вы не хотели помочь мне. Почему? Вы боялись навлечь на себя подозрение в помощи человеку, впавшему в немилость царя.

Сергей Львович. Не смей касаться царя. Он божий избранник. (Крестится).

Пушкин. Хорошо. Оставим царя в покое. Я был сослан на юг, а потом сюда, к вам, в Михайловское. Сослан за приверженность тому, что составляет счастье народа. Но что вам до этого! Вам, нерадивому хозяину голодных мужиков, владельцу этих истощенных полей и этих сел, где все соломенные крыши ободраны на корм скоту. Дичь! Мужики гнут хребет и гниют в навозе, чтобы вы имели возможность чирикать среди петербургских красавиц и душиться вот этими дворцовыми духами.

Сергей Львович. Надин! Что он говорит! Обо мне!

Пушкин (с досадой). Да не только о вас!

Сергей Львович. Так о ком же?

Пушкин. Я ненавижу все это бездельное барство! Кто дал вам право распоряжаться судьбой честных людей, отбирать у них плоды их трудов!

Сергей Львович. Мужицкий апостол!

Пушкин. Их руками, однако, сделано все! А вы? Что в своей жизни сделали вы? И вам подобные?

Надежда Осиповна (Пушкину). Не кричи так! Могут услышать люди.

Пушкин. С каких пор вы начали считаться с мнением дворни? Да... Но я говорю не то! Не то! Не в этом дело!

Сергей Львович. Ага! Признался! Так в чем же дело?

Пушкин (останавливается против него). В том, что вы, мой отец, добровольно взяли на себя обязанность шпионить за собственным сыном! В том, что вы не побрезговали вскрывать мою переписку и сообщать ее начальству! В том, что вы не понимаете меры своего легкомыслия. (Подходит вплотную к Сергею Львовичу, ударяет ладонью по столу). Я буду просить государя запереть меня в одну из крепостей. Это будет достойнее, чем жить здесь.

Сергей Львович (встает). Остановись! Я — твой отец. Я отвечаю за тебя перед всевышним.

Пушкин (неожиданно смеется). Полно! Что это вам пришло в голову! Ни перед кем вы за меня не отвечаете. Ни перед богом, ни перед дьяволом!

Сергей Львович машет руками, как бы отгоняя от себя страшное видение. Надежда Осиповна падает на колени перед иконой, сжимает в отчаянии руки.

Сергей Львович (хрипит). Люди! Сюда! (Тянется трясущейся рукой к колокольчику на столе. Пушкин берет из его руки колокольчик и ставит на стол). Люди! (Надежда Осиповна вскакивает, удерживает его). На помощь!

Торопливо входит Арина Родионовна, за ней Кузьма.

Пушкин. Чего вы добиваетесь? Новых обвинений против меня? Вы хотите погубить меня окончательно! (Кузьме) Кузьма, голубчик, скажи, чтобы мне оседлали Чалого.

Кузьма. Давно бы так, Александр Сергеевич!

Пушкин. Что — давно?

Кузьма. Да ничего... Я сам Чалого оседлаю. (Уходит).

Арина Родионовна (берет Пушкина за руку). Сашенька! Не гневайся ты на них! Александр Сергеевич, любезный ты мой. Пойдем! Перемелется — мука будет. (Пытается увести Пушкина). Пойдем, Сашенька!

Пушкин (ласково отстраняет няню, оборачивается в дверях). Я сказал вам все. В первый и последний раз. Прощайте. (Уходит с няней).

Сергей Львович (бросается следом за ним, распахивает дверь в коридор, рвет на себе халат, кричит). Как ты посмел! Люди! Он ударил меня!

Надежда Осиповна. Замолчи! Сейчас же!

Сергей Львович (плачет, потрясает пухлыми кулачками). Он поднял руку на родного отца! (В коридоре толпятся испуганные девушки, слуги). Отродье Ганнибалов!

Надежда Осиповна. Ах, так! (Слугам) Вон! В людскую! Нечего тут торчать! (Слуги убегают. Сергею Львовичу) Ты перестанешь паясничать? Фигляр!

Сергей Львович. Ты тоже за него! О, боже! Он хотел меня ударить, а ты смолчала.

Надежда Осиповна. Не лги!

Сергей Львович. Он тут размахивал руками, как безумный. Это при родном-то отце. Он убил меня своими словами! (Плачет).

Надежда Осиповна (швыряет ему платок). На! Вытри лицо!

За окном слышен бешеный топот копыт. Надежда Осиповна бросается к окну.

Надежда Осиповна. Он ускакал! В Тригорское. К этим своим жалельщицам и поклонницам. К Осиповым. (Опускается в кресло). Господи! Он к нам не вернется теперь!.. Никогда!

Сергей Львович (внезапно приходит в ярость, топает ногами). В Петербург! Сейчас же укладывать вещи. И закладывать лошадей! Ноги моей не будет в этом доме. Пусть пропадает тут один. Как пес! Он мне теперь не сын.

Надежда Осиповна. Бог мой, как ты все-таки жалок!

ШЕСТАЯ КАРТИНА

Комната Пушкина в Михайловском. Ломберный стол, заваленный рукописями и книгами. Простая деревянная кровать с кожаной подушкой. Диван.

Зимний вечер. Горят свечи. Жарко пылает камин. Около камина сидит и вяжет Арина Родионовна. Пушкин лежит на диване, читает. За окном воет метель, шуршит снегом по стеклам. Слышно, как в дальней комнате поют дворовые девушки.

Друг мой милый, красно солнышко мое,
Сокол ясный, сизокрылый мой орел,
Уж неделю не видалась я с тобой,
Уж неделю, как спозналась с горем я...

Пушкин (откладывает книгу). Будто стучат, нянюшка.

Арина Родионовна. Это метель. Оторвала стреху и стучит. Ночь вьюжная, шумная.

Пушкин (встает, подходит к окну). Как метет! Весь лес качается, гудит!

Арина Родионовна. Скучно тебе, Сашенька?

Пушкин. Да нет. Мне хорошо. Спокойно.

Песня девушек затихает.

Арина Родионовна. Перебудем как-нибудь зиму вдвоем. Лишь бы дал мне бог силы за тобой приглядывать! Как все уехали, уж так тихо стало в дому. Ночью мышь прошмыгнет, а я слышу...

Пушкин. Какое сегодня число?

Арина Родионовна. Да после Крещенья будто пятый день. Или шестой...

Пушкин. Никто не пишет. Ни из Петербурга, ни откуда. Не допросишься от них писем, от треклятых друзей!

В печных трубах протяжно воет ветер. Пушкин подкладывает в камин дрова.

Арина Родионовна. Воет, нечистая сила! Да... Ты, Сашенька, знаешь деда Михайлу из Зимарей?

Пушкин. Болтливый больно дед.

Арина Родионовна. Вот все так говорят—болтливый, да болтливый... А слыхал, какая с ним оказия приключилась?

Пушкин (садится на пол около камина, обхватывает колени руками). Нет. Что-то не помню.

Арина Родионовна. В прошлый год об это время, в самый снег, плелся он из Святых Гор к себе в Зимари. Тверезый. Там через Сороть, через реку, тропка по льду была протоптана ниже Савкиной горки. Идет он. День сошел, а ночь еще не пришла, не приступила. И время, знаешь, такое смутное, тихое. А около тропки пролубь во льду, в реке. Вода в пролуби черная-пречерная. И видит Михайло: плавает в той пролуби золотой ковшик. Темнота уже, а ковшик светится, горит червонным жаром. Михайло остановился, потоптался, думает: «Ай унесть тот ковшик с собой? Все-таки золото». Да вроде неловко. Может, его кто нарочно в пролубь подкинул, чтобы Михайлу испытать, узнать — не вор ли он, не разбойник ли. Боязно ему ковшик взять. «Ну,—думает,—тогда по крайности я из этого ковшика водицы напьюсь». Нагнулся он, полез за ковшиком, а бородища-то у него сивая, длинная. Помнишь?

Пушкин. Помню, помню. Что же дальше?

Арина Родионовна. Да!.. Тут высовывается из пролуби мохнатая лапища, цоп его за бороду и держит крепко. (Пушкин смеется). А Михайле-то было не до смеху. (За дверью слышен шопот, скрип половиц). Подслушивают, негодницы!

Пушкин. Оставь их. Рассказывай.

Арина Родионовна. И говорит ему из-под воды человеческий голос. Сиплый такой, сердитый. «Ты что ж это, чортов дед, за золотой ковшик хватаешься?» Михайло оробел, отвечает: «Да мне бы только водицы испить». — «Вот я тебе покажу — испить! — хрипит это самое подводное чудище. — Как дерну за бороду, как окуну тебя вместе с треухом в пролубь, тогда будешь знать, как царские ковшики цапать!» (За дверью слышен сдержанный смех) Я вас — подслушивать! Озорницы! (Девушки за дверью шарахаются и затихают).

Пушкин. Ну, нянюшка! Рассказывай же. Что за прелесть!

Арина Родионовна. «Я, — говорит,—водяной царь. И теперь ты у меня будешь в услужении весь свой век. За невежливость твою. Будешь мне продухи бить во льду каждый день, чтобы мне тут зимой не задохнуться. А иной раз прикажу — сбегаешь в Святые Горы, расстараешься мне водочки. Погреться. Понял мой разговор?» — «Понять-то я понял, — отвечает Михайло, а сам тихонько вытаскивает из кармана острый ножик, — только у меня и так хватает бурмистров да господ. А ты еще на мою шею навязываешься! На это я не согласен. Иди ты,— говорит,— подальше, пресветлый водяной царь, лягушечье благородие». И ножиком себя по бороде — жик! Остался водяной с клоком волос в руке. А Михайло ему кукиш кажет и смеется: «Не-ет, — говорит, — слаба у тебя жила псковского мужичка объегорить!» Борода-то у Михайлы, говорят, только нынче к осени выросла, сравнялась. А то все ходил обкромсанный.

Пушкин (вскакивает, обнимает Арину Родионовну, целует ее в голову). Голубка моя! Да я готов жить с тобой в этой глуши хоть сотню лет. И откуда только у тебя все берется?!

Арина Родионовна. Век-то долгий. Сколько я перевидела этих ямщиков, странников, убогих и беглых — не перечесть. И каждый что-то свое мелет, каждый чегой-то выдумывает. Как выпьют водочки, так ты их только послушай — орлы! Будто у каждого в кармане сто целковых. А всамделе-то у них за душой один крест нательный, да и тот жестяной. Любит народ сказки. (Спохватывается) Вот дура-то! Совсем память отшибло.

Пушкин. Ты чего всполошилась?

Арина Родионовна. Да Кузьма с вечера сидит в девичьей, дожидает-

ся. К тебе пришел. А я позабыла. Ах, грех, грех великий! (Встает, торопливо уходит).

Пушкин. Это мы тотчас запишем. Оказию с дедом Михайлой. (Подходит к столу и, не садясь, быстро пишет на клочке бумаги. Входит Кузьма). Здорово, Кузьма! Что же ты сидел три часа и не сказывался?

Кузьма. Полагал, вы заняты, Александр Сергеевич. Я-то в тепле сидел, песни слушал. (Лезет за пазуху). Был я намедни в Тригорском у Прасковьи Александровны. Там письмецо прибыло для вас. Из города из Белой Церкви. (Подает Пушкину письмо). Снежком его малость подпортило.

Пушкин. Спасибо. (Смотрит на конверт и засовывает письмо в книгу на столе).

Кузьма (подходит ближе к Пушкину). Тут дело такое, Александр Сергеевич...

Пушкин. Какое?

Кузьма (таинственно). Шатается по нашей округе один человек. В ватном картузе. Вроде как немец. Ездит, приценивается к гусям. А покупать — не покупает. Все только народ опрашивает.

Пушкин. О чем?

Кузьма. Да все про вас, Александр Сергеевич... «У вас, мол, говорит, барин в Михайловском хороший, весьма известный господин. Он, должно, про будущую вольность крестьянского сословия вам уже все обсказал? Ну и про царя, небось, нет-нет да и перекинется веселым словом?» А мы, понятно, шапки мнем, покашливаем: «Что ты, ваше степенство! Да какой он хороший! Окстись! Он нас, мужиков, за людей не считает, по-французски сам с собой разговаривает, повсюду ходит с железной дубинкой девяти фунтов весом. Чуть что, сейчас замахнется этак дубинкой: «Я вас, мужичье! Больно много понимать об себе начали!» А про царя при нем слова не скажи. Тотчас кричит: «Шапки долой! Я, кричит, за государя-императора каждую неделю молебен деру у себя в доме». Барин, прямо сказать, строгий». (Пушкин хохочет). Так что вы, Александр Сергеевич, того... посматривайте. Поаккуратней!..

Пушкин (протягивает Кузьме руку). Ну спасибо тебе, Кузьма. У нас заночуешь. В такую вьюгу к себе в Зимари не возвращайся.

Кузьма. Куда там! Так снегом лепит в глаза — страсть! (Уходит).

Пушкин закрывает за Кузьмой дверь на ключ, достает письмо, стоя читает его. Садится, сжимает голову руками.

Пушкин (повторяет слова письма). «Любимый мой, единственная моя радость! Я готова плакать от горя и нежности, когда пишу вам»... (Замолкает). Мне трудно поверить, что все это было так недавно и так давно... (Прислушивается). Лес шумит... как там шумели морские волны. Видно, на роду мне написано терять любимых. (В дверь стучат). Кто?

Арина Родионовна (за дверью). Чай будешь пить?

Пушкин. Потом! (Берет письмо, садится около камина, читает). «Я уехала из Одессы в Белую Церковь, к отцу. Сегодня Александрийские сады оделись снегом, но река Рось не замерзла и шумит у меня под окнами. Если бы вы могли быть здесь! Или в Одессе, куда я скоро возвращаюсь». (Встает). Она требует, чтобы я сжег это письмо. Но нет! Только не сейчас. (Прячет письмо в книгу). Как странно подумать— на тысячи верст шумят леса, валит снег, скоро зазвонят к утрене в сельских церквах... А там, за этими лесами — там она... Я бы отдал полжизни, чтобы пробиться к ней сквозь этот снег и вьюгу.

Снова стук в дверь. Пушкин открывает. Арина Родионовна вносит самовар, накрывает на краю стола, достает из шкафчика бутылку вина. Пушкин ходит по комнате.

Арина Родионовна. Ты что? Все бегаешь. Похудел сразу. Выпей чайку да ложись. Ночь уже поздняя. А то опять до свету будешь брызгать пером. Ишь, всю скатерку забрызгал.

Пушкин. Спасибо, милая. Иди, отдыхай.

Арина Родионовна. Я ведь уснуть — не усну. Все буду ворочаться, думать.

Пушкин. О чем это, нянюшка?

Арина Родионовна. Да все о том же. Разве я не вижу? Дождаться бы тебе счастья, ангел мой! Ну, ну, не буду, не буду. (Уходит).

Пушкин (наливает в стакан вина, постукивает по стакану пальцем, задумывается). Метель сразу стихла... Ну что ж! Выпью один. (Пьет вино). За нее. И за себя. (Усмехается). Как это сказано? «Да ниспошлет господь любовь и мир его душе страдающей и бурной». (Снова ходит по комнате). Почему я все же так спокоен? И счастлив, и несчастлив в одно и то же время... Отсюда, из захолустья, мне понятнее жизнь, чем было в Одессе, в Петербурге. Должно быть, всегда так — надобно отодвинуться поглубже. Тогда можно все охватить взглядом. Вот так охватишь — и видишь одно: смутно на душе. И на Руси. Всеобщее брожение мыслей. Что же будет, дружки дорогие! (Снимает, не переставая ходить, сюртук. Остается в белоснежной рубашке. Напевает) «Ах, где те острова, где растет трын-трава, братцы!» (Садится к столу, за стеной бьют дребезжащие часы). Тихо... Как на погосте. Да, смутно на Руси. (Берет перо и небрежно, очень быстро, почти не глядя на бумагу, не то рисует, не то набрасывает слова. Перечеркивает все и снова пишет. Перечитывает написанное) «Что пользы в том, что явных казней нет, что на колу кровавом всенародно мы не поем канонов Иисусу, что нас не жгут на площадях, а царь своим жезлом не подгребает углей». (Смотрит за окно, откуда падает в комнату смутный свет). Светает? Или взошла луна? (Гасит свечи, оставляет только одну). Светает. Над рощей. (Подходит к окну). Как много мне еще надобно сказать!.. И сказать так, чтобы я сам пришел в восхищение. Чорт знает! Что за привычка болтать с самим собой! Как сорока!.. (Замолкает). Заря уже проступает. А сна все нет. И никто не знает, что́ я, ка́к я. Всегда наедине с собой. От этого, избави бог, мозги раскиснут. (Прислушивается). Что это? Постой, брат Пушкин! (Далеко слышен звон колокольчика под дугой). Фельдъегерь! Наверное, эта пустельга Левка опять распустил по свету мои стихи насчет царя. Из ссылки в ссылку. Чепуха! Я, как прадед Ганнибал, начал бояться колокольчиков. (Всматривается в окно. Уже видна заря, снега, очертания леса). Как скачут с горы! (Быстро подходит к свече, гасит ее, возвращается к окну). Тройка! Почтовая! (У крыльца, взрывая снег, останавливаются, храпят кони. В последний раз ударяет колокольчик. Пушкин отшатывается от окна, кричит) Ваня! Пущин!! Откуда?! (Бросается вон из комнаты).

Крыльцо

Дверь из дома распахивается, на крыльцо выбегает Пушкин. К нему навстречу по ступенькам взбегает Пущин. Он в медвежьей шубе, весь в снегу. Ступеньки трещат под его ногами. Пушкин бросается на шею Пущину. Они крепко обнимаются и мгновение молчат.

Пушкин. Как... как ты попал сюда?

Пущин. Сумасшедший! Простудишься! В одной рубахе... Мороз же страшный. (Хватает в охапку Пушкина и тащит его в комнаты). Ах ты, Сверчок несчастный! Да не плачь, дурак!

Пушкин. А ты? Зачем же ты?..

В комнате Пушкина

Пущин (растерянно). Озяб, должно быть? Накинь-ка шубу! (Снимает с себя шубу, накидывает на Пушкина).

Пушкин (смеется сквозь еще не высохшие слезы). Да она вся в снегу. (Сбрасывает шубу, снова обнимает Пущина). Ваня, если бы ты знал...

Входит Арина Родионовна, пристально смотрит на Пущина, потом торопливо подходит, обнимает его.

Арина Родионовна. Не знаю вас, батюшка. Никогда не встречала. А вижу — свой.

Пущин. А я вас хотя и не видел, а знаю хорошо. И люблю крепко.

Пушкин. Нянюшка, буди людей! И давай свечи! Свечи!

Арина Родионовна. Сейчас все будет. Кофей, закуска.

Пущин. Где бы у вас умыться? Скачу из Пскова без остановки. В Острове только задержался, проник ночью в ренсковый погреб, купил три бутылки Клико.

Пушкин. Чудесно! Погоди, сейчас. (Выбегает).

Арина Родионовна (зажигает свечи, подкладывает в камин дрова). Дом-то у нас в расстройстве. Похозяйничал здесь Сергей Львович. Оставил нас в такой лачуге. Уж не взыщите.

Пущин. Были бы люди хорошие. А дом — пустое.

Пушкин (возвращается с тазом и кувшином воды). Ариша, милая, подай рушник.

Арина Родионовна уходит.

Пущин (снимает сюртук, засучивает рукава). А я несусь в Москву. Решил заехать.

Пушкин. Вот мыло. (Начинает сливать Пущину на руки). Не побоялся, Ваня?

Пущин (моется). Все отговаривали, стращали. Ты же под двойным надзором. Но как же я мог, понимаешь, проезжать отсюда в ста верстах и не заехать. Ведь пять лет не виделись. Пять лет! Да жаль, я у тебя всего на несколько часов. Все служба!

Пушкин. Ах, как плохо! Да неужто это ты? Погоди, вот тут еще осталась мыльная пена. Кого видел в Петербурге? А я, представь, всю ночь не спал. Как будто чувствовал!

Пущин. Хорошо тут у вас. Места какие! Леса, холмы.

Пушкин. Почему ты ушел из армии? В надворные судьи?! Баратынского видел?

Пущин. Всех видел.

В дверь просовывается девичья рука с чистым вышитым рушником. Пушкин берет рушник и подает Пущину.

Пушкин. Вышла ли первая глава «Евгения Онегина»? Не знаешь?

Пущин (вытирается). Вышла. Ну, брат, спасибо за «Онегина»! (Мокрый, целует Пушкина). Ты будешь умываться? Давай солью!

Пушкин. Да. Лей, не бойся.

Пущин. Вода у вас студеная. Со льдом.

Пушкин (моется). Лесная. Про меня что-нибудь говорят там, в Петербурге? Или позабыли совсем?

Пущин. Ты, брат, и сам не подозреваешь, какая вокруг тебя любовь. Какая слава шумит над этой взбалмошной головой. (Ерошит Пушкину волосы).

Пушкин. Ты — третий.

Пущин. Что — третий?

Пушкин. Вот так ерошишь мне волосы. (Моется). Трудновато поверить в собственную славу. В этой берлоге.

Пущин. Трудновато.

Входят Арина Родионовна и застенчивая девушка с длинными русыми косами. Девушка несет поднос с закусками. Ставит его на стол, кланяется Пущину и убегает. Арина Родионовна собирает со стола книги, расстилает скатерть, накрывает на стол. За окнами совсем рассвело. Утро ясное, тихое, и далеко на взгорьях снега уже озарены оранжевым блеском раннего солнца.

Пушкин. Садись к столу, Ваня.

Пущин. Начнем с напитка вдовы Клико? С шампанского.

Пушкин. Начнем.

Пушкин откупоривает бутылку шампанского. Пробка летит в потолок. Янтарный солнечный свет уже заливает всю комнату.

Пушкин. Какое утро! Взгляни!.. Выпьем за тебя. И за него.

Пущин. И за нашу Россию.

Чокаются и пьют. Пьет и Арина Родионовна.

Арина Родионовна. День, и вправду, такой занялся, будто светлый праздник. А всю ночь мело.

Пушкин. Великолепный снег. (Наливает по второму бокалу). За наш лицей, Ваня!

Пущин. За лицей!

Пушкин и Пущин встают и выпивают свои бокалы. Садятся.

Пушкин (Арине Родионовне). Нянюшка, угости всех людей наливкой. И пирогами.

Арина Родионовна. И вправду. Пойти сказать. (Уходит).

Пущин. Теперь рассказывай. За что тебя выслали из Одессы? В эту глушь?

Пушкин. Все Воронцов!

Пущин. Кого встречал на юге?

Пушкин. Многих. (Смотрит, улыбаясь, на Пущина). Например, полковника Пестеля.

Пущин (стучит пальцем по столу). Ну что ж... Пора бы тебе сказать. Сроки уже приближаются. Тут безопасно?

Пушкин. Как сказать! В доме — да, а в окружности — не очень. Бродят всякие людишки, принюхиваются.

Пущин. Ты знаешь, что я вошел... Ну, в общем, я избрал новый и, пожалуй, самый верный путь служения отечеству.

Пушкин (вскакивает). Знаю. Давно догадался.

Пущин. И я не один. Многие.

Пушкин (нервно раскуривает трубку). Многие! Кроме меня. Меня вы к себе не берете.

Пущин. С тобой нашему брату не велено даже пока что общаться. Ты же под надзором, Саша. Пойми, ты весь на виду.

Пушкин. И потому опасен для вас?

Пущин. Это как раз пустое.

Пушкин. Может быть, вы правы, что мне не доверяете. Я, конечно, не стою этой чести. По многим глупостям.

Пущин. Не горячись! Каждому свое, Саша. Мы — простые каменщики. Нас сотни. А ты один на всю Россию. Довольно того, что у каждого из нас хранятся твои стихи. Как заповеди.

Пушкин. Слабое утешение! Если бы ты сказал, что своими стихами я могу поколебать самовластие, вложить их, как кинжал, в руки мстителей, тогда еще я был бы спокоен. Но этого же нет!.. Ведь нет?

Пущин. Мало ты себя еще ценишь, Саша. Ох, как мало! А ежели я скажу тебе, что это есть, что твой голос звучит в самых глухих углах России, как набатный колокол, как голос надежды и веры в торжество справедливости—что тогда? Потерпи немного. Я клянусь тебе — когда приблизятся сроки, когда мы будем на пороге осуществления наших надежд, мы вызовем тебя. Я первый сообщу тебе: будь готов, мы ждем тебя, торопись, нам нужен твой голос. Да как же ты не понимаешь, что ты принадлежишь народу, как поэт? Что твое поэтическое призвание выше всего, Саша. В кои-то веки дождалась Россия такого певца, а мы что ж — будем подставлять его голову под удар?! Нет, Саша! Живи, пиши, негодуй, сверкай во славу вольности и своего народа.

Пушкин. Ну, спасибо. Я это сам знаю, Ваня.

Пущин. Будь спокоен. (Встает, обнимает Пушкина за плечи, ходит с ним по комнате). Что пишешь?

Пушкин. Наше дело маленькое — кропать стишки. Вот и кропаем. Трагедию о Смутном времени. И своего кисляя — Онегина.

Пущин. Чорт тебя подери! Да если бы кто другой сказал мне такие слова об Онегине, я бы вызвал его к барьеру. И всадил бы ему пулю в башку.

Пушкин (смеется). И, пожалуй, за дело всадил бы. Ты — дуэлянт. Не хуже Грибоедова.

Пущин. Да, слушай! Чуть не позабыл во всей этой сумятице. Я же привез тебе комедию Грибоедова. В списке.

Пушкин. «Горе от ума»? Давай скорей! Вот рохля! Кюхля! Как же ты мог забыть?

Пущин достает из дорожного мешка рукопись. Входит Арина Родионовна с кофейником.

Арина Родионовна. Вот всегда так. Не пьют, не едят, а только смех да разговоры. Та-та-та да ха-ха-ха... Кофей сначала выпейте.

Пушкин (разворачивает рукопись). Нянька, не мешай. Не мешай, Аринушка!.. (Быстро перелистывает рукопись, читает про себя, начинает смеяться). Чудо какое-то! Да это же бесподобно! (Читает). «Нет-с, книги книгам рознь. А если б, между нами, был цензором назначен я, на басни бы налег. Ох, басни — смерть моя! Насмешки вечные над львами, над орлами! Кто что ни говори: хотя животные, а все-таки цари!»

За стеной слышен шум, пение.

Арина Родионовна. Ишь наливка их разбирает, девчонок. Ну, прямо светлый праздник.

Пущин (Пушкину). Ты лучше свое прочти.

Пушкин (с увлечением просматривает рукопись). Куда там свое! Ура, Ваня! Наконец-то народился в России комический гений! Надо выпить еще и за это! (Наливает вино).

Девушки (пляшут за стеной и поют).

Что ж любовь, что ж любовь не приходит,
Ни при той, ни при этой погоде?

Пушкин. Какая изумительная чушь! Весь дом уже пьян.

Арина Родионовна. Как бы не развалили лачугу! Пойти их унять.

Пущин. Не надо! Мне через час уезжать.

Пушкин (Арине Родионовне). Позови их. Пусть тут споют. И спляшут.

Арина Родионовна. Ой, что ж это! Никогда не бывало. (Смеется). И я будто пьяна, Сашенька. Вправду позвать, что ли?

Пущин. Зовите, зовите, нянюшка.

Арина Родионовна уходит.

Пушкин. Хороша жизнь отшельника! А все по твоей милости, Ваня. Боже, как я рад.

Дверь распахивается. В комнату входят смущенные девушки. За ними Арина Родионовна. Девушки становятся в ряд, кланяются Пущину.

Арина Родионовна. Ну, чего испугались? Хоровод вокруг гостя надо водить. Ай забыли?

Девушки берутся за руки и начинают водить вокруг Пущина и Пушкина хоровод. Все быстрее и быстрее. Цветистые девичьи платья, посуда на столе, комната — все озарено ярким солнцем и огнем свечей: их забыли погасить.

Девушки (поют).

Как у нас на улице,
У нас на широкой
Красные девки разыгрались,
Молоденки расплясались.
Одна девка лучше всех,
У ней лента шире всех!
Ах, ах, ах, ах —
У ней лента шире всех!

Пушкин (хватает за руку Арину Родионовну, вступает с ней в хоровод).

Ах, ах, ах, ах —
У ней лента шире всех!

Пущин. Эй, жги, говори, разговаривай!

В дверях появился рыжий монах с острым носиком и едкими глазками. Его сначала не замечают. Монах укоризненно качает головой, потом кланяется на икону в углу, крестится и начинает пронзительным голосом читать молитву. Хоровод останавливается. Девушки в испуге бросаются вон из комнаты.

Монах. «Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твое! Победы благоверному императору нашему Александру Павловичу...»

Арина Родионовна. Ой, грех великий! (Крестится и кланяется на икону).

Пущин (Пушкину). Что это означает?

Пушкин. Еще один... наблюдатель. Игумен из Святых Гор. Когда только успел дознаться? Не беспокойся. Я его накачаю ромом. Он пьяница первостатейный.

Монах. «На супротивные даруя и твое сохраняя крестом твоим жительство».

Пущин. Это тебе повредит?

Пушкин. Не знаю. Нигде нет покоя от этих... (Арине Родионовне) Нянюшка! Ром на стол! Для отца Ионы.

Монах (кланяется Пушкину). Простите великодушно, Александр Сергеевич, ежели помешал. Но, как говорится, от духовного лица не ущерб, а чистый прибыток. (Снова низко кланяется Пушкину и семенит к столу, куда Арина Родионовна ставит бутылку рома).

Пущин (Пушкину, тихо). Ну, Сверчок, придется нам расквитаться кое с кем за тебя. И расквитаться жестоко.

СЕДЬМАЯ КАРТИНА

Трактир в Святых Горах. За окнами — серенький зимний день. Дымно, шумно. Слышен заунывный колокольный звон из монастыря. За столом посреди трактира пьют чай ямщики. За отдельными столиками сидят крестьяне в зипунах, бабы, странники. В стороне молодой человек в клетчатом костюме с напомаженным коком — явный шулер — мечет карты. С ним играют безусый приказчик и старый чиновник в фуражке с оторванным козырьком. За стойкой — худой целовальник и его жена, пышная и сонная. У окна в клетке заливается канарейка.

Кузьма (входит в трактир, останавливается, прислушивается к пению канарейки). Хорош у тебя кенарь, хозяин!

Целовальник. Кенарь ученый. Любительский.

Баба в платке. Декабрь на дворе, а он себе звенит и звенит. Да по жердочке скачет. То туды, то сюды! То туды, то сюды!

Суетливый мужичок. Веселое существование!

Человек в скуфейке. А ему что, кенарю? Барщину не отбывать! Вот и скачет.

Суетливый мужичок. Соловей против кенаря вроде бойчей.

Кузьма проходит и садится за столик.

Человек в скуфейке. Это верно. Только век-то больно короток соловьиный.

Кузьма. Я бы с ним в охотку поменялся, с соловьем. Хоть короток век, да голосист!

В трактир входит Пушкин, замечает Кузьму, идет к его столику. Некоторые из посетителей встают, снимают шапки, кланяются Пушкину.

Пушкин. Здравствуйте, здравствуйте! (Подходит к столику Кузьмы, здоровается с Кузьмой за руку, садится).

Кузьма. На ярмарку приехали поглядеть, Александр Сергеевич?

Пушкин. Да, потолкаться между народом.

За столиком, где играют в карты, начинается шум.

Человек с коком (кричит). Извольте тогда сами метать, коли так! Ужо я посмотрю, как вы передернете!

Чиновник. Я, сударь, не мошенник! Играю на кровные. И обкрутить себя не допущу.

Кузьма. Как бы не подрались!

Пушкин. Да ну их! Выпьем немного, Кузьма.

Кузьма. Я с вами всегда заодно, Александр Сергеевич.

Пушкин стучит по столу. Подбегает мальчик половой.

Пушкин. Подай нам вина. И чего-нибудь закусить.

Половой. Есть сижок копченый. Крутые яйца. Грудинка.

Пушкин. Тащи всего. (Кузьме) Что слышно нового, Кузьма?

Кузьма. Одна новость, да и ту вы знаете, Александр Сергеевич. Государь Александр преставился в Таганроге. Новости к нам ползут, как обозы с сеном. Покуда-то их клячи дотащат. По нашим-то по дорогам.

Пушкин. Да. (Помолчав) Ты про железные дороги слыхал?

Кузьма. Это которые паром работают?

Пушкин. Да.

Кузьма. Слыхал. Только это не для нас, Александр Сергеевич.

Пушкин. Думаешь, не осилим?

Кузьма. Осилить, конечно, можно. Русский человек для всего годится. Только чьим горбом-то осиливать? Мужицким? Так мужику нынче лапоть подвязать — и то труд великий. Изголодовал народ. Растерялся.

Разговор Пушкина с Кузьмой слушает за соседним столиком косматый человек в потертой скуфейке.

Человек в скуфейке (оборачивается к Пушкину). Это верно, растерялся народ. Один оброк — шесть рублев серебром с души! Вот и поди, выколоти его из дырявой мошны. Ты вот выколачивай, а я погляжу!

Половой ставит на столик Пушкину графин водки и закуску.

Пушкин (человеку в скуфейке). Садись, отец, с нами.

Человек в скуфейке (подсаживается к столику Пушкина). Подай вам, господи!

Пушкин. Водочки выпьешь?

Человек в скуфейке. Как не выпить! На дворе ростепель, сырость. (За окнами слышен гомон ворóн). Кричит воронье. Такое есть рассуждение промеж народа, что не миновать новой беды.

Суетливый мужичок (за соседним столиком). Не-ет, браток! Ты сам привык, как ворон, каркать. Иное в народе говорят! (Быстро пересаживается за столик Пушкина). Иное!

Кузьма. Чего там — иное, иное! Ничего иного не будет!

Суетливый мужичок. Ан будет. Послабления ждут. Будто недоимки нам скостят. Начисто! Царь-то помер.

Человек в скуфейке. Буде врать-то! Ничего он не помер.

Суетливый мужичок (оглядывается). Потише бы...

Человек в скуфейке. Ты не пужайся, сморчок! Ты лучше выпей! (Суетливый мужичок вежливо наливает себе стопку, пьет). Уж на ком, на ком—а на царе нивесть сколько грехов. Какие, скажем, наши мужицкие грехи? Чего уворовал от худости своей. Или шапку не поспел скинуть перед барином. А у царя, брат, не то! Да... Согнулся царь Александр от великих грехов и надумал: кину я этот самый престол к евоной бабушке, уйду в лес, в пустыню, буду жить затворником, каяться перед всевышним. Так и сделал. Положили заместо него в гроб унтерофицера, никому не показали, запаяли гроб свинцом — и всё тут! Иди догадайся. А царь-то давно ускакал за Енисей. Там его сам Аракчеев не сыщет.

Кузьма. А какая нашему брату выгода от царского покаяния?

Суетливый мужичок (хихикает). Вот то-то! От него лебеда хлебом не станет. Это все монахи придумали.

Человек в скуфейке. Тебе все — монахи!

Суетливый мужичок. Да сам ты кто?

Человек в скуфейке. Я караульщик ночной. Монастырский.

Пушкин. Как же дознались об этом? О царе?

Человек в скуфейке. Эх, барин... Правда под землей по жилам течет. То тут пробьется, то там.

В трактир входит слепец с мальчиком поводырем. Еще у порога слепец и поводырь начинают петь:

Расступися, мать сыра земля,
Приоткройся гробова доска,
Распахнися саван вытканный,
На лицо рукой покинутый.
Встань, родимый батюшка,
Пробудись от сна от крепкого,
От сна крепкого, вековечного!

Слепец идет с шапкой между столиков.

Целовальник (слепцу). Повеселил бы лучше людей.

Слепец. Я, братие, всю землю исходил, а узреть ее так и не сподобил господь. Может, зрячему она и весела, а мне, убогому, все мнится — тёмно! Ой, тёмно у нас! С горем спать ложимся, горем покрываемся, с горем по утру встаем.

Суетливый мужичок. Доля-то счастливая, надо быть, где-то находится.

Кузьма. Царские раки ее съели, браток.

Пожилой ямщик (оборачивается к Кузьме). Ты помалкивай. А то случится с тобой, как в песне поется: «Сотню палок закатят — так все кости затрещат».

Баба в теплом платке. Господи-милостивец! Осерчал народ. Нигде нету отдохновения: ни тебе в избе, ни на поле, ни в храме божьем, ни в трактире.

Слепец подходит к Пушкину. Пушкин берет его за рукав, сажает за свой столик. Мальчик поводырь робко садится рядом со слепцом.

Пушкин (поводырю). Ты ешь, мальчик. Не бойся. И слепца покорми. Ты что же, сирота?

Поводырь (кивает головой). Ага!

Слепец. Сирый он. Из-под Онеги. (Пушкину) А ты кто ж такой? Голос у тебя дивный.

Пушкин (усмехается). Тоже вроде странник. Только зрячий.

Слепец. Ты меня не обманывай. По душе, может, ты и странник, а слышу — из высокого звания. Да... Про легкую юдоль тут кто-то доказывал.

Человек в скуфейке. Переждал ее народ, эту юдоль. Потерял веру. Теперь бы дал господь только легкую смерть.

Слепец. Кто переждал, а кто и нет. Гневен народ, да гнев-то его за ста замками захован. На самом донышке.

Суетливый мужичок (смеется). Не выковыряешь его оттоль. Ногтем.

Пожилой ямщик. Эх, приятели! Мелете вы языками, как на паперти, а кто бы мне сказал, когда срок выйдет? Долготерпению нашему?

Слепец. Вскорости. Были знамения.

Пушкин. Какие?

Слепец. Разные. Вот нынче осенью город Петербург черной водой затопило. А на площади в Петербурге статуй стоит. Царю Петру. На скачущем диком коне. Вода подошла царю Петру по грудки, одна голова царская медная над волнами возвышается. И среди ночи заговорила та голова густым голосом сквозь бурю и водяной плеск. «Позовите ко мне, говорит, всех чиновников и генералов, и самого царя!» Подъехали к голове на дощаниках царь с генералами и разные сановники. С фонарями. Холодно им, мокро, трясутся. И возговорила им медная голова: «Вы что же, такие-сякие дети, потоп допущаете, все мое государство разорили, простой люд в ярме гноите! Через вас, говорит, Россия идет к погибели. Того ли я, говорит, добивался? Я хабарников батогами сек, а ты, благословенный царь Александр Павлович, им ленты атласные на шею навешиваешь! Даю вам, говорит, три месяца сроку на исправление. А не исправите — пришпорю коня, слечу с этой скалы, проскачу, говорит, по всему Петербургу и всех вас подковами стопудовыми истопчу, искромсаю».

Суетливый мужичок. Ну и ну!

Человек в скуфейке. Неужто испугались?

Слепец. Испужаешься, брат. Обещался царь и его вельможи все в справедливость привесть. «К весне, говорят, управимся, не ранее. Дело, говорят, затруднительное».

За столиком у картежников снова возникает шум. Чиновник вскакивает, хватает за рукав человека с коком.

Чиновник (кричит плачущим голосом). Что же ты, бесстыжьи твои глаза, делаешь! Без ножа режешь!

Ямщики (оборачиваются на шум). Чего там! Чего не поделили, ироды!

Суетливый мужичок. Ох и жу-улики!

Человек в скуфейке. Гнать их помелом!

Чиновник. Помилуйте! Раз за разом передергивает. Обчистил меня, как сидорову козу.

Пожилой ямщик. Было, значит, что обчищать. Нашего брата не обчистишь, когда в кармане ветерок посвистывает.

Кузьма. Крапивное семя!

Человек с коком. Чего не в свое дело встреваете, косопузые?

Человек в скуфейке (вскакивает, подходит к играющим, сбрасывает со стола карты). А ну, марш отсюдова!

Приказчик. Но-но! Нашелся генерал-губернатор!

Целовальник. Потише, почтенные.

Целовальница (просыпается, зевает, крестит рот). Каждый охальничает. Будто в собственном дому.

Ямщики (встают, надвигаются на играющих). Чего там потише! Житья от них нету, от ябедников!

Схватываются с играющими. Начинается свалка. Суетливый мужичок тотчас в нее ввязывается.

Ямщики. Вышибай их ко господу! Жми на них, на шпыней!

Голоса. Не хватай! Я-те так хватану! Нагреб денег целую гору, да еще куражится! Тут люди спину гнут за алтын, а они, видишь, сотнями швыряются свинье в рыло! Гони их взашей!

Чиновника, приказчика и человека с коком вытесняют из трактира.

Человек с коком (кричит в дверях). Хозяин! Раскаешься! Я исправнику обскажу!

Целовальник равнодушно щелкает на счетах.

Баба в платке. Что ж вы вьюношу на мороз выкидаете без пальтеца. Его, небось, тоже мать родила. Бессовестные!

Пушкин смеется.

Молодой ямщик (швыряет пальтецо, забытое шулером, через головы). Эй, шилохвост! Держи! Пальтецо свое на цыплячьем меху!

Хохот. Во время общей суматохи и шума в трактир входит седой ямщик и с ним бледный человек в рваном зипуне с чужого плеча и треухе. Щека у человека в треухе завязана грязным бинтом.

Седой ямщик. (Озабоченно говорит человеку в треухе). Садись вон в тот уголок. Там неприметнее. Я сейчас чайку тебе закажу.

Человек в треухе. Спасибо, отец. Заплатить мне нечем.

Седой ямщик. Бог за тебя заплатит. (Проходит с человеком в треухе за дальний столик позади Пушкина). Вот тут и садись, обогрейся. Только не засиживайся. Все-таки тракт! Неровен час, наскачут жандармы. Или исправник заявится. Место людное. Надо быть, начальству здешнему уже все ведомо. Хоть мы и первые сюда доскакали.

Человек в треухе. Думаю, известно.

Седой ямщик (роется в кисете, достает ассигнацию). Вот тебе целковый. Бери, не смущайся. Дальше мне тебя везти невозможно. Как отдышишься малость, подавайся на Жадрицу, подале от большака. Там места глуховатые — лес, болото.

Человек в треухе. Спасибо тебе великое. Спас ты меня...

Седой ямщик. Чего там! Вот какая навернулась беда! Я пойду коней поставлю.

Седой ямщик уходит. Половой подает человеку в треухе чай. Пушкин пристально смотрит на человека в треухе, трогает Кузьму за руку.

Пушкин (вполголоса). Погляди, что за человек.

Кузьма (смотрит на человека в треухе). Вроде военный... С выправкой. А в зипуне...

Пушкин. На нем офицерские сапоги. Разве не видишь?

Кузьма. Беглый, что ли?

Пушкин. И раненый... Странно...

Слепец (поводырю). Подымайся, Васятка, кланяйся за угощенье. (Поводырь встает, молча кланяется в пояс Пушкину и Кузьме). Благодарим за пропитание. Поминать вас будем в молитвах. Перед святителями. (Медленно идет с поводырем к выходу).

Человек в треухе стаскивает треух, падает головой на стол. На грязном бинте проступает кровь.

Пушкин (подходит к человеку в треухе, берет его за плечо). Что с вами? (Человек не отвечает). Кузьма, дай водки!

Кузьма торопливо наливает водку, подает Пушкину. Пушкин подымает голову человеку в треухе и вливает ему в рот водку. Посетители трактира перестают шуметь, оборачиваются, смотрят на эту сцену. Слепец останавливается.

Человек в треухе (слабым голосом). Благодарю вас.

Пушкин (тихо). Надо наново перевязать рану. Тут есть лекарь в Святых Горах.

Человек в треухе (испуганно). Нет, нет! Ради бога! Не надо лекаря! Меня просто растрясло. Дорога ухабистая... Старик чуть не загнал лошадей.

Кузьма (Пушкину, тихо). Неладное дело, Александр Сергеевич.

Входит седой ямщик. Замечает Пушкина и Кузьму около человека в треухе, быстро подходит.

Седой ямщик. Вы, господа, идите-ка на свое место. Я с ним посижу. Человек хворый. Падучая у него. В Пскове свалился на почтовой станции. Всю голову размозжил.

Кузьма (ямщику). Ты нас не опасайся, папаша.

Седой ямщик (сердито). Чего мне опасаться? Я не злодей. И человек этот — не злодей. Только его тревожить нельзя.

Слышен отчаянный звон бубенцов. Очевидно, к трактиру подкатывает тройка и с ходу останавливается. Дверь распахивается. В трактир вбегает низенький ямщик с кнутом.

Низенький ямщик (кричит). Ребята! В Петербурге бунт! Едва вырвался.

Смятение. Посетители трактира вскакивают, окружают низенького ямщика. Пушкин сильно бледнеет, прислоняется к стене.

Пушкин. Наконец-то!

Человек в треухе торопливо встает, делает несколько шагов к двери, но шатается и присаживается к столику, за которым сидит баба в теплом платке.

Седой ямщик (трясет его за плечо). Ваше высокородие! А, ваше высокородие! Пойдемте!

Человек в треухе. Сейчас... Ослаб я что-то...

Седой ямщик. Опасно вам здесь, ваше высокородие.

Голоса. Какой бунт? Чего мелешь! Толком рассказывай!

Седой ямщик (бабе). Доведи его до саней... как отдышится. А я пойду коней приготовлю. Соображаешь?

Баба кивает головой. Седой ямщик уходит.

Человек в скуфейке (крестится). Неужто бунт? Господи! Значит, в силе еще народ.

Низенький ямщик. Войска восстали. По всему городу — разъезды, караулы, бивачные огни. На Сенатской площади дотемна шел бой, братцы! Из пушек били по мятежникам... картечью.

Пушкин (бросается к низенькому ямщику). А сейчас как? Сейчас что в Петербурге?

Низенький ямщик (срывает шапку, с силой швыряет ее на пол, гневно кричит). Что сейчас? Я же тебе говорю! Картечью их всех расстрелял... Новый царь... Николай. Я же тебе говорю! Дело—табак! Кончено! (Разводит руками). А в Неве... В Неве сколько их утопили, мятежников. Лед подломился. А царские войска с набережных всё в них палят, все палят.

Все замолкают. Целовальник подходит к двери и закрывает ее на щеколду.

Пушкин. Кого видел среди мятежников?

Низенький ямщик. Кого? Больше офицеров. А простого народа почитай что и не было.

Пожилой ямщик (кричит). Вот то-то и оно! Был бы в деле наш брат, разве нас картечью бы взяли! Да нипочем! В двенадцатом году мы по лесам да пущам Бонапарта били, а тут бы не сладили?

Человек в скуфейке. Господские руки к такому делу негожие.

Пушкин. Они дрались за нас всех, за народ. Благородное дело. И такой страшный конец.

Пожилой ямщик. Мы это понимаем. Понимаем, друг милый. У нас сердце тут... (бьет себя в грудь) чугуном застыло. Обидно нам, понимаешь? Обидно! Сорвалось ведь дело!

Низенький ямщик. Окончательно. Их теперь ловят скрозь, по всем дорогам.

Человек в скуфейке. О, господи, господи! В кои-то веки дождались. (Кричит с отчаянием) Да что же это за сила такая дьявольская, что народ пересилить ее не может!

Целовальник. Не кричи. Сибирь еще лаптями не мерял.

Пушкин (подходит к человеку в треухе, говорит вполголоса). Вы оттуда?

Человек в треухе (внимательно смотрит на Пушкина). А что?

Пушкин (крепко пожимает ему руки). Позвольте вас поцеловать. (Целуется с человеком в треухе). Пусть ни на одну минуту у вас не будет сомнения: вы жертвовали своей жизнью не напрасно. Нет! Вы совершили подвиг. Он даст плоды.

Человек в треухе. Вы правы. Малодушию нет места.

Пушкин. Кого вы видели на площади? Из частных лиц? Там были мои друзья.

Человек в треухе. Рылеева... И этого высокого, тощего...

Пушкин. Кюхельбекера?

Человек в треухе. Да. Он стрелял в великого князя Михаила Павловича.

Пушкин. Стрелял? Что с ними было потом?..

Человек в треухе. Кто знает... были живы. А вот ушли ли?

Слепец (снимает шапку). Чего там спорить, братие! Великое им благодарение. И да сотворит им господь вечную память. (Начинает петь вместе с поводырем «Вечную память». Все снимают шапки).

Кто-то с силой ударяет в дверь. Щеколда отлетает. В трактир входит **исправник**, за ним — **стражник**.

Исправник. Что за панихида? Прекратить!

Пение затихает. Баба в платке торопливо поднимает человека в треухе и ведет его к двери.

Исправник. Стой! Никуда не ходи. Тут приезжие есть? Из Петербурга?

Низенький ямщик. Я оттудова, ваше благородие. Еле ноги унес.

Исправник (презрительно). Тоже... самовидец нашелся! (Поворачивается к человеку в треухе). Что за человек?

Баба в платке (слезливо). Сыночек это мой. Хворый он, батюшка. К лекарю его привезла.

Исправник. К лекарю! То-то в трактир с ним пожаловала. Голову-то кто ему разукрасил?

Баба. Да сам, батюшка. Припадошный он. Как упанет, как зачнет биться головой об пол — не удержишь. Бес в него, что ли, вселился... И страх, и горе.

Исправник. Погодь, погодь! Дай-ка я малость с ним потолкую, с твоим сынком. (Подходит к человеку в треухе, распахивает зипун. Под ним виден мундир гренадерского полка. Кричит) Петухов, вяжи! (Стражник хватает человека в треухе сзади за руки). Припадочный!.. В Петербурге разберутся, какой он припадочный! (Толкает человека в треухе к выходу. Баба в платке, воспользовавшись суматохой, скрывается).

Пушкин (бросается к исправнику). Да как вы смеете!

Кузьма (хватает Пушкина за руки, говорит быстро, шопотом). Александр Сергеевич! Христом-богом молю... Не надо!

Пушкин (вырывается, кричит вслед исправнику и стражнику, которые уводят арестованного). Ну погодите, подлецы!

Кузьма (снова хватает Пушкина за руки, крепко держит его, почти плачет). Александр Сергеевич! Христом-богом... Не доводите себя до беды... Все одно — кончено дело-то. Ничем теперь не поможете. Едем-ка лучше сейчас в Михайловское. А, Александр Сергеевич?

Пушкин (опускается за стол). Сейчас, Кузьма... поедем... (подымает голову). Ты говоришь, кончено дело?

Кузьма. Ясно, что кончено.

Пушкин (встает, говорит громко, почти кричит). А если я скажу, что нет! Не кончено! И не будет кончено! Пока не подымется над Россией великий день освобожденья. Что мне весь мир, если несчастлива моя страна! Ты понимаешь — моя Россия. Моя! Любовь к ней можно вырвать вот отсюда, из груди, только с сердцем. Пусть она убогая сейчас, сирая, как вот этот мальчишка поводырь, пусть она в рваном зипуне, как старуха-мать, что проплакала глаза из-за нас, из-за несчастливых своих сыновей. Пусть! Мы проживем, и мы промучимся недаром. Рановато мы родились, это верно, но я на судьбу не в обиде, Кузьма. И моя жизнь, и твоя, и вот его предназначены для народного счастья. А все остальное — пустяк!

Человек в скуфейке (смотрит на Пушкина). Светлый ты человек. Пылкий. Дай тебе бог...

Доносится колокольный звон из монастыря.

Слепец (начинает петь). «Упокой, господи, души невинно убиенных рабов твоих в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, идеже несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная...»

Все молча слушают пение слепца, вздыхают, иные вытирают рукавами глаза. Пушкин стоит, прислонившись к стене, закрыв ладонью глаза.

ВОСЬМАЯ КАРТИНА

Комната Пушкина в Михайловском. Вечер. Посреди комнаты под старенькой люстрой — стул. Дворовая девушка с русыми косами стоит на стуле и закрывает люстру простыней. Рядом — Арина Родионовна.

Арина Родионовна. Сама бы догадалась люстру прикрыть. Прибираемся к празднику, пыль подняли, а люстра у тебя висит открытая. Потом, небось, не перетрешь каждое стеклышко.

Девушка. А я перетру, бабука. Мне это нипочем.

Арина Родионовна. Перетрешь — да разобьешь! Вам всё нипочем. А эта вещь подарена старому барину еще государем Петром. (В коридоре шум, шаги). Кто это пожаловал?

Входит игумен Иона.

Иона (крестится). Мир дому сему.

Арина Родионовна. Благослови, батюшка. (Подходит с девушкой под благословение к Ионе. Девушка уходит). А Александра-то Сергеевича нету. В Святые Горы поехал.

Иона. Ай-яй-яй! А я из Святых Гор. По надобности к нему. Разминулись, значит. Скоро воротится?

Арина Родионовна. Не сказывал. Да, надо быть, скоро. Вечер уже на дворе.

Иона. Да, темно. И мороз крепчает. Погодка декабрьская.

Арина Родионовна. Может, чайку согреть?

Иона. Не откажусь. От чайку, ежели в него подкинуть сухой липовый цвет, в голове прояснение. А в телесах — жар.

Арина Родионовна уходит. Иона подходит к ломберному столу, на котором лежат рукописи Пушкина, крестится, отбрасывает длинные рукава рясы, берет тетрадку в черном переплете, раскрывает ее.

Иона. Хитер сочинитель! Ишь как нижет пером — не разберешь. Ишь как нижет! Вкось да с помарками. Нарочитое скорописание. «Би-о-графия»! Так, так! Сиречь, описание житейских препон и успехов. И скопище богопротивных мыслей.

Осторожно вырывает из рукописи страницу, складывает ее вчетверо и прячет в карман рясы. Слышны шаги няни. Иона кладет тетрадь на место, напевает: «Благословен еси, господи, научи мя оправданием твоим». Входит Арина Родионовна с чайной посудой.

Арина Родионовна. Что же ты стоишь, батюшка? Сел бы в креслице. (Ставит посуду, собирает рукописи и кладет их на стул). Тесно у него на столе, у Александра Сергеевича.

Иона. Все пишет?

Арина Родионовна. Пишет, батюшка. Ночь за ночью — конца не видно.

Иона. Тебе читает написанное?

Арина Родионовна. Бывает, что и прочтет.

Иона (со злым смешком). При нашей скудости умственной даже затруднительно догадаться — об чем они пишут, Александр Сергеевич?

Арина Родионовна. Да все сейчас про царя.

Иона (настораживается). Про царя? И как о царе отзывается?

Арина Родионовна. Да как тебе сказать, батюшка. То так, то этак. Иной раз похвалит, а иной так осрамит — деваться некуда.

Иона. Так-так! Срамит, значит, царя, божьего помазанника.

Арина Родионовна. А ежли он до престола дошел через смертоубийство, царь-то. Как же его не срамить!

Иона (оживляется, глазки его загораются злым огоньком). Кого ж это государь умертвил? Ради престола?

Арина Родионовна. Да в Угличе-то царевича Дмитрия зарезали. По его наущению.

Иона (явно разочарован). Так ты про царя Бориса! Вспомнила! Это, мать моя, когда было!

Арина Родионовна. А ты что ж думал, батюшка? Нынешних царей мы не трогаем, избави бог!

Иона. Это похвально. (Напевает) «Благословен еси, господи, научи мя оправданием твоим». Ничего нового не слыхать?

Арина Родионовна. Да нет. Тихо.

Иона. Что ж так? Обедняли новостями? Из Петербурга, что ли, не пишут?

Арина Родионовна. Писать-то пишут, да не мне, батюшка. А Александру Сергеевичу. Садись, сделай милость. Я чаек сейчас принесу. (Уходит).

Иона (уверенно вытаскивает из-под груды рукописей тетрадь, открывает ее, читает). Змий, истинный змий! Тут и сорок архиереев не сразу разберут, чего написано. (Медленно читает) «Когда бы я был царь...» Гордыня какая бесовская! «То позвал бы Александра Пушкина и сказал ему: «Александр Сергеевич, вы прекрасно сочиняете стихи». Александр Сергеевич поклонился бы мне с некоторым скромным замешательством, а я бы продолжал: «Я заметил, вы стараетесь очернить меня в глазах народа распространением нелепой клеветы»... Вот уж истинно! Истинно так! Клеветник и насмешник. Ишь, чего написал! Знает кошка, чье мясо съела!

И о н а читает дальше и не замечает, что в дверях появляется П у ш к и н. П у ш к и н останавливается и, нахмурившись, смотрит на И о н у. Потом с грохотом роняет на пол железную трость. И о н а вздрагивает, захлопывает тетрадь, кладет ее на кучу рукописей на стуле. Рукописи сползают и падают на пол.

Пушкин. Ловкости у вас нет. И привычки к такому занятию, святой отец.

Иона (кланяется Пушкину). Простите великодушно. Сижу, дожидаюсь. Дай, думаю, почитаю прелестные стишки ваши.

Пушкин. Да уж вижу. (Подходит, собирает рукописи, кладет их на стол). Почему это нынче вы стали интересоваться моими стихами? А раньше интересовались только ромом.

Иона. Х-хе! Ну и шутник же вы, Александр Сергеевич.

Пушкин. Со мной шутки плохи, святой отец. Знаете, есть народная приговорка: я еду, еду — не свищу, а уж наеду — не спущу!

Иона. Что-с?

Пушкин. А вот то-с! Вам, как лицу духовному, непристало исполнять жандармские обязанности. Лучше бы горланили молебны, кадили бы господу вашему да наливались ромом. Пастырь стада христова!

Иона. Не могу преклонить слух к столь богомерзким речам, Александр Сергеевич. На мне сан.

Пушкин (кричит в ярости). Какой сан! К чему он понуждает? К кротости? К справедливости? Блаженны жаждущие правды... Тех, кто жаждал ее, на днях перебили... картечью, в Петербурге.

Иона. Скорблю. Скорблю, Александр Сергеевич, о заблудших овцах христовых. Прости им господи прегрешения вольные и невольные.

Пушкин. Ладно! Ваш возок дожидается у крыльца. Езжайте! К себе в монастырь! И чем рыться в моих бумагах, лучше отслужите панихиду по убитым... заблудшим овцам христовым! (Отворяет дверь, придерживает ее).

Иона (крестится). Помянем царя Давида и всю кротость его. (Семенит мимо Пушкина в коридор).

Пушкин (захлопывает за ним дверь). Мерзкий монах! (Зовет) Нянюшка! (Быстро ходит по комнате).

Входит А р и н а Р о д и о н о в н а. Она вытирает платком глаза.

Арина Родионовна. Что тебе, Сашенька? Где же отец Иона?

Пушкин. Я прогнал его. Он рылся в моих бумагах.

Арина Родионовна. Ой, срам какой! Что это только нынче с людьми делается!

Пушкин. Ты чего плачешь?

Арина Родионовна. Да рассказал мне Кузьма... про Петербург. (Вполголоса) Уж подняли руку, так надо бы дело до конца доводить. А то себя погубили. И в народе одно смятение.

Пушкин. Ничто зря не проходит, нянюшка. Ни одна слеза впустую не падает. За все будет расплата.

Арина Родионовна. Оно-то так, Сашенька. Да людей жалко. Молодые все, горячие — вот как ты.

Пушкин. Не плачь. Не надо. Неужели и Ваня Пущин был там, на площади? И Кюхля? И Рылеев? Были, я знаю. Что же с ними сейчас? (Арине Родионовне) Вели закладывать лошадей.

Арина Родионовна. Куда ехать-то? На ночь глядя?

Пушкин. В Петербург.

Арина Родионовна. Что ты! Самовольно! Беда будет, Сашенька.

Пушкин. Я должен знать, что с ними. Как ты не понимаешь? Может быть, они ждали меня. И сейчас ждут.

Арина Родионовна. Не пущу я тебя. Никуда!

Пушкин. Арина!

Арина Родионовна. Что — Арина, Арина? Не пущу — и все тут!

Пушкин. Я хочу добиться свидания с ними. Может быть, закрыть глаза умирающим. Сейчас же вели закладывать.

Арина Родионовна. Нет и нет! Погибели твоей не допущу.

Пушкин. Хорошо. Тогда я сам прикажу. (Идет к двери).

Арина Родионовна (падает на колени, загораживает дверь руками, кричит). Не езди! Не губи ты себя, ангел мой ненаглядный.

Пушкин (ласково наклоняется к ней, пытается поднять ее). Встань. Что за глупости!..

Арина Родионовна (обхватывает ноги Пушкина, седые ее волосы падают в беспорядке из-под сбившегося на сторону платка). Пожалей ты себя! Не клади ты в черную петлю свою голову, Сашенька!

В двери заглядывает Кузьма.

Пушкин (расстроен, пытается поднять Арину Родионовну). Встань, Аринушка. Ну что это такое? Помоги мне, Кузьма.

Кузьма. Чего убиваетесь, Арина Родионовна?

Арина Родионовна. В Петербург надумал ехать. На плаху. Не пущу нипочем.

Кузьма (подымает вместе с Пушкиным Арину Родионовну, усаживает ее в кресло). Нехорошо придумали, Александр Сергеевич. Помереть или, скажем, шагать в кандалах на каторгу — это у нас на Руси дело самое простое. Что толку так пропасть! Вам даден дар великий, и вы его не пресекайте. За это бог вас накажет. Да и народ не поблагодарит.

Арина Родионовна. Такую-то голову — да в петлю! (Снова начинает плакать).

Пушкин. Ну хорошо, нянюшка. И впрямь бесполезно скакать в Петербург.

Арина Родионовна (встает, обнимает Пушкина). Ангел мой! Не знаю, как и благодарить тебя. Только уж не сердись, всю ночь от тебя не отойду. А то еще передумаешь. И Кузьма пусть нынче у нас заночует. А то одни девчонки в дому.

Кузьма. Я завсегда рад.

Арина Родионовна. Непутевый ты все-таки мужичонка, Кузьма. Все шлёндаешь. То в Тригорское, то к нам, то в Святые Горы. А хозяйство, небось, в запустении.

Кузьма. Шут с ним, с хозяйством! Как бы тебе изъяснить, Арина Родионовна!.. Я около Александра Сергеевича не зря околачиваюсь. Слова хорошие я люблю. А где их услышишь, как не здесь.

Пушкин. Какие слова?!

Кузьма. Разные. Вот третьего дня девушки разучивали — да так тихонько, чтобы вы не услыхали, Александр Сергеевич — новую песню. Вашего сочинения. Так я, поверите, три часа просидел на лавке, не шелохнулся. Даже ноги свело.

Пушкин. Какую песню?

Кузьма (смущенно). Да вот... про Арину Родионовну... и про синицу, что жила за морем.

Пушкин. Что ж они мне ее не споют?

Арина Родионовна. Стыдятся. Они за спиной только озорные.

Кузьма. Вот так и живу, болтаюсь тут день и ночь. Уедете вы — это мне нож в сердце.

Пушкин (подходит к столу, разбирает рукописи). Кузьма, затопи, братец, камин.

Арина Родионовна. Да его только что истопили.

Пушкин. Все равно. (Кузьме) Принеси дрова. (Кузьма уходит). Может быть, кто-нибудь из них спасся, бежал. Вдруг появится здесь. Видел же я в Святых Горах беглеца.

Арина Родионовна. Все может быть, Сашенька.

Пушкин. Приготовь тогда все. Лишнюю постель. И ужин. И накрой на стол. (Входит Кузьма с дровами, растапливает камин). Спасибо, Кузьма. А теперь иди. И ты, нянюшка, иди, распорядись.

Арина Родионовна и Кузьма уходят. Дрова в камине разгораются. Пушкин просматривает у стола рукописи.

Пушкин. Записки... Попади это в лапы правительству —сколько будет новых жертв. (Подходит к камину, медлит, перечитывает рукопись). Нет, второй раз этого не напишешь. Сил нехватит. И памяти. Ну что ж, прощайте, милые мои страницы. (Отрывает от рукописи половину, бросает в камин. Ярко вспыхивает пламя. В комнату входит Арина Родионовна. Пушкин быстро оглядывается, замечает на стене тень от люстры, обернутой простыней. Тень эта похожа на висящего человека). Что это? (Бросается к люстре, срывает простыню). Кто повесил сюда этот саван?

Арина Родионовна. Да христос с тобой. Чего ты испугался? К празднику мы прибирались — вот и повесили.

Пушкин (садится в кресло около камина). Ничего... Просто так. А будут казни. Будут! Этот августейший щенок повесит многих... Господи, когда же мы избавимся от негодяев, от тиранов! (Бросает вторую половину рукописи в огонь).

Арина Родионовна. Ты что это делаешь! (Пытается вытащить горящую рукопись).

Пушкин (удерживает ее). Арина! Из-за этих листков могут люди погибнуть... невинные. Оставь!

Арина Родионовна. Ну, раз так... Тогда жги. Только жалко мне, ангел, труда твоего. И песен твоих дивных жалко.

Пушкин. Песни останутся. Подай мне со стола вон ту пачку. Там письма. (Арина Родионовна подает пачку писем, Пушкин быстро просматривает их, некоторые бросает в огонь. Перечитывает одно из писем). «Сегодня Александрийские сады оделись снегом...» Она приказала сжечь его. Ну что ж, пускай уж заодно! (Бросает письмо в огонь, долго смотрит, как оно горит). Вот и сгорела моя молодость, Аринушка. И следа не осталось. Разве только в памяти... А память умрет вместе со мной.

Арина Родионовна. Ничего, Сашенька. Страшен сон, да милостив бог!..

Пушкин. Погоди. Кто-то говорил мне эти слова... Да... Там в Одессе, в театре. (Задумчиво разгребает пепел, достает обгорелый клочок бумаги, читает) «От горя и нежности...» (Усмехается, прячет клочок на груди). Всю жизнь так: горе, и нежность, и дружба, и поэзия, а рядом

опасность смертельная, ненужная, порожденная тупостью, злобой... Когда же конец?

Арина Родионовна накрывает на столе ужин, зажигает свечи.

Пушкин. Побольше свечей зажги. Как в наш лицейский праздник. (Задумывается) «Чей глас умолк на братской перекличке? Кто не пришел? Кого меж нами нет?»

Арина Родионовна. Сашенька, будто едет кто-то... Послушай.

Пушкин встает, прислушивается. Слышен глухой говор бубенцов. Он приближается, потом постепенно замолкает.

Арина Родионовна. Проехали... А я думала...

Пушкин. Ночь еще долгая. (Наливает в стаканы вина). Выпьем, Аринушка.

Арина Родионовна. Хорошо, ангел мой. Не горюй. Не весь же год на дворе вьюга да ночь. Потянет вскорости над озером теплым ветерком, теплыми травами. Солнышко перевалит к лету.

В дальней комнате девушки начинают тихо петь.

Пушкин. Что это?

Арина Родионовна. Ай не узнал?

Девушки (поют).

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя.
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя...

Пушкин. Открой дверь. Плохо слышно.

Арина Родионовна открывает дверь, возвращается в комнату, садится в кресло у камина. Пушкин опускается на пол у ее ног, кладет голову на колени Арине Родионовне. Она ласково поглаживает его волосы.

Арина Родионовна. Один ты у меня, сердечный мой. Тяжко тебе. Я знаю.

Пушкин. И тяжко. И легко. Трудно пробивать дорогу к счастью, Арина. Для народа.

Арина. Это я понимаю.

Пушкин. И легко. На совести. Как ты думаешь, нянюшка, вспомнят их через сто, через двести лет?

Арина Родионовна. Вспомнят, милый.

Пушкин. И меня вспомнят?

Арина Родионовна. Господи! Да тебя и забывать никогда не будут. Покуль жив русский человек.

Пушкин (гладит руки Арины Родионовны). Хорошая ты моя!..

Арина Родионовна. Ты не томись, Сашенька. Ты, главное, веру не смей терять.

Пушкин. Я верю, нянюшка. И знаю. Их подвиг не пропадет. Николай хочет убить жажду вольности, справедливости. Виселицами, сибирскими каторжными норами, кандалами? Глупец! Все равно из этой искры разгорится пламя. Я всегда верил, Аринушка. Иначе бы ни жить мне на этом свете, ни писать. Вот ты не знаешь, что написано еще до ссылки.

Арина Родионовна. Не знаю, Сашенька.

Пушкин. «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена».

Арина Родионовна (целует Пушкина в голову). Взойдет, ангел мой. Утренняя звезда — чистая, прелестная. От твоих слов будто солнышком прогрело душу. Спасибо тебе, Сашенька. Спасибо, милый.

Девушки (поют).

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила.
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла...

На пороге появляется девушка с русыми косами.

Арина Родионовна. Тебе чего?

Девушка (шопотом). Я спросить хотела... Эту песню вправду Александр Сергеевич сам придумал?

Арина Родионовна. Конечно, он. А кто же другой придумает?

Девушка, закинув тяжелые косы на грудь и прикрыв ими подбородок, смотрит на Пушкина большими, радостными глазами. Громче доносится песня.

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей.
Выпьем с горя, где же кружка,—
Сердцу будет веселей.

КРИТИКА и ПУБЛИЦИСТИКА

А. С. ПУШКИН — РОДОНАЧАЛЬНИК НОВОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

АЛЕКСАНДР ЕГОЛИН

★

„Писать о Пушкине, — говорил В. Белинский, — значит писать о целой русской литературе: ибо как прежние писатели русские объясняют Пушкина, так Пушкин объясняет последовавших за ним писателей»[1].

До Пушкина русская литература была представлена крупными именами Ломоносова, Фонвизина, Державина, Радищева. Старшими современниками Пушкина являлись такие известные писатели, как Крылов, Карамзин, Жуковский, Батюшков.

Пушкин обогащался достижениями отечественной литературы и опытом литературы мировой. Его характеризует необыкновенное разнообразие интересов, глубокая образованность. Впитывая все лучшее, что было создано предшествующей культурой России и зарубежных стран, Пушкин всё воспринятое перерабатывал творчески, в соответствии с национальными задачами развития русской литературы.

В русском народном творчестве Пушкин нашел неиссякаемый источник для развития родного языка и литературы. Как глубоко верно писал Белинский, «Пушкин принадлежал к числу тех творческих гениев, тех великих исторических натур, которые, работая для настоящего, приуготовляют будущее».[1]

Гуманизм, воспевание свободы, стремление к развитию народности сделали русскую литературу, начиная с Пушкина, самой передовой литературой мира. Наша классическая литература выше всех других литератур держала знамя свободы и защиты прав народных масс.

Своим творчеством Пушкин открыл новые пути развития национальной литературы. Он—пролагатель магистральной линии к созданию демократической литературы России. Пушкин оказал мощное воздействие на формирование национального сознания.

М. Горький писал: «...явился этот гениальный человек и на протяжении краткой жизни своей положил незыблемые основания всему, что последовало за ним в области русского искусства. Без Пушкина были бы долго невозможны Гоголь, — которому он дал тему пьесы «Ревизор», — Лев Толстой, Тургенев... Все эти великие

[1] В. Г. Белинский. Избранные сочинения, стр. 290. Гослитиздат, 1947.

[1] В. Г. Белинский. Избранные сочинения, стр. 287. Гослитиздат, 1947.

люди России признавали Пушкина своим духовным родоначальником»[1].

Величие Пушкина в его реализме. Как в изображении природы, так и в изображении общественной жизни Пушкин верен действительности.

Добролюбов видел значение Пушкина в том, что «в его стихах впервые сказалась нам живая русская речь, впервые открылся нам действительный русский мир». Пушкин обнажил «нагую истину», увидел трагедию человека в условиях рабского строя, показал «крепостную нищету» села Горюхина. Пушкин в свой «жестокий век» мечтал, хотя и не ведал конкретных путей к этому, о счастливом веке свободы. Своими критическими сторонами пушкинский реализм подготовил «гоголевский период» в русской литературе. Пушкин выступает зачинателем того направления критического реализма, которое так возвысило русскую литературу второй половины XIX века.

Пушкин выдвинул все важнейшие проблемы, которые волновали общество. Поэтому его наследство стало крупным этапом в развитии русской культуры, в подготовке социалистической культуры и литературы. Чернышевский писал: «В истории русской образованности Пушкин занимает такое же место, как и в истории русской поэзии».[2]

Пушкин создал «поэзию действительности», дал образцы самобытной русской литературы, придал изумительную художественную форму русскому стиху и русскому слову. Тургенев в 1880 году говорил, что «...Пушкин в своих созданиях оставил нам множество образцов, типов... того, что совершилось потом в нашей словесности».[3] Ту же мысль высказал и другой великий русский романист, Гончаров: «В Пушкине кроются все семена и зачатки, из которых развились потом все роды и виды искусства во всех наших художниках...»[4].

Произведения Пушкина сыграли определяющую роль в развитии нашей прозы, в развитии русского романа. В образах романа «Евгений Онегин» — этой «энциклопедии русской жизни» эпохи 20-х годов прошлого века — Пушкин обобщил важнейшие черты жизни современного ему общества. Тип «лишнего человека», данный в Онегине, стал одним из распространенных образов в последующем развитии литературы XIX века. Тип идеальной русской женщины также показан впервые Пушкиным в образе Татьяны Лариной, который затем получил свое дальнейшее развитие в многочисленных образах великих русских романистов XIX века. В «Евгении Онегине» нашла отражение замечательная широта исторического взгляда поэта. Пушкин изобразил в своем произведении экономические процессы крепостного хозяйства России того времени с такой научной дальновидностью, что Маркс приводил стихи «Онегина» в своих исследованиях. Энгельс писал Даниэльсону в 1891 году, имея в виду роман Пушкина: «Когда мы изучаем... реальные экономические отношения в различных странах и на различных ступенях цивилизации, то какими странно ошибочными и недостаточными кажутся нам рационалистические обобщения XVIII века, хотя бы, например, доброго старого Адама Смита, который принял условия, господствовавшие в Эдинбурге и окрестных шотландских графствах, за нормальные для целой вселенной! Ваш Пушкин уже знал это...»[1].

Творчество Пушкина обогатило нашу культуру произведениями исключительной художественной силы. Великий поэт отразил мысли и чувства передовых людей своей эпохи.

Пушкин — родоначальник новой русской литературы, Пушкин — создатель русского литературного языка. Он обратился к языку народа и понял, что художественная литература — национальное дело. Пушкин являлся в глазах народа гениальным поэтом, воспевшим в пленительных стихах жизнь страны, ее прошлое и настоящее, ее богатую и разнообразную природу.

Историческое дело создания великой русской литературы и литературного языка — огромная национальная заслуга Пушкина. Непревзойденную характеристику Пушкину, еще при жизни поэта, дал

---

[1] «Правда», 17 июня 1938 года.

[2] Н. Г. Чернышевский. Избранные сочинения, стр. 215. 1934.

[3] «Русские писатели XIX века о Пушкине», стр. 320. 1938.

[4] И. А. Гончаров. Литературно-критические статьи и письма, стр. 158. 1938.

[1] К. Маркс, Ф. Энгельс. Об искусстве, стр. 325. 1937.

Н. В. Гоголь. «При имени Пушкина, — писал он, — тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более назваться национальным; это право решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы, и более показал все его пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа...

В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла»[1].

Классики русской литературы, сами владевшие в совершенстве русским языком, единодушно признавали за Пушкиным роль основоположника русского литературного языка. В речи в Обществе любителей российской словесности, по поводу открытия памятника Пушкину, И. С. Тургенев сказал: «Не следует забывать, что ему одному пришлось исполнить две работы, в других странах разделенные целым столетием и более, а именно: установить язык и создать литературу»[2].

Великий русский драматург А. Н. Островский признавал, что Пушкин своим творчеством поднял нашу литературу на такой уровень, что она «в одном человеке выросла на целое столетие».

А. И. Герцен видел в творчестве Пушкина поэтическое воплощение народного духа, народной силы. Герцен писал:

«Я говорю о той внутренней силе, благодаря которой, несмотря на унизительную дисциплину рабства, русский крестьянин сохранил открытое, красивое лицо и живой ум, и которая на императорский приказ Петра (Петра Первого. — *А. Е.*) — ввести цивилизацию ответила, спустя столетие, колоссальным явлением Пушкина»[3].

Роль Пушкина как родоначальника новой русской литературы отчетливо выступает при сопоставлении его творчества с литературой, ему предшествовавшей. Определяя историческое место Пушкина, Белинский нарисовал широкую картину литературного процесса, охарактеризовав и других выдающихся поэтов: Державина, Жуковского, Батюшкова. «Великие реки, — писал критик, — составляются из множества других, которые, как обычную дань, несут им обилие вод своих. И кто может разложить химически воду, например, Волги, чтоб узнать в ней воды Оки или Камы? Приняв в себя столько рек, и больших и малых, Волга пышно катит свои собственные волны, и все, зная о ее бесчисленных похищениях, не могут указать ни на одно из них, плывя по ее широкому раздолью. Муза Пушкина была вскормлена и воспитана творениями предшествовавших поэтов. Скажем более: она приняла их в себя, как свое законное достояние, и возвратила их миру в новом, преображенном виде»[1].

Самым близким Пушкину из писателей XVIII века был А. Н. Радищев. Передовые люди русского общества конца XVIII века полагали своей основной задачей борьбу за освобождение народа от крепостного состояния. В своей изумительной книге «Путешествие из Петербурга в Москву», имевшей историческое значение в развитии освободительного движения в России, Радищев отразил самые передовые взгляды людей XVIII века. Радищев непосредственно связывает художественную литературу с жизнью, с революционным движением. Эта особенность и составляет самую обаятельную черту русской литературы, выделяя ее из всех литератур мира. Радищев вошел в сознание современников и последующих поколений нашей Родины, как основоположник русской революционной мысли. Ценнейшие элементы русской литературы XVIII века в творчестве Радищева приобрели ярко выраженный освободительный характер.

Идея патриотизма в интерпретации Радищева носит революционный характер. Сын отечества, по Радищеву, — борец за народную свободу и права народа. Надо отстаи-

---

[1] Н. В. Гоголь. Собрание сочинений. т. VI, стр. 59. Гослитиздат, 1937.

[2] «Русские писатели XIX века о Пушкине», стр. 320. 1938.

[3] А. И. Герцен. Полное собрание сочинений под ред. Лемке, т. V, стр. 341.

[1] В. Г. Белинский. Избранные сочинения, стр. 368. Гослитиздат, 1947.

вать отечество и народ не только от внешних врагов, о чем писали Державин и другие поэты XVIII века, но и от врагов внутренних — от царя и помещиков, от самодержавия и крепостничества. Величие Радищева в истории русской общественной мысли и в развитии русской литературы состоит в признании неизбежности народной революции, которая даст права народу. Величайшее значение книги Радищева, представляющей гордость нашей литературы, именно в том, что автор ее явился провозвестником народной революции, как выразилась Екатерина II, «бунта от мужиков», «криминальных и совершенно явно и ясно бунтовщических» настроений.

Радищев в оде «Вольность», в очерках «Медное», «Спасская полесть» и других не только будил мысль дворянских революционеров первых десятилетий прошлого столетия, но и был услышан борцами-шестидесятниками, революционными демократами, для которых «Путешествие из Петербурга в Москву» оставалось произведением огромного революционного накала.

Пушкин «во след Радищеву восславил» свободу, как он сам заявляет в одном из черновиков «Памятника». Ода «Вольность», «Деревня», послание к Чаадаеву, «Кинжал» и многие другие произведения политической лирики Пушкина непосредственно продолжают радищевскую линию. «Путешествие» Радищева — чистый родник вдохновения для Пушкина — имело значение для него и в том смысле, что Радищев стремился разработать проблемы литературы в народном духе, искал новые особенности русского стихосложения, опирающиеся на фольклорную тенденцию.

Если в работе над такими ранними произведениями, как поэма «Руслан и Людмила», Пушкина привлекают преимущественно художественные особенности устной народной поэзии, то в период тридцатых годов многие его произведения оказываются уже в самом своем содержании насыщенными фольклором.

Пушкин искал общения с народом, изучал крестьянский быт, записывал деревенские песни, слушал сказителей, вдумывался в значение русских пословиц. Пушкин говорил: «Что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото!».

О сказках поэт замечает, что каждая из них «есть поэма». Поэт признавал, что «изучение старинных песен, сказок и т. п. необходимо для совершенного знания свойства русского языка»[1].

По справедливому определению М. Горького, Пушкин «обратил внимание на народное творчество и ввел его в литературу, не искажая в угоду государственной идее «народности» и лицемерным тенденциям придворных поэтов. Он украсил народную песню и сказку блеском своего таланта, но оставил неизменными их смысл и силу»[2].

В 30-х годах Пушкин создает ряд произведений, написанных народным стихом. Это «Песни западных славян», «Сказка о попе и его работнике Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке» и др.

О характере русского литературного языка Пушкин писал в 1825 году: «Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного, но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения мыслей».

Пушкин в стихосложении основывается на достижениях Ломоносова. Пушкин писал о Ломоносове: «Он понял истинный источник русского языка и красоты оного»[3]. По выражению Пушкина, слог Ломоносова «заемлет главное достоинство от глубокого знания книжного славянского языка и от счастливого слияния оного с языком простонародным». Это положение и стало определяющим для всей поэтической работы Пушкина. Таким образом, Пушкин строил национальную русскую литературу, развивая ценнейшие достижения художественной литературы XVIII века и используя народное творчество.

* * *

Пушкин боролся за высоко идейную передовую литературу. «Она требует, — писал он о прозе, — мыслей и мыслей, — без них

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. V, стр. 325. Гослитиздат, 1936.

[2] «Литературная учеба», 1936, № 8, стр. 21. Или: М. Горький. А. С. Пушкин. В книге «Избранные литературно-критические статьи», стр. 46. ГИХЛ, 1940.

[3] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 178. Академия наук СССР, 1937.

блестящие выражения ни к чему не служат»[1].

Невозможно говорить о народности поэзии Пушкина вне связи с литературой, ему предшествующей. Пушкин именовал «Недоросль» Фонвизина комедией народной, а Крылова называл «истинно-народным поэтом».

Из сопоставления Пушкина с Крыловым видно в то же время их огромное различие. Белинский говорил, что Крылов выразил в своем творчестве одну сторону русского духа, черту психического свойства национального характера, а Пушкин — все стороны русского характера. Белинский писал: «...поэзия Крылова, и в эстетическом и национальном смысле, должна относиться к поэзии Пушкина, как река, пусть даже самая огромная, относится к морю, принимающему в свое необъятное лоно тысячи рек, и больших и малых»[2]. По Крылову, можно отметить в Пугачеве умение насмешливо, живописно выражаться, но Пушкин этим не может ограничиться, он изображает мятежную душу Пугачева — вождя крестьянского движения, его руководящую роль в народном бунте, беспощадность его в отношении врагов и его доброе сердце в отношении к простым людям.

По мнению Пушкина, народность литературы состоит в выражении мыслей, чувств, страстей, которыми живет народ. «С некоторых пор, — писал Пушкин, — вошло у нас в обыкновение говорить о народности, требовать народности, жаловаться на отсутствие народности в произведениях литературы, — но никто не думал определить, что́ он разумеет под словом народность.

...Народность в писателе есть достоинство, которое вполне может быть оценено одними соотечественниками — для других оно или не существует, или даже может показаться пороком...»

Под народностью литературы Пушкин подразумевает отражение «в зеркале поэзии» жизни народа, его «образа мыслей и чувствований... обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу»[1]. Поэтому совершенно естественны его возражения против насильственного приноравливания всего русского к европейскому. Борьбу за народность и национальную самобытность русской литературы поэт вел в течение всей своей творческой деятельности. Пушкин осуждает моду подражания иностранной, преимущественно французской, поэзии, называя ее «робкой, жеманной и бледной»[2].

Констатируя измельчание современной ему французской литературы, Пушкин замечает: «Хочется мне уничтожить, показать всю отвратительную подлость нынешней французской литературы». Наш поэт выступает против прозы Бестужева, как подражательной, он высказывается против чрезмерного увлечения Жуковского переводами иностранной литературы.

Пушкин бичевал космополитизм дворянских литераторов, сходясь в своем осуждении русских аристократов с Грибоедовым, с декабристами, продолжая в этом отношении традицию великих русских патриотов XVIII века Ломоносова и Радищева. Между прочим, ходатайствуя о разрешении издания журнала, Пушкин указывает, как на одну из задач, на необходимость борьбы с теми людьми из «озлобленной Европы», которые «нападают покамест не оружием, но ежедневной бешеной клеветой». «Пускай позволят нам, русским писателям, — писал Пушкин, — отражать бесстыдные и невежественные нападения иностранных газет». Наш поэт возмущался, что русский народ часто подвергается за рубежом невежественной клевете со стороны определенных кругов иностранцев. Пушкин говорил: «Европа в отношении России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна»[3].

Что во всех этих высказываниях Пушкина не было никаких признаков национальной ограниченности, свидетельствует знаменитое стихотворение, посвященное великому польскому поэту Адаму Мицкеви-

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. V, стр. 260. Гослитиздат, 1936.

[2] В. Г. Белинский. Избранные сочинения, стр. 275. 1947.

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 41. Гослитиздат, 1938.

[2] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 26. Гослитиздат, 1938.

[3] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 209. Гослитиздат, 1938.

чу, «Он между нами жил», относящееся к тем же 30-м годам, что и приведенные нами высказывания. Ведь именно в этом стихотворении Пушкин выражает свою сокровенную мечту «о временах грядущих, когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся».

Единомышленник декабристов, воспевший их бессмертный подвиг в стихотворениях «Во глубине сибирских руд» и «Арион», свято хранивший заветы «друзей, братьев, товарищей», в течение всей своей жизни Пушкин отражал настроения и чаяния народа. В творчестве нашего поэта показана русская национальная действительность как в ее прошлом, — притом в самых выдающихся исторических событиях («Борис Годунов», «Полтава», «Медный всадник», «История Пугачева», «Капитанская дочка»), — так и в настоящем («Евгений Онегин», многочисленные стихотворения). При этом Пушкин оставался верен изображаемой действительности. Белинский говорил: «Поэзия Пушкина удивительно верна русской действительности, изображает ли она русскую природу или русские характеры: на этом основании, общий голос нарек его русским национальным, народным поэтом...»[1].

Выразитель революционно-патриотической идеологии декабристов, Пушкин в художественном творчестве пошел дальше их, он преодолевал исторически обусловленную изолированность их, как дворянских революционеров, от народных масс. Если поэты-декабристы остались в истории русской литературы преимущественно поэтами-романтиками, то Пушкин стал основоположником реализма в русской и мировой литературе, проложившим широкие пути для дальнейшего развития великой русской литературы.

Историческая заслуга Пушкина в развитии русской литературы состоит в том, что он обратил взоры писателей, своих современников, и писателей последующих поколений на русскую жизнь, на народное творчество. Поэт побуждал писателей устремлять свое внимание на современную действительность: «Просвещение века требует важных предметов размышления для пищи умов, которые уже не могут довольствоваться блестящими играми воображения и гармонии»[1]. Еще в 20-х годах Пушкин упрекал романтических поэтов: «Не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкновенно водится. С воспоминаниями о протекшей юности литература наша далеко не продвинется».

Пушкин боролся против эстетизма и формализма, обедняющих литературу. Указывая конкретно на двух французских поэтов прошлого, наш поэт говорил: «Малерб ныне забыт подобно Ронсару, сии два таланта, истощившие силы свои в борении с усовершенствованием стиха. Такова участь, ожидающая писателей, которые пекутся более о механизме языка, наружных формах слова, нежели о мысли — истинной жизни его»[2].

Адам Мицкевич в статье, посвященной памяти А. С. Пушкина, писал о нем, как о глубоко идейном писателе: «Он презирал авторов, не имеющих цели и стремлений. Он не любил философского скептицизма и художественной бесстрастности Гёте». Мицкевич говорил далее о зрелости политической мысли Пушкина: «Пушкин, читатели которого восхищались его поэтическим талантом, изумлял своих слушателей живостью, ясностью и тонкостью своего ума. У него была удивительная память, уверенные суждения и тонкий вкус. Слушая его рассуждения об иностранной политике или о политике своей страны, можно было принять его за мужа, поседевшего в общественных делах и ежедневно читающего прения всех парламентов»[3].

Исполненный чувства национальной гордости, Пушкин, обращаясь к писателям, своим современникам, писал: «Есть у нас свой язык, смелее! — обычаи, история, песни, сказки»[4].

Очень высоко ценил поэт язык русского народа: «Разговорный язык простого народа (...слава богу, не выражающего, как мы,

---

[1] В. Г. Белинский. Избранные сочинения, стр. 401. Гослитиздат, 1947.

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 28. Гослитиздат, 1938.

[2] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 212. Гослитиздат, 1938.

[3] «Интернациональная литература», 1937, № 2, стр. 153—157.

[4] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 27. Гослитиздат, 1938.

своих мыслей на французском языке) достоин глубочайших исследований».

С большой проницательностью Пушкин раскрыл процесс засорения русского литературного языка иностранными влияниями, указывая, что от этого еще «в царствование Петра I начал он приметно искажаться»[1].

С радостью Пушкин отметил, что «язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими»[2].

Наш национальный поэт, сравнивая русскую литературу с западноевропейской, подчеркивал ее отличие в том, что она «не носит... на себе печати рабского унижения. Наши таланты благородны, независимы»[3]. Говоря о Вольтере, Пушкин заметил, что французский поэт не умел сохранить своего собственного достоинства: «Вольтер л у ч ш у ю свою поэму писал под покровительством Фридерика...» (Фридриха II. — *А. Е.*)[4]. Пушкин видит в литературе важнейшее средство духовного развития общества. Он говорит: «Дружина ученых и писателей всегда впереди во всех набегах просвещения, на всех приступах образованности»[5].

Сознавая огромную ответственную роль художественной литературы и видя отсутствие «единодушия» среди прогрессивных писателей, Пушкин делал попытки к их объединению и направлению их деятельности к определенной цели. В последние годы своей жизни он становится руководителем журнала «Современник». Крайне интересно отметить, что Пушкин предпринимал шаги к привлечению для сотрудничества в «Современнике» Белинского, идя в этом отношении против своих литературных соратников вроде Вяземского. Рука, протянутая Белинскому, деятельность которого в 40-е годы предшествовала полному вытеснению дворян революционными демократами в нашем общественном движении, показывает, куда устремлены были мысли Пушкина в последний год его жизни.

Пушкин по достоинству оценил молодого Белинского, увидев в нем «критика весьма замечательного», «талант, подающий большую надежду»[1].

Пушкин с глубоким интересом относился к развитию русской литературы. До сего времени делаются попытки со стороны иностранных ученых (французский профессор Мазон) доказать поддельность величайшего памятника древней русской литературы—«Слова о полку Игореве». Во времена Пушкина с подобными клеветническими утверждениями выступали немецкие ученые, на поводу у которых оказался русский профессор Каченовский. Пушкин приехал в Московский университет, чтобы лично высказать свои возражения профессору Каченовскому, и приступил к составлению статьи, опровергающей реакционные домыслы о якобы низком уровне культуры Киевской Руси.

Участие Пушкина в развитии русской национальной культуры сказывалось и в его громадном интересе к собиранию произведений народного творчества. Поэт всячески поощрял деятельность П. Киреевского, собиравшего русские народные песни. Пушкин передал ему 50 песен, записанных им лично со слов крестьян Псковской губернии.

* *
*

Как Пушкин относился к литературе западной? Русский поэт строил нашу новую литературу, конечно, не изолируясь от культуры других стран. Надо говорить не об ученичестве или подражании Пушкина, величайшего русского национального гения, а о творческом общении его с великими писателями Запада. Здесь должны быть на первом месте поставлены имена Вольтера, Шекспира, Байрона, Вальтер-Скотта. Между тем в дореволюционном литературоведении обычно подчеркивался момент многочисленных влияний на Пушкина со стороны западных поэтов и писателей. Поэзия Пушкина вследствие подобных истолкований утрачивала в глазах читателя свое национальное значение.

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. V, стр. 17. Гослитиздат, 1936.

[2] Там же, стр. 16.

[3] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 179. Академия наук СССР, 1937.

[4] Там же, стр. 179.

[5] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 106. Гослитиздат, 1938.

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. V, стр. 234. Гослитиздат, 1936.

Прямо противоположное этому свыше ста лет тому назад писал Белинский:

«Ни один поэт не имел на русскую литературу такого многостороннего, сильного и плодотворного влияния. Пушкин убил на Руси незаконное владычество французского псевдоклассицизма, расширил источники нашей поэзии, обратил ее к национальным элементам жизни, показал бесчисленные новые формы, сдружил ее впервые с русскою жизнию и русской современностью, обогатил идеями, пересоздал язык...»[1].

Пушкин был, по выражению Белинского, «мирообъемлющим гением». Он резко выступал против отживших или отживающих на Западе литературных течений.

Не ставя себе задачи во всей полноте осветить проблему Пушкин и Запад, коснемся лишь вопроса Пушкин и Байрон, поскольку о влиянии последнего на великого русского поэта говорилось и писалось больше всего.

Как известно, многие критики при жизни поэта, да и после его смерти называли Пушкина «северным Байроном». На самом же деле Пушкин ни подражателем, ни учеником Байрона никогда не был.

Примечательно, что Белинский и Герцен категорически возражали против приведенного утверждения. Сравнивая Пушкина с Байроном, Белинский писал: «Мы уже не раз замечали, что это сравнение более чем ложно, ибо трудно найти двух поэтов, столь противоположных по своей натуре, а следовательно, и по пафосу своей поэзии, как Байрон и Пушкин»[2]. Той же точки зрения придерживался Герцен: «Пушкин знал все страдания цивилизованного человека, но у него была вера в будущее, которой человек Запада уже лишился»[3].

О «Евгении Онегине» Герцен писал: «Те, кто говорит, что поэма Пушкина «Онегин» есть «Дон-Жуан» русских нравов, не понимают ни Байрона, ни Пушкина, ни Англии, ни России: они судят по внешности»[4].

Пушкин прямо противопоставляет себя Байрону в методе изображения героя:

Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной,
Чтобы насмешливый читатель
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет,
Как Байрон, гордости поэт;
Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом?

По окончании первых трех глав «Евгения Онегина» Пушкин писал в 1825 году:

«Никто более меня не уважает Дон-Жуана (первые 5 пес., других не читал), но в нем ничего нет общего с Онегиным»[1].

По существу, творчество Пушкина 20-х годов никак не могло быть подражанием Байрону. У английского поэта в последние годы его творчества заметны лишь тенденции перехода от романтизма к реализму, а Пушкин в «Евгении Онегине» создал произведение полноценного реалистического характера. В истории мировой литературы первой четверти XIX века Байрон остался виднейшим представителем революционного романтизма. Пушкин же стал поэтом действительности, великим писателем-реалистом, поднявшимся в своем творчестве на новую ступень над западноевропейской литературой.

Пушкин был человеком широкого кругозора, художником-мыслителем. Он обличал старый, отживавший феодальный мир, но, наряду с этим, резко-отрицательно высказывался и о новых капиталистических отношениях в Англии и об американской демократии.

Вот как характеризует Пушкин английский капитализм:

«Прочтите жалобы английских фабричных работников: волоса встанут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! какое холодное варварство, с одной стороны, с другой, какая страшная бедность! Вы подумаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян.

---

[1] В. Г. Белинский. Избранные сочинения, т. II, стр. 167. Гослитиздат, 1936. Статья «Русская литература в 1841 году».

[2] В. Г. Белинский. Избранные сочинения, стр. 404. Гослитиздат, 1947.

[3] А. И. Герцен. Избранные сочинения, стр. 394. Гослитиздат, 1937.

[4] А. И. Герцен. Избранные сочинения, стр. 394. Гослитиздат, 1937.

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 103. Гослитиздат, 1938.

Совсем нет: дело идет о сукнах г-на Смидта или об иголках г-на Джаксона. И заметьте, что все это есть не злоупотребление, не преступление, но происходит в строгих пределах закона»[1].

А вот что такое американская «демократия» по мнению Пушкина:

«С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (комфорт)... рабство негров, посреди образованности и свободы...»[2].

* * *

Если наиболее близким из предшественников Пушкина был Радищев, то прямым продолжателем его великого дела явился Лермонтов.

Широкая известность Лермонтова началась с распространения в рукописи его стихотворения «Смерть поэта». В своих воспоминаниях И. И. Панаев говорит, что это стихотворение Лермонтова «переписывалось в десятках тысяч экземпляров, перечитывалось и выучивалось всеми»[3]. Таким образом, никому не известный 22-летний юный поэт Лермонтов после стихотворения, нигде не напечатанного, распространявшегося лишь в рукописи, сразу получил признание со стороны всей прогрессивной общественности России. В представлении современников Лермонтов — наследник Пушкина, его преемник.

«Пистолетный выстрел, убивший Пушкина, разбудил душу Лермонтова», — писал Герцен. Смело и безбоязненно Лермонтов называл убийцами Пушкина правящие круги, «жадною толпой стоящие у трона». Он видел в них «Свободы, Гения и Славы палачей». Он грозил им народным судом, когда настанет час расплаты:

Тогда напрасно вы прибегнете к злословью—
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Эти пламенные строки прозвучали на всю Россию, как дерзкий вызов царю и всему дворянскому обществу. Стихотворение Лермонтова переслали Николаю I с припиской: «Воззвание к революции». Было создано «дело о непозволительных стихах», и вскоре поэт оказался сосланным на Кавказ, в действующую армию.

Пушкин имел неотразимое влияние на Лермонтова, особенно в первые годы его творчества. Идеи любви к родине, ненависти к угнетателям, думы о счастье человечества, вдохновлявшие Пушкина, нашли свое дальнейшее развитие в творчестве Лермонтова. Глубочайшая критика современной поэту крепостнической действительности, а главное — страстное желание ее изменить характерно для художественного творчества Лермонтова.

Лермонтов ценил в Пушкине в первую очередь революционные мотивы. Шестнадцатилетним юношей он создает стихи, обнаруживающие изумительную зрелость политической мысли. В них звучит пламенный протест против рабства, презрение к пошлости, призыв к борьбе. В эти годы Лермонтов увлекается мятежной поэзией великого английского поэта Байрона. Тем не менее, он является даже в своем раннем творчестве вполне самобытным поэтом. Об этом он заявил сам:

Нет, я не Байрон: я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.

Развивая революционные мотивы декабристов и Пушкина, Лермонтов выступил с протестом против крепостнического строя России:

Там стонет человек от рабства и цепей...
Друг! Этот край... моя отчизна!

В статьях Белинского указывалось на родство Печорина с Онегиным: душевный их облик, социальная среда, скука, тип «лишнего человека». Но есть и существенное между ними различие: Онегин — бесстрастный, холодный, апатичный; Печорин — энергичный, страстный, ощущает «в душе своей силы необъятные».

Хотя Пушкин и Лермонтов—современни-

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, том V, стр. 369—370. Academia. 1936.

[2] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, том V, стр. 134. Academia, 1936.

[3] И. И. Панаев. Литературные воспоминания. «Современник», 1861, стр. 657.

ки, но они отражают разные периоды исторического прошлого нашей родины. Пушкин развивался, испытывая влияние двух в высшей степени благотворных факторов: это народное движение, связанное с Отечественной войной 1812 года; он знал патриотический подъем в русском обществе, торжество нашей родины над захватчиком Наполеоном. И второй фактор, оказавший не менее благотворное влияние на Пушкина, — это движение декабристов. Организационно не связанный с той или иной группой декабристов, Пушкин был соратником, личным другом Рылеева и ряда других декабристов, встречался с Пестелем и вел с ним беседы. В 1826 году Пушкин заявил Николаю, что если бы он был в Петербурге в ночь с 13-го на 14-е декабря, то он был бы среди мятежников на Сенатской площади. Вот те факторы, которые оказали самое могучее влияние на духовный облик Пушкина.

Какие факторы оказали влияние на его молодого соратника, гениального Лермонтова? Период формирования Лермонтова приходится на 30-е годы. В 1830 году Лермонтову было 16 лет. Собственно, и вся его сознательная жизнь падает только на глухие 30-е годы — в 1841 году его уже не стало.

В отличие от Пушкина, Лермонтов знал о декабризме только как о разбитом движении, а о декабристах — как о жертвах неудачного выступления. Отсюда у Лермонтова мрачный взгляд на жизнь: его творчество характеризует «железный стих, облитый горечью и злостью». Поэт видит «приличьем стянутые маски», к добру и злу постыдно равнодушных людей, он беспощадно бичует дворянское аристократическое общество.

Страстная любовь Белинского и Чернышевского, вообще революционных демократов к Лермонтову вполне обусловлена. Мотивы печали, гнева, борьбы в творчестве Лермонтова предвещали нарождение поэзии революционной демократии.

В произведениях своих последних лет Лермонтов все более обращается к теме народа. Сердечно говорит он в стихотворении «Отчизна» о печальных деревнях родной страны.

В 50-х годах прошлого века совершенно неправомерно противопоставлялись в литературе два направления — «пушкинское» и «гоголевское», причем эстеты, либерально настроенные литераторы укрывались под направлением, которое они называли «пушкинским», противопоставляя себя, «артистическую» свою поэзию, поэзии «гоголевской», беспощадно бичевавшей самодержавие и крепостничество.

Откуда пошло это противопоставление? Извращая Пушкина, эстетствующие дворянские литераторы хотели прикрыться его великим именем. Они использовали те настроения Пушкина, которые обозначились в эпоху безвременья, в эпоху после разгрома декабристского движения во второй половине 20-х годов прошлого века, когда Пушкин писал стихотворения «Чернь», «Поэту», противопоставляя поэта «толпе холодной», «черни». Как совершенно убедительно расшифровали эти стихотворения Плеханов, а затем М. Горький, под «чернью» Пушкин имел в виду не народ, а светское общество, которое темной толпой окружало трон в годы, когда царское правительство творило страшную расправу над декабристами после неудавшегося восстания 14 декабря 1825 года. Не желая смешиваться со светской чернью, подло прислуживавшей престолу, Пушкин и прославляет поэта-художника, который должен жить свободно, независимо от этой мрази, позорно раболепствующей перед троном.

Эти настроения Пушкина либеральное дворянство использовало в своих целях, делая из Пушкина сторонника «чистого искусства», противопоставляя его поэзию творчеству революционно-демократического направления. В действительности же Пушкин был гражданским поэтом, зачинателем критического реализма, того течения, которое получило свое развитие в высоко полезной деятельности Н. В. Гоголя.

Гоголь всегда рассматривал Пушкина, как своего вдохновителя и учителя. Вот как еще юноша Гоголь воспринял появившуюся в печати трагедию Пушкина «Борис Годунов»:

«Будто прикованный, уничтожив окружающее, не слыша, не внимая, не помня ничего, пожираю я твои страницы, дивный поэт!»[1].

Пушкин имел самое благотворное влияние на Гоголя, перешедшего от романтиче-

[1] Н. В. Гоголь. Собрание сочинений. т. VI, стр. 186. ГИХЛ, 1937.

ских произведений типа «Ганца Кюхельгартена» к глубоко реалистическим, сатирическим произведениям, создавшим самое плодотворное направление в литературе XIX века — сатирическое и критическое.

На Гоголя не могли не воздействовать такие произведения Пушкина, как «Евгений Онегин», «Граф Нулин», «Станционный смотритель», «Гробовщик», «Медный всадник» с изображением судьбы «бедного» Евгения.

Разве мало в произведениях Пушкина образов, которые предвосхищают в какой-то мере персонажи Гоголя? Так, от изображения гостей Лариных, провинциальных помещиков, складывается неотразимое впечатление известной схожести их с образами помещиков из «Мертвых душ». Картинами горюхинского оскудения и сатирическим изображением дворянской жизни Пушкин очень близок Гоголю.

Творчество Гоголя и натуральная школа в значительной мере обязаны своим появлением и ростом пушкинскому наследию.

Пушкин не писал комедий, хотя он и сознавал наличие в себе сатирического дарования. В письме к А. А. Бестужеву, говоря о романе «Евгений Онегин», Пушкин заметил: «У меня бы затрещала набережная, если б коснулся я сатиры»[1].

Исключительно большую роль творчества Пушкина в его развитии признавал и сам Гоголь. При получении известия о смерти Пушкина, Гоголь писал: «Все наслаждения моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его пред собою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое — вот что меня только занимало и одушевляло мои силы... Боже! нынешний труд мой, внушенный им, его создание... я не в силах продолжать его. Несколько раз принимался я за перо, и перо падало из рук моих...»[2].

Известно, что сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ» внушены были Гоголю Пушкиным. Гоголь свое гениальное произведение «Мертвые души» даже называет созданием Пушкина.

Реализм Гоголя давал такое отчетливое и наглядное представление о всем ужасе крепостной России, что Пушкина охватила безысходная грусть, когда он прослушал лишь первоначальные наброски «Мертвых душ». «Как грустна наша Россия!»—воскликнул великий поэт. Гоголь сказал новое и притом беспощадно критическое слово о российской действительности тридцатых годов XIX века. Его творчество нанесло сильный удар крепостничеству. Оно содействовало пробуждению и развитию революционных идей.

Весьма существенно для исторического осмысления творчества Пушкина, что впервые верную характеристику его художественного наследства дали критики революционно-демократического направления: Белинский, Чернышевский и Добролюбов.

«Через него, — писал Чернышевский, — разлилось литературное образование на десятки тысяч людей, между тем как до него литературные интересы занимали немногих. Он первый возвел у нас литературу в достоинство национального дела, между тем как прежде она была, по удачному заглавию одного из старинных журналов, «Приятным и полезным препровождением времени» для тесного кружка дилетантов. Он был первым поэтом, который стал в глазах всей русской публики на то высокое место, какое должен занимать в своей стране великий писатель. Вся возможность дальнейшего развития русской литературы была приготовлена и отчасти еще приготовляется Пушкиным»[1].

Пушкин был поэтом, требовавшим, по выражению Чернышевского, «мыслей, глубокого содержания». Резко осуждая современную дворянскую поэзию, подчеркивая ее увлечение «наружными формами слова», высмеивая «эстетическую водяную болезнь» современных ему литераторов, Чернышевский противопоставлял им Пушкина и принципы его творчества. Он говорил, что у Пушкина «во сто раз больше содержания, нежели у его сподвижников, взятых вместе».

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 103. Гослитиздат, 1938.

[2] «Русские писатели XIX века о Пушкине», стр. 160, 1938.

[1] Н. Г. Чернышевский. Избранные сочинения, т. I, стр. 290—291. 1905.

Добролюбов стремился показать в Гоголе преемника и продолжателя Пушкина, подчеркивая мысль, что Пушкин до конца жизни был поэтом социальным, интересовавшимся действительностью. Революционно-демократическая критика отметила, что Пушкин первый стал описывать русские нравы и жизнь народа с большой верностью и правдивостью. Добролюбов заслугу Пушкина видел в том, что он совершил «открытие действительности» в русской литературе. Добролюбов дал изумительную характеристику Пушкина как поэта, который «обратил» силы народа на те исторического значения вопросы, которые он должен был разрешить. Этой формулировкой намечалось установление тесных связей демократической литературы шестидесятых годов с творчеством Пушкина. Чернышевский и Добролюбов видели громадное значение и роль пушкинского наследства в формировании художественной литературы последующего периода.

«Он присмотрелся, — писал Добролюбов, — к русской природе и жизни и нашел, что в них есть много истинно хорошего и поэтического. Очарованный сам этим открытием, он принялся за изображение действительности, и толпа с восторгом приняла эти дивные создания, в которых ей слышалось так много своего, знакомого, что давно она видела, но в чем никогда не подозревала столько поэтической прелести».[1] Верное изображение современной поэту жизни в России, его свободолюбие, его симпатии к народу, а также критическое отношение к существующему строю делали пушкинское творчество близким и ценным для великих критиков-демократов.

Ориентация Пушкина на демократическую тематику, сочувственное отношение к обездоленным и угнетенным предвосхищают пути дальнейшего развития русской реалистической литературы. Настойчивый интерес Пушкина к взаимоотношениям помещиков и крестьян, отразившийся в ряде его произведений тридцатых годов, делает поэта прямым предшественником литературы шестидесятников.

Истинными наследниками Пушкина в эпоху шестидесятых годов были поэты и писатели революционно-демократического направления. Ленин говорил, что хранить наследство вовсе еще не значит ограничиваться наследством. Щедрин и Некрасов развивали принципы пушкинского реализма в новых условиях. В наследстве Пушкина Щедрин подчеркивал «стремление к общечеловеческим идеалам, на которые тогдашняя управа благочиния, как и нынешняя, смотрела и смотрит одинаково неприязненно».[1] В творчестве гениального сатирика получили свое дальнейшее развитие черты критического реализма, содержавшиеся в наследии Пушкина. Легко установить родство, преемственную связь между «Историей села Горюхина» и «Историей одного города». Щедрин восставал против эстетского понимания Пушкина, которое имело место в эпоху жизни великого сатирика.

Щедрин также высмеивал мелочное, крохоборческое изучение наследства великого поэта, когда за мертвой буквой исчезает живое содержание его творчества.

В первой главе «Современной идиллии» Щедрин изобразил собрание библиографов, на котором обсуждалось стихотворение Пушкина «Черная шаль»:

«При мне «Черную шаль» Пушкина библиографической разработке подвергали. Они, брат, ее в двух томах с комментариями хотят издавать... При мне, в течение трех часов только два первые стиха обработали. Вот видишь, обыкновенно мы так читаем:

Гляжу я безмолвно на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль...

А у Слёнина (1831 г. in 8—V0) последний стих так напечатан:

И гладкую душу дерзает печаль...

Вот они и остановились в недоумении. Три партии образовались»[2].

В поэзии великим преемником Пушкина в эпоху пятидесятых-шестидесятых годов выступил Некрасов, развивавший в новых условиях ведущие черты пушкинской поэзии: идейность, народность, реализм, про-

[1] Н. А. Добролюбов Полное собрание сочинений, т. I, стр. 114. 1934.

[1] М. Е. Салтыков-Щедрин. Полное собрание сочинений, т. XIV, стр. 460. Гослитиздат, 1940.

[2] М. Е. Салтыков-Щедрин. Полное собрание сочинений, т. XV, стр. 47. Гослитиздат, 1940.

стоту и ясность выражения чувств и мыслей.

Поколение революционеров-демократов связано уже с иной эпохой, чем та, в которой жил Пушкин. О шестидесятниках, по сравнению с дворянскими революционерами, Ленин говорил: «Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом»[1].

Образование в русской поэзии нового направления, главой которого является Некрасов, было исторически обусловлено выходом на публичную арену новых общественных групп, появлением новых читателей, с иными требованиями к литературе. Новый поэт, удовлетворяющий запросы изменившегося читателя, пришел не вдруг. Был период «безвластия» в литературе, чутко подмеченный Некрасовым.

Тогда все глухо и мертво
В литературе нашей было:
Скончался Пушкин, без него
Любовь к ней в публике остыла...
В бореньи пошлых мелочей
Она погрязнув поглупела...
До общества, до жизни ей
Как будто не было и дела.
В то время, как в родном краю
Открыто зло торжествовало,
Ему лишь «баюшки-баю»
Литература распевала.

Некрасов воспринимает Пушкина как своего предшественника, как учителя. В русской поэзии именно Некрасов явился продолжателем и наследником Пушкина, а не Фет и не Майков.

Пушкин и Некрасов — поэты разных эпох, разных социальных условий, они оба шли в авангарде своего времени. Если Пушкин был другом революционеров-декабристов и его политическая лирика сыграла огромную роль в распространении их идей, то Некрасов был другом революционеров — «мужицких демократов» Чернышевского, Добролюбова, М. И. Михайлова и пропагандировал идеи народной революции. Пушкин в «Капитанской дочке» изобразил крестьянский бунт. Некрасов тему крестьянской революции делает ведущей во всем своем творчестве. Пушкин обращался к современникам: «Где гражданин с душою благородной»; Некрасов неустанно требовал: «Будь гражданин», ты «гражданином быть обязан».

Большая степень политической зрелости и социальной остроты в творчестве Некрасова объяснялась наступлением новой эпохи, обострением классовой борьбы.

Многократно отмечались критиками в творчестве Пушкина картины, где предчувствуется реализм Некрасова. Как бы в некрасовском духе дана Пушкиным зарисовка болдинских впечатлений:

Смотри какой здесь вид: избушек ряд убогой,
За ними чернозем, равнины скат отлогой,
Над ними серых туч густая полоса.
Где нивы светлые? Где темные леса?
Где речка? На дворе у низкого забора
Два бедных деревца стоят в отраду взора,
Два только деревца...

Пушкин проникся той грустной мелодией народной песни, которая была непосредственным отражением подневольной народной жизни и которая нашла свое блистательное выражение в творчестве гениального поэта крестьянской демократии Некрасова.

Политическая и обличительная лирика Некрасова родственна поэзии Пушкина. Общим источником их поэзии была ненависть к деспотии, к крепостничеству: для обоих характерно прославление свободы и революционных борцов. Творчество обоих поэтов было источником нравственного воспитания людей. И тот и другой мечтали о счастье для всех, связанном с завоеванием свободы для народа. Оба поэта соединяли глубокую гражданственность с замечательным поэтическим мастерством.

На страницах литературно-критических и публицистических статей основоположника советской литературы Максима Горького, в письмах и во многих художественных произведениях от «Фомы Гордеева» и автобиографической трилогии до последней, не завершенной повести «Жизнь Клима Самгина» мы встречаем имя Пушкина.

Много замечательных высказываний Максима Горького о Пушкине рассыпано в его письмах, где он дает свои мудрые советы начинающим литераторам. «Читайте почаще Пушкина», — пишет он многочисленным молодым поэтам, обращавшимся к нему за помощью. «Тем, — говорит Горький, — кто кричит, что Пушкин устарел,—не верьте— стареет форма, дух же поэзии Пушкина

[1] В. И. Ленин. Сочинения, издание четвертое, т. 18, стр. 15.

нетленен...»[1] Уже в 1930 году, упоминая в одной из статей о «все более растущем в Европе» влиянии Достоевского, Горький пишет: «Я предпочел бы, чтоб «культурный мир» объединялся не Достоевским, а Пушкиным, ибо колоссальный и универсальный талант Пушкина — талант психически здоровый и оздоровляющий»[2].

Горький, как писатель, и сам учился у Пушкина. Он вспоминает, что в его эстетическом воспитании черты правды и красоты были заложены Пушкиным. В повести «В людях» Горький пишет о своем первоначальном знакомстве с Пушкиным:

«Это были поэмы Пушкина. Я прочитал их все сразу, охваченный тем жадным чувством, которое испытываешь, попадая в невиданно красивое место, — всегда стремишься обежать его сразу. Так бывает после того, когда долго ходишь по моховым кочкам болотистого леса и неожиданно. развернется пред тобою сухая поляна, вся в цветах и солнце. Минуту смотришь на нее очарованный, а потом счастливо обежишь всю, и каждое прикосновение ноги к мягким травам плодородной земли тихо радует.

Пушкин до того удивил меня простотой и музыкой стиха, что долгое время проза казалась мне неестественной, и читать ее было неловко. Пролог к «Руслану» напоминал мне лучшие сказки бабушки, чудесно сжав их в одну, а некоторые строки изумляли меня своей чеканной правдой.

Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей, —

мысленно повторял я чудесные строки и видел эти, очень знакомые мне, едва заметные тропы, видел таинственные следы, которыми примята трава, еще не стряхнувшая капель росы, тяжелых, как ртуть. Полнозвучные строки стихов запоминались удивительно легко, украшая празднично все, о чем говорили они; это делало меня счастливым, жизнь мою — легкой и приятной, стихи звучали как благовест новой жизни. Какое это счастье — быть грамотным!

Великолепные сказки Пушкина были всего ближе и понятнее мне: прочитав их несколько раз, я уже знал их на память; лягу спать и шепчу стихи, закрыв глаза, пока не усну. Нередко я пересказывал эти сказки денщикам; они, слушая, хохочут, ласково ругаются, Сидоров гладит меня по голове и тихонько говорит:

— Вот славно, а? Ах, господи...»

Горький отстаивал Пушкина от нападок на него, делавшихся со времени известного выступления шестидесятника Писарева. Наш современник, Горький показывает всю несостоятельность обвинения Пушкина в антидемократизме.

Горький убедительно доказал, что Пушкин презирал «светское столичное общество», а к русскому народу относился с великой любовью.

Горький указывает на мрачную жизненную судьбу великого русского поэта: «В Одессе его травили, рассматривая как ссыльного мелкого чиновника и не считаясь с его дарованием. Он озлоблялся и был вынужден «противопоставлять табели о рангах то демократическую гордость таланта и ума, то свое 600-летнее дворянство».

В семье к нему относились подозрительно и грубо: отец даже однажды обвинил поэта в покушении на убийство, что грозило каторгой.

Его травил Булгарин, искажала цензура, Бенкендорф преследовал выговорами. Стихотворения «Моя родословная», «На выздоровление Лукулла» и насмешливые четверостишия вызвали, наконец, непримиримую злобу к поэту; ловкие люди искусно раздували общее недоброжелательство к нему, наконец, против него была пущена в ход клевета и — вскоре его застрелили»[1].

Яркие, взволнованные слова находил М. Горький для характеристики творчества Пушкина: «...великий русский народный поэт, создатель чарующих красотой и умом сказок, автор первого реалистического романа «Евгений Онегин», автор лучшей нашей исторической драмы «Борис Годунов», поэт, до сего дня никем непревзойденный ни в красоте стиха, ни в силе вы-

[1] Дм. Семеновский. А. М. Горький. Письма и встречи, стр. 23. «Советский писатель», 1940.

[2] М. Горький. О литературе. стр. 54. 1933.

[1] М. Горький. История русской литературы, стр. 102. 1939.

ражения чувства и мысли, поэт — родоначальник великой русской литературы»[1].

Горький находит, что проза Пушкина положила основание для дальнейшего развития всей русской литературы. Он считает Пушкина не только национально русским, но и «величайшим в мире художником».

Все видные русские писатели и критики признавали за поэзией Пушкина её воспитывающее значение. Горький метко назвал Пушкина «началом всех начал».

Пушкин создавал русское искусство, понятное и близкое народу. Борьба его против самодержавия и крепостничества органически сливалась с мечтой об освобождении человеческой личности от всякого угнетения. Эта мечта Пушкина могла быть осуществлена только в социалистическом обществе, только в эпоху торжества человеческой справедливости. В наше время мечты Пушкина о всенародном искусстве и об освобождении личности стали реальностью. Вот почему победившему в социалистической революции советскому народу, разбившему все силы угнетения и эксплоатации, так близок и дорог поэт, отдавший свою жизнь борьбе за высокие идеалы человечества, за счастливое будущее своей Родины.

[1] М. Горький. История русской литературы, стр. 103. 1939.

ПУШКИН-ПАТРИОТ

Д. БЛАГОЙ

★

Великий русский национальный поэт Александр Сергеевич Пушкин предстает перед нами как любимый поэт многонационального советского народа, имя которого славно во всем мире. Занять такое место в истории родной литературы можно лишь в тесном единении с народом. И Пушкин был действительно страстно преданным сыном Родины, величайшим патриотом, горячо любившим свой народ.

«При имени Пушкина,— писал Гоголь,— тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте... В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла... Самая его жизнь — совершенно русская»[1].

Великий русский поэт родился в Москве. И слова, исполненные проникновенного чувства живой любви, поэт обращает к сердцу нашей родины — родной ему Москве. В отроческих стихах Пушкин славил «Края Москвы, края родные». С годами сыновнее чувство к «родимой стороне» растет, крепнет, становится все более глубоким, всеобъемлющим. Уже зрелым человеком и поэтом, в предпоследней главе «Евгения Онегина», раскрывая перед читателем своеобразную и величественную панораму города, Пушкин скажет о том, что Москва для него дорога не только как место, где он родился и провел свои детские годы:

Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

Москва дорога поэту своим славным историческим прошлым, как город, в течение веков боровшийся против иноземных захватчиков за единство русского государства, за свободу и независимость великого народа. Москва для Пушкина — славная вовеки «мать градов России». Он гордился и ее настоящим, гордился ею, как средоточием национальной жизни и культуры.

Большой действенный интерес, с юных лет проявляемый поэтом к славной истории своего народа, свидетельствует о глубоком патриотизме Пушкина. Создав первые в русской литературе подлинно-исторические произведения: трагедию «Борис Годунов», поэму «Полтава», повесть «Капитанская дочка», Пушкин выступил и как передовой ученый-историк, написав свою знаменитую «Историю Пугачева». Смерть прервала работу Пушкина над созданием «Истории Петра I».

С глубоким презрением относился Пушкин к тем из своих современников, которые проявляли равнодушие к историческим судьбам своего отечества, к строительству русской национальной культуры. «Некоторые люди не заботятся ни о славе, ни о бедствиях отечества, его историю знают только со времени кн. Потемкина, имеют некоторое понятие о статистике только той губернии, в которой находятся их поместья; со всем тем почитают себя патриотами потому, что любят ботвинью и что дети их бегают в красной рубашке»[1].

В поэме «Граф Нулин» Пушкин создает сатирический портрет барина-космополита, равнодушного ко всему родному, русскому и низкопоклонствующего перед всем заграничным.

---

[1] Сборник «Русские писатели XIX века о Пушкине», стр. 154—155.

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 35. «Academia».

Граф Нулин, из чужих краев,
Где промотал он в вихре моды
Свои грядущие доходы,
Себя казать, как чудный зверь,
В Петрополь едет он теперь
С запасом фраков и жилетов,
Шляп, вееров, плащей, корсетов,
Булавок, запонок, лорнетов,
Цветных платков, чулков à jour,
С ужасной книжкою Гизота,
С тетрадью злых карикатур,
С романом новым Вальтер-Скотта,
С bons mots парижского двора,
С последней песней Беранжера,
С мотивами Россини, Пера,
Et cetera, et cetera.
. . . . . .

Глубокий патриотизм Пушкина коренным образом отличался от официального, показного «патриотизма» правящей верхушки и реакционных дворянско-буржуазных кругов тогдашнего общества. Воспевая героическое прошлое России, поэт славил ее не в застывшем величии, а в исторической перспективе ее развития. Любя и воспевая овеянную «дымом столетий» Москву, Пушкин славит и «Град Петров», самое существование которого утверждало новое место России в ряду мировых держав. Одушевленные высоким патриотическим чувством бессмертные стихи вступления к «Медному Всаднику», которые поэт посвятил «юной столице», являются одним из лучших достижений поэзии:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.
Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз,
И блеск, и шум, и говор балов,
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.
Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красивость,
В их стройно зыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою.

Глубокое знание русской истории, живой интерес к политике и экономике, одушевленный подлинным патриотизмом, страстное негодование против всего косного, препятствующего движению вперед, помогли Пушкину создать в «Евгении Онегине», по словам Белинского, «энциклопедию русской жизни»[1] своего времени. Недаром Карл Маркс приводил строки из стихотворного романа Пушкина в одном из своих политико-экономических трактатов, а Энгельс писал своему русскому корреспонденту Н. Ф. Даниэльсону: «Когда мы изучаем... реальные экономические отношения в различных странах и на различных ступенях цивилизации, то какими странно ошибочными и недостаточными кажутся нам рационалистические обобщения XVIII века, хотя бы, например, доброго старого Адама Смита, который принял условия, господствовавшие в Эдинбурге и окрестных шотландских графствах, за нормальные для целой вселенной! Ваш Пушкин уже знал это...»[2]

Страстно преданный Родине, гордившийся величием страны, разгромившей непобедимого до того Наполеона, Пушкин горячо любил свой народ — мудрый, талантливый и свободолюбивый. Он гордился всеобъемлющим гением рыбацкого сына Михайлы Ломоносова, высоко ценил патриотический подвиг нижегородского мещанина Кузьмы Минина-Сухорука. «Имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят, может быть, все наши старинные родословные»[3],—писал Пушкин.

Отрочество Пушкина было освещено одним из наиболее ярких и славных героических событий в истории нашей Родины — народной Отечественной войной 1812 года. В результате этой войны враг

[1] В. Г. Белинский. Избранные сочинения, т. III, стр. 467. Государственное издательство художественной литературы, М. 1941.

[2] К. Маркс, Ф. Энгельс. Об искусстве, стр. 325. М.-Л. 1937.

[3] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. V, стр. 316. «Academia».

не только был изгнан за пределы родины, но и вся Европа была освобождена из-под ига Наполеона. В своем стихотворении, написанном в 1821 году на смерть Наполеона, Пушкин писал о героическом характере, о великодушии и самоотверженности русского народа, которые помогли ему одержать победу над Наполеоном:

Надменный, кто тебя подвигнул?
Кто обуял твой дивный ум?
Как сердца русских не постигнул
Ты с высоты отважных дум?
Великодушного пожара
Не предузнав, уж ты мечтал,
Что мира вновь мы ждем, как дара,
Но поздно русских разгадал...

Россия, бранная царица,
Воспомни древние права!
Померкни, солнце Австерлица!
Пылай, великая Москва!
Настали времена другие,
Исчезни, краткий наш позор!
Благослови Москву, Россия!
Война по гроб — наш договор.

Оцепенелыми руками
Схватив железный свой венец,
Он бездну видит пред очами,
Он гибнет, гибнет наконец.
Бежат Европы ополченья;
Окровавленные снега
Провозгласили их паденье,
И тает с ними след врага.

И все, как буря, закипело,
Европа свой расторгла плен;
Вослед тирану полетело,
Как гром, проклятие племен.
И длань народной Немезиды
Подъяту видит великан;
И до последней все обиды
Отплачены тебе, тиран.

В произведениях Пушкина народ впервые выступает не как пассивная масса, творящая только волю царя; народ предстает перед нами как движущая сила истории — мятежная и вольнолюбивая. Безмолвие народа, в ответ на призыв бояр приветствовать нового царя, завершает трагедию «Борис Годунов». Народная волна поднимает и выносит на своем гребне вождя и выразителя чаяний закрепощенного крестьянства — Пугачева, столь ярко и сочувственно изображенного Пушкиным в «Капитанской дочке». Гуманизм Пушкина был, правда, ограничен кругом идей передового просвещенного дворянства его времени. Отрицательно относился он и к крестьянскому восстанию, видя в нем только стихийную разрушительную силу. Замечательно, однако, что, несмотря на это, образ Пугачева Пушкин рисует в соответствии с исторической правдой. Характер Пугачева дан Пушкиным без малейшей попытки идеализации, во всей его суровой и даже жестокой реальности. И в то же время это положительный образ человека, отличающегося вольным и мятежным духом, героическим хладнокровием и беззаветной удалью. В сказке об «орле и вороне», рассказанной Пугачевым Гриневу в «Капитанской дочке», раскрывается орлиная широта натуры Пугачева, считающего, что миг вольной и яркой жизни лучше многих лет прозябания. Широта характера Пугачева это широта русской натуры, не терпящей компромисса, половинчатости. «Казнить так казнить, жаловать так жаловать, таков мой обычай», — говорит Пугачев Гриневу. Вождь народного восстания великодушен и справедлив. «Кто из моих людей смеет обижать сироту?.. Будь он семи пядей во лбу, а от моего суда не уйдет».

Беспощадный к врагам, угнетателям крепостного крестьянства, Пугачев памятлив на добро и признателен за него. Так, истинно щедрым великодушием платит он Гриневу за ласковое обхождение, даруя ему жизнь и свободу за приветливое слово и «заячий тулупчик».

Образ Пугачева, как и другие созданные Пушкиным образы людей из народа, выражает величайший интерес и любовь поэта к простому народу, который в его глазах является носителем лучших национальных свойств. Не раз противопоставит поэт в своем творчестве великодушного и смелого простого человека—пустому, чванливому и жестокому барину, как противопоставлен в «Дубровском» крепостной кузнец Архип помещику Троекурову.

Тягу к простому народу испытывает Пушкин всю жизнь; она свидетельствует об его подлинном, истинно народном патриотизме.

В годы Михайловской ссылки в крестьянском платье смешивается он с народной толпой на ярмарках, присматривается к лицам людей из народа, прислушивается к богатому и образному народному говору. Трогательная душевная близость с няней Ариной Родионовной, «доброй подружкой» ссыльных лет поэта, воспетой им в проник-

новенных стихах, оставляет неизгладимый след в творчестве поэта. О замечательном приближении Пушкина к народу свидетельствуют многие его создания, непосредственно связанные с миром народного творчества: народные сказки, песни. Уже о первом своем большом произведении — поэме «Руслан и Людмила» Пушкин имел право сказать (в стихотворном вступлении, предпосланном второму изданию): «Там русский дух, там Русью пахнет». Реакционная же критика прямо заявляла о том, что поэма эта подобна «мужику», внезапно появившемуся в «Благородном Собрании» к «ужасу» присутствующего там великосветского общества.

О написанном Пушкиным в 1825 году стихотворении «Жених», которое сам поэт назвал «простонародной сказкой», Белинский писал, что «в народных русских песнях, вместе взятых, не больше русской народности, сколько заключено ее в этой балладе»[1]. Наиболее яркими примерами пушкинской близости к народу являются такие его произведения, как «Сказка о рыбаке и рыбке», «О попе и работнике его Балде», или написанные им в селе Михайловском три «Песни о Стеньке Разине», в которых во всей своей богатырской мощи показан образ грозного русского бунтаря — «самого поэтического лица в русской истории», как отзывался о нем в ту пору сам Пушкин.

Известный собиратель народных песен П. В. Киреевский рассказывал, что Пушкин передал ему тетрадь песен, записанных им во время Михайловской ссылки. Среди этого собрания были и песни, написанные самим Пушкиным, но ни Киреевский, ни другие исследователи не смогли отличить их от песен, сложенных самим народом.

Истинный патриот, Пушкин по праву считал свой «неподкупный голос» «эхом русского народа». «Клянусь честью, ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков», — писал он. Поэт любил действенной и творческой любовью великий русский язык. «Язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими»[1], — говорил великий поэт. С глубоким уважением отзывался Пушкин о родной русской культуре, ценя в ней ее самобытную силу. Известна его восторженная оценка и «Слова о полку Игореве». Пушкин особенно отмечал народность русских писателей, гордился творениями Ломоносова, Державина, Фонвизина, Радищева, Крылова.

Пушкин прославлял военные подвиги русского народа, с благоговением произнося имена его великих полководцев—Суворова, Кутузова. «Слава Кутузова,—писал он, — неразрывно соединена со славою России, с памятью о величайшем событии новейшей истории. Его титло: спаситель России; его памятник: скала святой Елены! Имя его не только священно для нас, но не должны ли мы еще радоваться, мы, русские, что оно звучит русским звуком?»[2].

Он никогда не забывал о том, что русский народ не раз спасал народы Европы от ига чужестранных завоевателей. В своем стихотворении «Клеветникам России» он предостерегал европейских захватчиков, вновь угрожавших России, напоминая им жалкую участь всех, кто пытался поработить могучий русский народ.

Пушкину принадлежат лучшие, поэтические картины родной природы. Его поэтическому гению обязаны мы созданием национального литературного языка и новой русской литературы. «Пушкин у нас начало всех начал», — сказал М. Горький.

Добролюбов справедливо считает величайшей заслугой Пушкина открытие им русской действительности в русской литературе. «Он присмотрелся к русской природе и жизни и нашел, что в них есть много истинно хорошего и поэтического». Естественно поэтому, что, пламенно любя свою Родину, Пушкин живо протестовал против порабощения великого талантливого и мужественного народа, на которое он был обречен самодержавным дворянско-буржуазным строем, крепостничеством.

«Взгляните на русского крестьянина: есть ли тень рабского унижения в его поступи

[1] В. Г. Белинский. Избранные сочинения, т. III, стр. 348. Государственное издательство художественной литературы, М. 1941.

[1] А. С. Пушкин. Сочинения, стр. 705. Государственное издательство художественной литературы, Л. 1936.

[2] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 168. «Academia» 1936, «Объяснение».

и речи? О его смелости и смышлености и говорить нечего»[1], — восклицал поэт.

Шестнадцатилетним юношей Пушкин писал: «я рабство ненавижу». Он пламенно протестовал против бесчеловечности крепостничества и произвола царской власти в оде «Вольность», в стихотворениях «Деревня» и «Кинжал». «Он наводнил Россию вольнолюбивыми стихами»,—сказал в страхе перед растущей популярностью Пушкина Александр I.

Пушкин вошел в литературу в период поднимающегося движения декабристов. Вслед за Радищевым восславивший свободу (как он сам отметил в одном из особенно острых в политическом отношении набросков своего стихотворения «Памятник»), Пушкин был «певцом» декабристов: «Пловцам я пел», — сказал он в стихотворении «Арион». Политическим революционером в прямом смысле этого слова Пушкин не был, организационно в тайные общества декабристов не входил, но, желая видеть родину свободной и прекрасной, всем своим творчеством протестуя против мешающего ее развитию и расцвету «барства дикого» и «неправедной власти» царя-самодержца, поэт по праву считал себя «другом, братом, товарищем» героев и богатырей 14 декабря. Именно это и является наиболее ярким признаком глубочайшего патриотизма Пушкина. В 1914 году, через много десятков лет после смерти Пушкина, величайший гений человечества Владимир Ильич Ленин в своей статье «О национальной гордости великоруссов» писал: «Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы ее трудящиеся массы (т. е. 9/10 ее населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов. Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из среды великоруссов, что эта среда выдвинула Радищева, декабристов...»[2]

И из глубины прошедшего века словно отзывается величайшему революционеру всех времен голос величайшего поэта русского народа: «Только революционная голова... может любить Россию так, как писатель только может любить ее язык. Все должно творить в этой России и в этом русском языке»[1].

Будучи выразителем декабристских идей в поэзии, Пушкин остался верен идеям борьбы против крепостничества и самодержавия и после казни и ссылки декабристов. Он прямо заявил царю, что если бы находился в день 14 декабря в столице, то был бы вместе с «мятежниками» на площади. Своим посланием «В Сибирь» он стремился ободрить томящихся на каторге братьев. Он верил, что «скорбный труд» и «дум высокое стремленье» первых дворянских революционеров не пропадут бесследно.

Через многие десятилетия В. И. Ленин написал: «...их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию»[2].

Пушкин отвергал реакционный лжепатриотизм, как он выдвинутый реакционерами лозунг так называемой «официальной народности». Он знал, что патриотизмом подлинным в его время был революционный патриотизм декабристов.

В «Рославлеве»—романе о войне 1812 года — Пушкин противопоставляет «официальной народности» реакционеров большую и подлинную любовь истинных патриотов к своему отечеству. Перед читателем проходят типичные представители допожарной предгрибоедовской дворянской Москвы, ближайшие родственники Фамусова. В обществе заезжей иностранной знаменитости они теряют всякое чувство национального и личного достоинства, но при известии о вторжении Наполеона все они делают вид, что внезапно стали ярыми «патриотами». «Все заклялись говорить по-французски; все закричали о Пожарском и Минине и стали проповедовать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни».

Этому показному лжепатриотизму дворянской верхушки общества — тех, кто, призы-

[1] А. С. Пушкин. Сочинения, стр. 757. Государственное издательство художественной литературы, Л. 1936.

[2] В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е т. 21, стр. 85.

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. V, стр. 260. «Academia».

[2] В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3-е, т. XV, стр. 468.

вая к народной войне, спешил скрыться от наступающих французов в свои дальние деревеньки, «в глушь, в Саратов», — Пушкин противопоставляет подлинный и высокий героизм русского «простого народа», не останавливающегося ни перед чем, чтобы спасти свою родину. «Неужели, — спрашивает себя героиня романа Полина, — пожар Москвы дело наших рук? Если так... О, мне можно гордиться именем россиянки! Вселенная изумится великой жертве! Теперь и падение не страшно, честь наша спасена; никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который рубит сам себе руки и жжет свою столицу». Эти слова дышат той же высокой гордостью за свой народ, верой в его моральную силу, которая через некоторое время продиктует самому поэту гневный и пламенный ответ «клеветникам России» — «европейским витиям», призывавшим повторить поход Наполеона. Резко выделяется из среды всей этой «светской черни», «обезьян просвещенья», космополитических «шутов» образ самой героини, пылко любящей свою страну и свой народ, горячо ратующей за женские права, за достойное положение женщины в обществе. При зрелище всех этих новоявленных «патриотов» Полина «не могла скрыть свое презрение, как прежде не скрывала своего негодования», видя их робость и раболепство перед иностранщиной. «Помилуй, — сказала я однажды, — охота тебе вмешиваться не в наше дело. Пусть мужчины себе дерутся и кричат о политике, женщины на войну не ходят, и им дела нет до Бонапарта». Глаза ее засверкали. «Стыдись, — сказала она, — разве женщины не имеют отечества? Разве у них нет отцов, братьев, мужьев? Разве кровь русская для нас чужда? Или ты полагаешь, что мы рождены для того только, чтобы нас на бале вертели в экосезах, а дома заставляли вышивать по канве собачек? Нет! Я знаю, какое влияние женщина может иметь на мнение общественное или даже на сердце хоть одного человека. Я не признаю уничижения, к которому присуждают нас...»

Замечателен пафос, с каким Полина сообщает подруге о героической смерти своего жениха, а ее брата: «Глаза ее так и блистали, голос так и звенел... «Ты не знаешь,—сказала мне Полина с видом вдохновенным. — Твой брат... он счастлив, он не в плену — радуйся: он убит за спасение России».

Полина и сама мечтает патриотическим подвигом спасти отечество: «Странные мысли приходили ей в голову, — повествует ее подруга. — Однажды она мне объявила о своем намерении уйти из деревни, явиться во французский лагерь, добраться до Наполеона и убить его из своих рук».

Вместе с тем образ Полины дан с большой исторической и бытовой правдивостью. Перед нами действительно русская девушка-дворянка 1812 года, но из той героической породы женщин, которая выдвинула жен декабристов. Полина — предшественница «Русских женщин» Некрасова и героини тургеневского «Порога».

В «Рославлеве» Пушкин дал убийственную зарисовку светско-аристократического лжепатриотизма, жестоко критиковал дворянско-помещичью среду в ряде своих произведений (от «Евгения Онегина» до «Дубровского») и этим показал, что он любит Россию не в ее искаженном самодержавием и крепостничеством рабском виде; он видел в русском народе и огромные проявившиеся уже силы и только еще зревшие великие возможности. Пушкин заметил и прозорливо изобразил в ряде своих лучших образов замечательные черты русского национального характера, ярко раскрывшиеся в ходе дальнейшего исторического развития.

История России являлась взору Пушкина прежде всего как история борьбы за национальную независимость, за самобытное развитие великой русской культуры.

Характерна в этом отношении историко-патриотическая поэма Пушкина «Полтава», в которой он с огромной силой поэтического воодушевления славит мощь и величие русского народа, подобно «булату», закалившемуся под «тяжким млатом» суровых исторических испытаний. Уже Белинский отмечал «художественный такт» Пушкина, выбравшего из всех событий петровского времени для своей поэмы полтавскую битву. Однако выбор этот говорит не только о художественном такте поэта, но и о замечательной исторической прозорливости истинного патриота. Пушкин взял предметом поэтического изображения решающий момент истории, когда дело шло не только о победе над врагом, но и о свободе, чести и независимости всего русского народа.

Перед лицом угрозы, нависшей над Родиной и народом, во всей своей гнусности являлась Пушкину-патриоту измена Мазепы, продиктованная личными корыстно-эгоистическими целями.

Мазепа осужден Пушкиным, как деятель антинародный. Украинский народ его не поддержал. «Слава богу, что в замысле его и пяти человек нет». Так отзывался о Мазепе сам Петр.

На протяжении всей своей жизни великий поэт боролся за утверждение передового русского национального сознания, за национальную самобытность русской культуры, русского языка, литературы и искусства.

И в то же время Пушкин был совершенно чужд националистической ограниченности. Он с высоким уважением относился к истинным культурным и социальным достижениям других народов.

Неоднократно отмечалась удивительная способность Пушкина постигать самые различные стороны культурно-исторической жизни человечества, оставаясь вместе с тем до глубины души русским, национальным поэтом. И в этом также сказалось замечательное свойство русского характера: глубоко постигать, не теряя своего национального лица, интересы, чувства, склад мышления других наций. Это свойство в высокой степени сказалось в таких произведениях Пушкина, как «Подражания Корану», «Сцена из Фауста», «Маленькие трагедии», «Анджело», «Сцены из рыцарских времен», в таких превосходных, хотя относительно и менее известных его стихотворениях, как «Стамбул гяуры нынче славят», как «Странник», как начатый, но, к сожалению, не завершенный роман из жизни немецкой рабочей бедноты. В этом романе, в статьях «Путешествие из Москвы в Петербург» (разговор с англичанином), «Джон Теннер» Пушкин выступает, как обличитель бесчеловечных капиталистических отношений на современном ему Западе.

«Прочтите жалобы английских фабричных работников: волосы встанут дыбом от ужаса, — с негодованием пишет поэт. — Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! Какое холодное варварство с одной стороны, с другой — какая страшная бедность! Вы подумаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет: дело идет о сукнах г-на Смидта или об иголках г-на Джаксона»[1].

Не обманула Пушкина и «американская демократия», казавшаяся многим притягательной силой «нового света»:

«...несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали уже давно решенными. Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве, — пишет Пушкин. — Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую, подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort)... рабство негров посреди образованности и свободы... Отношения штатов к индийским племенам, древним владельцам земли, ныне заселенной европейскими выходцами, подверглись также строгому разбору новых наблюдателей. Явная несправедливость, ябеда и бесчеловечие Американского Конгресса осуждены с негодованием... Остатки древних обитателей Америки скоро совершенно истребятся...»[2]

Пушкин жил и творил в эпоху крушения иллюзий о царстве разума, которое было провозглашено французскими просветителями, в эпоху утверждения на Западе новых капиталистических отношений, в эпоху укрепления буржуазии, уже показавшей миру свое истинное уродливое и беспощадное лицо.

«Пушкин знал все страдания цивилизованного человека, но у него была вера в будущее, которой человек Запада уже лишился», — писал о великом поэте Герцен.

Эта вера опиралась на любовь к русскому народу и истинное знание русского национального характера, позволявшие поэту провидеть будущее счастье и славу Родины. Ограниченный своей эпохой, Пушкин не знал конкретных путей к прекрасному будущему России, но он твердо и неколебимо, вопреки удушливой тьме николаев-

[1] А. С. Пушкин. Сочинения, стр. 736. Государственное издательство художественной литературы, Л. 1936.

[2] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 234—235. «Academia».

ской реакции, верил, что «России было определено высокое предназначение!». Пробуждая «чувства добрые» в свой «жестокий век» — век бесчеловечных отношений между людьми, век крепостнического насилия и царского произвола — великий гуманист Пушкин подавал голос «отдаленному будущему», предуказывал возможность иных человеческих отношений. Времени этому суждено было настать вместе с концом «предистории человечества», с образованием великого социалистического государства.

Недаром в своей исторической речи 6 ноября 1941 года величайший гений эпохи И. В. Сталин назвал имя Пушкина в ряду славнейших имен, олицетворяющих величие русской нации — нации Плеханова, и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова[1].

Постоянно подчеркивая «истинную народность» Пушкина, классик русской революционно-демократической критики Белинский писал: «Пушкин принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества. Каждая эпоха произносит о них свое суждение, и как бы ни верно поняла она их, но всегда останется следующей за нею эпохе сказать что-нибудь новое и более верное».

Неиссякаемый источник великих мыслей, неизмеримое поэтическое богатство раскрывает наша советская эпоха в творчестве великого русского национального поэта.

В наши дни сбылись пророческие слова поэта:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык.

Пушкина знают и любят, изучают и переводят все народности великого многонационального Советского Союза. Без творческой учебы у Пушкина нельзя себе представить становление сколько-нибудь значительного литератора многонациональной и многоязыкой советской литературы. «Народная тропа» к памятнику великого поэта не только не заросла, но стала широчайшим общенародным путем. Любовь к поэзии Пушкина нераздельно связана для нас с чувством Родины. Чудесный мир пушкинского творчества стал неотъемлемой частью создаваемой нами культуры нового коммунистического общества.

---

[1] И. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза, стр. 30, изд. 5, 1947.

ПУШКИН И МОЛОДЫЕ ПИСАТЕЛИ

К. БОГАЕВСКАЯ

★

Мы привыкли к образу Пушкина — родоначальника новой русской литературы, поэта, певца декабристов, критика. Мы знаем Пушкина — автора убийственных эпиграмм, метких характеристик и острых слов. Нам хорошо известен Пушкин — горячий и преданный друг своих лицейских товарищей и сподвижников юности. Известно исключительно доброжелательное отношение Пушкина к творчеству его старших товарищей и сверстников Известно, как он горячо поддерживал и приветствовал их новые произведения. Как он восторженно встретил перевод Гнедичем «Илиады» Гомера, с каким живым интересом он отнесся к первым историческим романам Загоскина. Как он одобрял слепца Козлова, ставшего поэтом после потери зрения. Как любовно он издавал произведения своего лицейского друга — декабриста Кюхельбекера, сосланного в Сибирь. Как он смело писал хвалебные отзывы о сочинениях Катенина, высланного в деревню, и о поэме декабриста Ф Н. Глинки. Как он поощрял поэтическую работу Дельвига, как высоко ставил поэзию Баратынского.

Мы знали о ряде фактов, касающихся работы Пушкина с молодыми писателями, но никогда не собирали их вместе и не делали из них никаких общих выводов. А между тем друзья и современники поэта в один голос говорят о его исключительно внимательном отношении к молодым талантам, о его желании помогать им, о его способности бескорыстно восхищаться ими и даже ставить чужой, часто слабый дар выше собственного гения. Друг поэта П. А. Плетнев писал: «Пушкин до пристрастия привязывался к каждому 'возникающему таланту». Близкий его приятель С. А. Соболевский, делая замечания на первую биографию Пушкина, написанную П. В. Анненковым, указывал, что тому надо было больше подчеркнуть «удивительное свойство» Пушкина — «совершенное отсутствие» профессиональной зависти и «милое, любезное, истинное... желание видеть дарование во всяком начале, поощрять его словом и делом и радоваться ему».

Пушкин не только своими произведениями открыл дорогу великим последователям, но и непосредственно, лично оказывал творческую поддержку молодым писателям.

Из русских писателей только Горький был в этом смысле равен Пушкину. Пушкин, как и Горький, сознавал свою роль ведущего писателя страны и чувствовал себя ответственным за судьбы родной литературы. Он неустанно стремился открывать новые таланты во всех литературных жанрах. «Всё должно творить в этой России и в этом русском языке»[1], — писал он еще в 1822 году.

Пушкиным воспитан такой гигант русской литературы, как Гоголь. Поэт первый заставил Гоголя посмотреть со всей серьезностью на свой дар. «Всё, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему, — говорил о Пушкине Гоголь. — Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни одна строка... не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим»[2].

Пушкин поддержал выдающееся дарование Кольцова и скромный дар поэта-кре-

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. VI, кн. I, стр. 30. Гослитиздат, 1948.

[2] Н. В. Гоголь. Письма. СПБ, [1901] т. I, стр. 434. Письмо к Погодину 30/III 1837.

стьянина Слепушкина. Он один из первых признал талант Тютчева, поместив в своем «Современнике» сразу двадцать три его стихотворения. Пушкин первый оценил критический гений молодого Белинского, сказав: «...он обличает талант, подающий большую надежду». Поэт пытался привлечь Белинского к сотрудничеству в своем «Современнике», но смерть помешала ему выполнить это намерение.

Среди писателей, встретивших поддержку великого поэта, мы видим и автора знаменитого толкового словаря русского языка — Даля. Пушкин помогал ему не только советами, но даже пополнял его словарь. Нельзя не вспомнить об участии Пушкина в создании популярной русской народной сказки «Конек-горбунок» Ершова, о подготовке им к печати записок участницы Отечественной войны 1812 года «кавалерист-девицы» Дуровой.

Пушкин встречал радостно всякое дарование, даже второстепенное, ибо он всегда стремился всемерно обогатить и развить русскую литературу. Поэт А. Н. Муравьев вспоминал: «Приветливо встретил меня Пушкин и показал живое участие к молодому писателю, без всякой литературной спеси или каких-либо следов протекции, потому что, хотя он и чувствовал всю высоту своего гения, но был чрезвычайно скромен в его заявлении»[1].

«Критика — наука открывать красоты и недостатки в произведениях искусств и литературы... Где нет любви к искусству, там нет и критики»[2], — говорит Пушкин в незаконченной статье 1830 года. Слова поэта перекликаются с воспоминаниями о нем декабриста И. Д. Якушкина: «О произведениях словесности он судил верно и с особенным каким-то достоинством. Не говоря почти никогда о собственных своих сочинениях, он любил разбирать произведения современных поэтов и не только отдавал каждому из них справедливость, но и в каждом из них умел отыскать красоты, каких другие не заметили»[3].

[1] А. Н. Муравьев. Знакомство с русскими писателями, стр. 11. 1871.

[2] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. VI, кн. 1, стр. 108. Гослитиздат, 1948.

[3] И. Д. Якушкин. Записки, стр. 50. 1905.

Он писал, например, малоизвестному поэту А. А. Шишкову: «Что стихи? Куда зарыл ты свой золотой талант? Под снега ли Эльбруса, под тифлисскими ли виноградниками? Если есть у тебя что-нибудь, пришли мне — право сердцу хочется»[1]. И таких примеров можно привести еще множество.

«Пушкин был не из тех себялюбивых чад века, которые свое я ставят выше истины. Это была высокая, благородная натура», — подтверждал в своих воспоминаниях Лажечников.

В этой статье собран материал о тридцати молодых писателях (поэтах, драматургах, прозаиках, критиках, историках, мемуаристах), которым Пушкин оказал поддержку и помощь. Собранные вместе, они с новой стороны освещают образ нашего величайшего поэта.

Н. В. ГОГОЛЬ

Летом 1831 года Пушкин познакомился с молодым, еще не известным Гоголем. Великий поэт восторженно приветствовал первую книгу повестей Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». В письме к журналисту А. Ф. Воейкову он сообщал: «Сей час прочел Вечера близь Диканьки! Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Всё это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались Вечера, то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселою книгою, а Автору сердечно желаю дальнейших успехов»[2].

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 75. Изд. Академии наук СССР, 1937.

[2] А. С. Пушкин. Письма. Под редакцией Л. Б. Модзалевского, т. III, стр. 47. 1935.

Об исключительном внимании Пушкина и о его решающем влиянии на судьбу и расцвет творчества великого писателя-реалиста вспоминал Гоголь, говоря о своей молодости, в «Авторской исповеди» (1847). «Чтобы развлекать себя самого... я выдумал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза... Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно. Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение и, наконец, один раз, после того, как я ему прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего мной прежде читанного, он мне сказал: «Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью, не приняться за большое сочинение! Это просто грех!» Вслед за этим начал он представлять слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано; привел мне в пример Сервантеса, который, хотя и написал несколько очень замечательных и хороших повестей, но если бы не принялся за Дон-Кихота, никогда бы не занял того места, которое занимает теперь между писателями. И в заключение всего, отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то в роде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет «Мертвых душ» (мысль «Ревизора» принадлежит также ему)»[1].

До конца жизни Пушкин неизменно содействовал Гоголю во всех его литературных начинаниях и высоко ценил его дар. В 1836 году он привлек его, как одного из главных сотрудников, в свой литературный журнал «Современник». Сам Гоголь писал о своих отношениях с Пушкиным после получения известия о смерти поэта: «Никакой вести хуже нельзя было получить из России. Всё наслаждение моей жизни, всё мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его пред собою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое — вот что меня только занимало и одушевляло мои силы»[1].

А. В. КОЛЬЦОВ

Весной 1836 года приехал из Воронежа в Петербург молодой Кольцов. С отроческих лет благоговея перед Пушкиным, он долго не решался итти к нему и пошел только после вторичного приглашения, переданного ему великим поэтом. Товарищ Кольцова А. Юдин так описывает (со слов самого Кольцова) их встречу: «Это было незадолго до смерти Пушкина. Кольцов говорил, что вид его был поразителен: худой, черный, со впалыми глазами и со всклокоченными волосами, он работал в своем кабинете. Множество книг и горы рукописей лежали пред ним. Казалось, говорил Кольцов, Пушкин предчувствовал свою близкую кончину и спешил воспользоваться кратким временем, назначенным ему судьбою, трудился день и ночь, никуда не выезжал и никого к себе не принимал, исключая самых коротких своих друзей. Едва Кольцов сказал ему свое имя, как Пушкин схватил его за руку и сказал: «Здравствуй, любезный друг! Я давно желал тебя видеть». Кольцов пробыл у него довольно долго, и потом был у него еще несколько раз. Он никому не говорил, о чем он беседовал с Пушкиным, и когда рассказывал о своем свидании с ним, то погружался в какое-то размышление»[2].

Вскоре после этого свидания Пушкин напечатал во 2-м номере «Современника» стихотворение Кольцова «Урожай». На гибель Пушкина Кольцов откликнулся одним из лучших своих произведений — «Лес» («Что, дремучий лес, призадумался») и письмом к Краевскому, написанным в виде стихотворения в прозе. В 1841 году,

---

[1] Н. В. Гоголь. Сочинения т. IV, стр. 248—249. Изд. 10-е, М., 1889.

[1] Н. В. Гоголь. Письма. СПБ, [1901], т. 1, стр. 432. Письмо к Плетневу 16/III 1837.

[2] «Опыты в сочинениях студентов имп. Харьковского университета», т. 1, стр. 221. 1846.

за год до безвременной смерти, вспоминая свою жизнь, Кольцов писал: «Если литература дала мне что-нибудь, то именно вот что: я видел Пушкина...»

В. И. ДАЛЬ, П. П. ЕРШОВ

В 1832 году В. И. Даль, увлекавшийся изучением русского народного языка и быта, выпустил в свет книгу «Русские сказки» под псевдонимом казака Луганского. Сказки Даля имели большой успех в литературных кругах, но совершенно неожиданно послужили поводом для ареста их автора. Агент III отделения Булгарин подал донос на Даля, извратив содержание двух сказок. Книга была тотчас же изъята. Дело закончилось благополучно только благодаря вмешательству поэта Жуковского. По словам биографа Даля П. И. Мельникова, Пушкин был в восхищении от его сказок и подарил Далю рукопись своей «Сказки о рыбаке и рыбке» с надписью: «Твоя от твоих! Сказочнику казаку Луганскому сказочник Александр Пушкин». Во время трехдневного пребывания Пушкина в Оренбурге в 1833 году поэт сообщил Далю народную сказку, услышанную им, очевидно, в этих же местах: «О Георгии Храбром и о волке». Даль опубликовал ее в том же году в альманахе «Новоселье».

Рассказывая в своей автобиографии историю замысла толкового словаря, Даль вспоминал: «я... убедился вскоре, что мы русского языка не знаем, я не пропустил дня, чтобы не записать речь, слово, оборот на пополнение своих запасов»[1]. По словам Даля, Пушкин «горячо поддерживал» его работу. То же подтверждает и историк литературы П. И. Бартенев, лично знавший многих современников поэта: «Сближение с Жуковским, а через чего с Пушкиным утвердило Даля в мысли собрать словарь живого народного русского языка. В особенности Пушкин деятельно ободрял его, перечитывал вместе с ним его сборник и пополнял своими сообщениями». Знаменитый труд Даля, сокровищница русского народного языка—«Толковый словарь», выдержавший пять изданий (последнее — в 1935 году), создавался, как видим, также при горячем содействии Пушкина, без которого не обходилось почти ни одно литературное начинание его времени.

Непосредственное отношение имел Пушкин также к созданию известной русской народной сказки П. П. Ершова «Конек-горбунок». По словам первого издателя ее, книгопродавца А. Ф. Смирдина, Пушкин написал зачин сказки (первые 4 стиха) и тщательно ее всю просмотрел и исправил. Сам Ершов вспоминал впоследствии, что Пушкин, прочитав его сказку, сказал: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить». Биограф и друг Ершова А. К. Ярославцев сообщает еще: «Пушкин заявил, в то же время, намерение содействовать Ершову в издании этой сказки, с картинками, и выпустить ее в свет по возможно дешевой цене, в огромном количестве экземпляров, для распространения в России»[1]. Здесь видна забота Пушкина о широком распространении доступной для народа художественной литературы, еще не существовавшей в то время. Но замысел этот не осуществился из-за преждевременной гибели поэта.

Н. М. ЯЗЫКОВ

Гоголь вспоминал о том, как отозвался великий поэт на посвященное 1812-му году послание Языкова к герою-партизану Отечественной войны Денису Давыдову: «Живо помню восторг его в то время, когда прочитал он стихотворение Языкова к Давыдову... В первый раз увидел я тогда слезы на лице Пушкина».

С поэзией Языкова Пушкин познакомился еще в 1823 году и тогда же писал Дельвигу: «Разделяю твои надежды на Языкова». В сентябре 1824 года Пушкин приглашал Языкова из Дерпта, где тот учился в университете, в Михайловское; в стихотворном послании к нему Пушкин писал:

Издревле сладостный союз
Поэтов меж собой связует:
Они жрецы единых муз;
Единый пламень их волнует;
Друг другу чужды по судьбе,
Они родня по вдохновенью.
Клянусь Овидиевой тенью:
Языков, близок я тебе...

[1] Я. К. Грот. Труды, т. III, стр. 397. СПБ, 1899.

[1] А. К. Ярославцев. П. П. Ершов, стр. 2—3. СПБ. 1872.

Языков ответил на приветствие Пушкина посланием: «А. С. Пушкину» («Не вовсе чуя бога света»). Сам же он приехал в Михайловское лишь два года спустя и провел там шесть недель; здесь закрепилась дружба между ним и Пушкиным. О ней говорят стихи, обращенные Языковым к Пушкину («О ты, чья дружба мне дороже приветов ласковой молвы»), и ответное послание Пушкина:

Языков, кто тебе внушил
Твое посланье удалое?
Как ты шалишь, и как ты мил,
Какой избыток чувств и сил,
Какое буйство молодое!..

Пушкин на всю жизнь сохранил самое дружественное отношение к Языкову и высоко ценил его творчество. Прочтя стихотворение «Тригорское», в котором Языков изображал их совместную жизнь в Михайловском и Тригорском, Пушкин писал в ноябре 1826 года: «Сей час видел в а ш е Тригорское — спешу обнять и поздравить вас. Вы ничего лучшего не написали, но напишете — много лучшего»[1]. Языков дважды возвращался к описанию своего пребывания у Пушкина в Михайловском в стихотворениях: «К няне А. С. Пушкина» (1827) и «На смерть няни А. С. Пушкина» (1830).

В 1836 году, приглашая Языкова сотрудничать в своем «Современнике», Пушкин писал ему: «Ваши стихи: вода живая; наши—вода мертвая; мы ею окатили «Современника»: опрысните его Вашими кипучими каплями»[2].

Д. В. ВЕНЕВИТИНОВ, С. П. ШЕВЫРЕВ

В сентябре 1826 года, возвращенный Николаем I из ссылки, Пушкин приехал в Москву уже знаменитым поэтом. Он был восторженно встречен представителями культурного общества. Первые дни московской жизни поэта были ознаменованы многократным чтением им «Бориса Годунова». Свою трагедию он читал и в дружеском кругу, и в большом обществе в доме Веневитиновых. На почве этих чтений и произошло первое знакомство и сближение Пушкина с новым поколением поэтов, выросших в его отсутствие. Д. В. Веневитинов, С. П. Шевырев, А. С. Хомяков—20-летние юноши, только что начинавшие печататься, будущий критик И. В. Киреевский, драматург и беллетрист М. П. Погодин — вот первые слушатели «Бориса Годунова». Погодин вспоминал впоследствии об этом чтении: «Первые явления выслушаны тихо и спокойно или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались... Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго, и потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления. Эван, эвое, дайте чаши!.. Явилось шампанское, и Пушкин одушевился, видя такое свое действие на избранную молодёжь».

С этих пор начинается постоянное дружеское общение Пушкина с этой молодежью и его интерес к ее творчеству. Поэт принимает близкое участие в организации нового журнала «Московский Вестник», задуманного Веневитиновым, во главе которого стали Погодин и Шевырев. Он обещает быть постоянным сотрудником молодого журнала, чтобы своим именем поддержать его и создать ему популярность. Первый номер «Московского Вестника» открывается сценой из «Бориса Годунова» (В Чудовом монастыре). Пушкин печатает здесь отрывки из «Евгения Онегина», стихотворения «Жених», «Утопленник» и многое другое. Но искреннее доброжелательство и увлечение молодыми талантами не мешало Пушкину видеть в них отрицательные стороны. Между ним и ведущими сотрудниками «Московского Вестника» при более тесном общении возникли идейные разногласия. Молодые «любомудры», как они себя называли, были проникнуты духом идеалистической философии, что сказалось и в направлении журнала и во взгляде их на предназначение поэта. Никогда, даже в период своего увлечения романтизмом, Пушкин не проявлял ни малейшего интереса к идеалистической философии. В марте 1827 года он с раздражением писал Дельвигу: «Ты пеняешь мне за

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 305. Изд. Академии наук СССР, 1937.

[2] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. XVI, стр. 105. Изд. Академии наук СССР, 1949.

«Московский Вестник» — и за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее; да что делать? собрались ребята теплые, упрямые; поп свое, а чорт свое... «Московский Вестник» сидит в яме и спрашивает: веревка вещь какая?.. А время вещь такая, которую с никаким Вестником не стану я терять»[1].

Идеалистический взгляд на поэта, как на божественное существо, чуждое обыденной жизни, наиболее ярко был выражен в стихотворении Веневитинова «Поэт» (1826). И стихотворение Пушкина «Поэт» («Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...»), напечатанное им в том же «Московском Вестнике» 1827 года, было связано, как можно думать, со спорами, которые великий поэт вел в кругу «Московского Вестника». Пушкин вообще подчеркивал не раз, что он отделяет себя от «любомудров».

Великий поэт не переставал ценить одаренных молодых писателей. В статье об альманахе «Денница на 1830 год» он с уважением упоминает «молодую школу московских литераторов», выдвинувшую Шевырева, Киреевского и Веневитинова, «так рано оплаканного друзьями всего прекрасного». Веневитинов, не достигнув двадцати двух лет, умер в марте 1827 года от «нервической горячки». Здоровье его было подорвано неожиданным арестом: он был заключен на несколько дней в Петропавловскую крепость, будучи заподозрен в близости к декабристам. В разговоре с А. П. Керн Пушкин, вспоминая Веневитинова, жалел о том, «что так рано умер чудный поэт».

Пушкин высоко ценил также поэзию молодого Шевырева: его «Мысль» он назвал «одним из замечательнейших стихотворений текущей словесности». Однако, когда Шевырев начал переходить с позиций передового деятеля на позиции реакционера, Пушкин отошел от него.

М. П. ПОГОДИН, И. В. КИРЕЕВСКИЙ

Ближе других сотрудников «Московского Вестника» стоял к Пушкину М. П. Погодин, выходец из крестьянской среды. Поэт ценил в нем трудолюбие, знания, серьезный интерес к русской истории; его сближало с ним и отличающее Погодина от остальных сотрудников «Московского Вестника» равнодушие последнего к идеалистической немецкой философии. При первой же встрече Пушкин ласково сказал Погодину: «Мы с вами давно знакомы и мне очень приятно утвердить и укрепить наше знакомство». Пушкин высоко ставил исторические трагедии Погодина «Петр I» и «Марфа Посадница»; о последней он неоднократно отзывался восторженно. Поэт деятельно содействовал Погодину в издании его трагедии, пытался привлечь его к участию в работе над историей Петра I, которой сам был занят последние годы жизни, а также приглашал его сотрудничать в «Современнике».

И. В. Киреевского, как незаурядного литературного критика, Пушкин оценил после его статьи «Обозрение русской словесности 1829 года» (положительный разбор этой статьи поэт поместил в своей рецензии на альманах «Денница», напечатанной в «Литературной Газете»). Когда же Киреевский в 1831 году задумал издавать журнал, то с просьбой поддержать его начинание он прежде всего обратился к Пушкину. (Киреевский писал С. А. Соболевскому: «В Пушкине нашел еще больше, чем ожидал: такого мозгу кажется не вмещает уже ни один русский череп»). Великий поэт приветствовал издание Киреевского и предлагал «служить» новому журналу «прозой и стихами». Пушкин послал Киреевскому отрывок из «Домика в Коломне», но журнал последнего был запрещен после выхода второй книжки, из-за «неблагонадежности» издателя. Поэт чрезвычайно сожалел об этом.

В. Ф. ОДОЕВСКИЙ, В. П. ТИТОВ

В 1832 году Пушкин познакомился с писателем и критиком В. Ф. Одоевским, к произведениям которого он относился одобрительно еще с середины 1820-х годов. Особенно высоко оценил поэт повесть Одоевского «Последний квартет Бетховена». 21 февраля 1831 года приятель Одоевского публицист А. И. Кошелев писал ему: «Пушкин весьма доволен твоим Квартетом Бетховена. Он говорит, что это не только лучшая из твоих печатных пьес... но что едва когда-либо читали на

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 320. Изд. Академии наук СССР, 1937.

русском языке статью столь замечательную и по мыслям, и по слогу. Он бесится, что на нее обращают мало внимания». Подобная оценка не мешала Пушкину подсмеиваться над не очень удачными фантастическими повестями Одоевского и называть его шутя «гофманской каплей» за чрезмерное увлечение фантастикой Гофмана. Впоследствии Одоевский стал одним из наиболее близких сотрудников «Современника», а после смерти поэта принимал деятельное участие в издании журнала.

В 1829 году молодой писатель В. П. Титов напечатал, под псевдонимом Тит Космократов, в альманахе «Северные Цветы» фантастическую повесть из петербургской жизни — «Уединенный домик на Васильевском». Только пятьдесят лет спустя из письма самого же Титова стало известно об участии Пушкина в создании этой повести: «В строгом историческом смысле это вовсе не продукт Космократова, а Александра Сергеевича Пушкина, мастерски рассказавшего всю эту чертовщину уединенного домика на Васильевском острове, поздно вечером, у Карамзиных... Апокалипсическое число 666, игроки-черти, метавшие на карту сотнями душ, с рогами, зачесанными под высокие парики, — честь всех этих вымыслов и главной нити рассказа принадлежит Пушкину. Сидевший в той же комнате Космократов подслушал, воротясь домой, не мог заснуть всю ночь и несколько времени спустя положил с памяти на бумагу. Не желая, однако, быть ослушником ветхозаветной заповеди «не укради», пошел с тетрадью к Пушкину в гостиницу «Демут», убедил его прослушать от начала до конца, воспользовался многими, поныне очень памятными его поправками и потом, по настоятельному желанию Дельвига, отдал в «Северные Цветы». Великий поэт снисходительно отнесся к поступку молодого литератора, самочинно заимствовавшего у него сюжет занимательного рассказа, и даже, как видим, помог ему в литературной обработке его.

Ф. Н. СЛЕПУШКИН

В 1826 году вышел в свет сборник стихотворений крепостного крестьянина-самоучки, начинающего, хотя и немолодого поэта Ф. Н. Слепушкина «Досуги сельского жителя». Пушкин получил его в Михайловском и тотчас откликнулся в письме к Дельвигу 20 февраля 1826 года: «Видел я и Слепушкина, неужто никто ему не поправил Святки, Масленицу, Избу? У него истинный, свой талант; пожалуйста, пошлите ему от меня экз. Руслана и моих Стихотворений—с тем, чтоб он мне не подражал, а продолжал итти своей дорогою»[1]. В марте того же года Пушкин писал Великопольскому: «Стихотворения Слепушкина получил и перечитываю всё с бо́льшим и бо́льшим удивлением. Ваша прекрасная мысль об улучшении состояния поэта-крестьянина, надеюсь, не пропадет»[2]. В 1827 году в Петербурге поэт виделся со Слепушкиным (а может быть, и лично посетил его в селе Рыбацком — в 15-ти верстах от города). О продолжительном интересе Пушкина к крестьянскому поэту свидетельствует запись в дневнике журналиста Б. М. Федорова от 12 мая 1828 года, посвященная Пушкину: «Собирается к Слепушкину в Рыбацкое с Мицкевичем».

В одной из рабочих тетрадей Пушкина сохранилось незаконченное стихотворение «Всем красны боярские конюшни», написанное в августе—октябре 1827 года; в этих стихах говорится о проказах молодого конюха, приписанных домовому. В 2-м же издании «Досугов сельского жителя» (1828) появилось новое стихотворение Слепушкина «Конь и домовой», датированное 3 декабря 1827 года. А в предисловии к сборнику было указано: ...«Конь и домовой» сочинена Слепушкиным по задаче Александра Сергеевича Пушкина». Из этого можно сделать вывод, что Пушкин лично виделся со Слепушкиным в конце 1827 года и уступил ему свой сюжет для стихотворения «Конь и домовой». Существует предание об участии Пушкина в выкупе Слепушкина из крепостной неволи. В библиотеке поэта сохранилась книга Слепушкина «Четыре времени года русского поселянина» (СПБ, 1830) с дарственной надписью от автора: «В знак истинного почитания и благодарности».

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 262—263. Изд. Академии наук СССР, 1937.

[2] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 268. Изд. Академии наук СССР, 1937.

Поэзия Пушкина, благодаря своей гениальной простоте, уже при жизни поэта была близка и дорога читателям, выдвинувшимся из народной среды. Неизвестный крестьянский юноша-поэт Борисов говорил в 1826 году Погодину, что Пушкин ему ближе всех остальных поэтов: «Он — прямо в сердце, а другие — мимо сердца».

Д. Т. ЛЕНСКИЙ, Н. И. КУЛИКОВ

Н. И. Куликов, ныне совершенно забытый, но в свое время довольно популярный водевилист и режиссер Александринского театра, познакомился в 1830-х годах с Пушкиным и был свидетелем встречи поэта с известным актером и драматургом Д. Т. Ленским (Воробьевым). Ленский, выходец из купеческой семьи, страстно мечтавший о сцене, против желания отца пробился на театр. В своих воспоминаниях Куликов рассказывает о том, как Пушкин, в одну из своих поездок в Москву, гуляя с Нащокиным и осматривая только что отстроенный воздушный театр, встретился в Нескучном саду с актерами. Нащокин подвел к Пушкину молодого артиста Ленского: «Я очень желал познакомиться с вами, Дмитрий Тимофеевич! — сказал поэт. — Я с удовольствием смотрел вашу пьесу «Хороша и дурна», в ней нет и тени французского оригинала: от господ до слуг, по характерам, по разговорам — всё чисто русское! Прекрасно, прекрасно! Вот я и хотел вам посоветовать, просить вас, не переводить, не переделывать, а сочинять... у вас все данные есть на это и талант и знание сцены... послушайтесь, пойми те...» Ленский возразил, что не может сам придумать сюжетов. — «Не могу-ли я в этом помочь вам? Возьмите любую из моих повестей: «Барышня-крестьянка», «Станционный смотритель», особенно «Выстрел», мне кажется годятся для сцены?» Едва ли Куликов с полной точностью передает в своих воспоминаниях слова поэта. Но здесь ценно, что он сохранил мысли поэта и донес до нас ободрение, которым встретил Пушкин писателя-самоучку. В этом разговоре Пушкина с Ленским важно отметить страстное желание великого поэта увидеть расцвет самостоятельной русской драматургии.

Куликов вспоминает одобрительное отношение Пушкина и к его собственным. стихотворным опытам Он рассказывает о своей встрече с поэтом: «Александр Сергеевич взял меня под руку, ввел во вторую комнату, посадил на диван, сам сел с правой стороны, поджав по турецки ноги, и сказал: «Кайся, юный грешник!..» По прочтении письма к Ленскому, Александр Сергеевич сказал свое всегдашнее словцо: «Ну, вот и прекрасно, и очень хорошо». Из второго письма к сестре, после описания сна, где я видел, между прочим:

Друзей, начальников, врагов...

указательный перст поэта быстро длинным ногтем чертил по запятой, как бы выскабливая ее! «Запятую прочь! маленькое тире, знак соединительный: начальники-враги — слова однозначущие!..» По окончании чтения благодушный судья сказал: «Вот мой приговор: можете напечатать эти стихи с подписью: Александр Пушкин... я протестовать не буду». Я, конечно, понимаю теперь, что всё это было снисхождением великой души, но можете вообразить, какой восторг был в душе человека, на 21 году возраста!»[1].

В. Г. БЕНЕДИКТОВ

Безукоризненное литературное чутье никогда не изменяло Пушкину. Поэт, верный действительности, отвергал поэзию искусственную, лишенную глубокого содержания, бьющую только на внешний эффект. Характерна и показательна в этом смысле его холодность к В. Г. Бенедиктову, дебютировавшему в 1835 году книгой «Стихотворения». Бенедиктов имел шумный успех, юноши бредили им, даже Жуковский видел в нем великого поэта. По словам И. И. Панаева: «Один Пушкин остался хладнокровным, прочитав Бенедиктова, и на вопросы: какого он мнения о новом поэте?—отвечал, что у него есть превосходное сравнение неба с опрокинутой чашей; к этому он ничего не прибавлял более»[2]. Биограф Бенедиктова Я. П. Полонский сообщал: «Бенедиктов рассказывал в одном доме, что, благоговея перед Пушкиным, он послал ему книжку своих стихотворений и

[1] Н. И. Куликов. А. С. Пушкин и П. В. Нащокин. «Русская старина», № 8, стр. 601—602. 1881.

[2] И. И. Панаев. Литературные воспоминания, стр. 116, М.-Л., 1928.

затем хотел сделать ему визит — но по пути к нему встретил его на улице, и Пушкин, очень любезно поблагодарив его за стихи, сказал: «У вас удивительные рифмы — ни у кого нет таких рифм. Спасибо, спасибо»[1]. Похвала, не лестная для автора. И. С. Гагарин, которому стихи Бенедиктова, видимо, нравились, бывая на субботах Жуковского, писал в марте 1836 года Тютчеву о Бенедиктове: «Пушкин, который молчит при посторонних, нападает на него в маленьком кружке с ожесточением и несправедливостью». Не случайно сошелся с Пушкиным во взгляде на нового поэта молодой Белинский, напечатавший, в том же году, уничтожающую статью о поэзии Бенедиктова.

«Современник»

КАЗЫ-ГИРЕЙ, В. Г. ТЕПЛЯКОВ, Ф. И. ТЮТЧЕВ

В 1836 году Пушкин начал издавать давно задуманный им литературный журнал «Современник». К сотрудничеству в нем он привлек Гоголя, Жуковского, Вяземского, Языкова, Д. Давыдова, Боратынского и других. Но, кроме них, на страницах «Современника» появляются новые, дотоле не известные имена.

В журнале Пушкина, впервые в истории русской литературы, печатается представитель одного из кавказских народов — черкес Султан Казы-Гирей, корнет кавказско-горского эскадрона. Пушкин поместил в первом номере «Современника» повесть Казы-Гирея «Долина Ажитугай» со следующим послесловием: «Вот явление, неожиданное в нашей литературе! Сын полудикого Кавказа становится в ряды наших писателей; черкес изъясняется на русском языке свободно, сильно и живописно. Мы ни одного слова не хотели переменить в предлагаемом отрывке». Во втором номере «Современника» Пушкин напечатал еще «Персидский анекдот» Казы-Гирея. Из-за «Долины Ажитугай» у поэта были серьезные неприятности—он получил выговор от шефа жандармов Бенкендорфа за помещение произведения военнослужащего без разрешения на то высшего начальства.

В 1836 году вышел в свет сборник элегий В. Г. Теплякова. Автор их в свое время был выслан из Петербурга за «неблагонадежность». В третьем номере «Современника» Пушкин напечатал положительную рецензию на книгу Теплякова еще до выхода ее в свет. Сделав ряд критических замечаний, Пушкин в следующих словах характеризовал творчество молодого поэта: «Главные достоинства «Фракийских элегий»: блеск и энергия; главные недостатки: напыщенность и однообразие». В заключение он, отметив недостатки молодого поэта, говорит: «Если бы г. Тепляков ничего другого не написал, кроме элегии Одиночество и станса Любовь и ненависть, то и тут занял бы он почетное место между нашими поэтами».

В третьем и четвертом номерах «Современника» было напечатано (за подписью: Ф. Т.) 23 стихотворения Тютчева (в том числе ряд его лучших вещей: «Фонтан», «Silentium» и другие). И хотя до нас не дошли прямые пушкинские высказывания о них, самый факт одновременной публикации в журнале Пушкина такого количества стихотворений мало известного в то время поэта — случай совершенно необычайный и красноречиво говорящий сам за себя.

ПЕРЕВОДЧИКИ С. Н. ДИРИН И Э. И. ГУБЕР

Пушкин с равным вниманием встречал приходящих к нему за помощью литераторов, были ли то писатели признанные, занимающие заметное положение в обществе, или никому не известные и робкие юноши. И. И. Панаев в своих «Литературных воспоминаниях» пишет о скромном переводчике С. Н. Дирине, которого Пушкин горячо поддержал. «Дирин был в восхищении от приёмов Пушкина, от его приветливости и внимательности. Пушкин, действительно, по словам всех литераторов, имевших с ним сношения, был очень прост, любезен и до утонченности вежлив в обхождении, никому не давая чувствовать своего авторитета»[1]. Впоследствии поэт напечатал свой положительный отзыв о переводе Дирина в третьем номере «Современника».

Об участии Пушкина в первом полном переводе Э. И. Губером гётевского «Фа-

[1] В. Г. Бенедиктов. Сочинения, стр. XIII, СПБ, 1902.

[1] И. И. Панаев. Литературные воспоминания. стр. 62—63. М.-Л. 1928.

уста» (ч. I) писали биограф Пушкина Анненков, И. И. Панаев и Кольцов. (Известно, что Пушкин ценил «Фауста», как «величайшее создание поэтического духа»).

В начале 1836 года Губер сообщал своему брату: «Я весьма коротко познакомился с Пушкиным, который весьма ободряет мои произведения, особенно перевод «Фауста», за которым я сидел почти пять лет; в прошедшем году он был готов, но цензура его не пропустила, и я с досады разорвал рукопись. В нынешнем году я по настоянию Пушкина начал его во второй раз переводить... ежели я решусь вступить в журнальный цех, то я, конечно, изберу партию Пушкина»[1]. По словам Губера, Пушкин сам перевел некоторые места из «Фауста». Наиболее полный рассказ об этом эпизоде находим в «Воспоминаниях об Э. И. Губере» его друга М. Н. Лонгинова:

«Пушкин узнал, что какой-то молодой человек переводил «Фауста», но сжег свой перевод, как неудачный. Великий поэт, как известно, встречал радостно всякое молодое дарование, всякую попытку, от которой литература могла ожидать пользы. Он отыскал квартиру Губера, не застал его дома, и можно себе представить, как удивлен был Губер, возвратившись домой и узнавши о посещении Пушкина. Губер отправился сейчас к нему, встретил самый радушный приём и стал посещать часто славного поэта, который уговорил его опять приняться за «Фауста», читал его перевод и делал на него замечания. Пушкин так нетерпеливо желал окончания этого труда, что объявил Губеру, что не иначе будет принимать его, как если он каждый раз будет приносить с собой хоть несколько стихов «Фауста». Работа Губера пошла успешно и он собирался посвятить перевод свой Пушкину, который обнадежил его в преодолении трудностей, казавшихся невозможными для его сил. Но судьба решила иначе. «Фауст» еще не был кончен, когда Пушкина не стало»[2]. После смерти Пушкина Губер писал: «Не могу не упомянуть, с какою милою обходительностью, с каким ласковым простодушием Пушкин принимал начинающих литераторов». «Любовь Пушкина ко мне, его влияние на литературу вообще не кончилось с его жизнью...». В 1838 году Губер закончил свой перевод и издал его с посвящением «незабвенной памяти А. С. Пушкина», приложив к нему и стихотворение, начинавшееся строками:

Когда меня на подвиг трудный
Ты улыбаясь вызывал,
Я верил силе безрассудной
И труд могучий обещал.

С тех пор один, вдали от света,
От праздной неги бытия,
Благословением Поэта
В ночных трудах крепился я...

. . . . . .
Ты разбудил немые силы,
Ты завещал мне новый свет —
И я к дверям твоей могилы
Несу незрелый, бледный цвет.

В предисловии он писал: «Некоторые уцелевшие отрывки этого перевода познакомили меня с Пушкиным; им я обязан счастливыми минутами, проведенными мною в беседе с человеком, который любил и ценил всё изящное, всё прекрасное. Эти минуты навсегда останутся в памяти моей, как грустное воспоминание об утраченном невозвратимом счастии. Пушкин ободрил меня ко второму переводу... Живое участие, советы и одобрения нашего Поэта воспламеняли меня новыми силами при этом новом труде».

ЗАПИСКИ И ВОСПОМИНАНИЯ

Глубоко интересуясь русской историей, Пушкин придавал большое значение мемуарам и запискам выдающихся деятелей прошлого и своих современников. В «Путешествии в Арзрум» он с горечью писал, вспоминая Грибоедова: «Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов».

17 мая 1836 года Пушкин подарил знаменитому актеру М. С. Щепкину тетрадь для записок, в которую вписал своей рукой начальные строки:

«Записки актера Щепкина.

Я родился в Курской губернии Обоянского уезда в селе Красном, что на речке Пенке».

[1] Э. И. Губер. Сочинения, т. III, стр. 268. СПБ, 1860.

[2] М. Н. Лонгинов. Сочинения, т. I, стр. 316. М. 1915.

Щепкин благоговейно хранил эту тетрадь всю жизнь, и, как известно, написал, благодаря настояниям Пушкина, свои интереснейшие «Записки крепостного актера».

Когда лицейский товарищ поэта моряк Матюшкин отправлялся в кругосветное путешествие, Пушкин разъяснял ему, как следует вести путевые записки и на чем преимущественно останавливать свое внимание. Поэт неоднократно советовал своему другу П. В. Нащокину, человеку яркому и самобытному, написать мемуары. В 1830 году он даже начал записывать их под диктовку автора. Нащокин начал свои записки словами: «Любезный Александр Сергеевич! Повинуясь твоему желанию я начал писать свои воспоминания». Начало их он переслал в Петербург. Эти записки дошли до нас с поправками поэта, который, повидимому, собирался публиковать их в «Современнике»

Подружившись летом 1831 года с фрейлиной А. О. Россет (по мужу Смирновой), Пушкин восхищался ее блестящим умом, остроумием и умением хорошо рассказывать. Он упрашивал ее писать мемуары и подарил ей в 1832 году альбом, на первом листе которого написал: «Исторические записки А. О. С***» и в виде эпиграфа поставил как бы принадлежащие самой Смирновой стихи:

В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Я сохранила взгляд холодный,
Простое сердце, ум свободный
И правды пламень благородный
И, как дитя, была добра...

В 1833 году поэт обращался к генералу А. П. Ермолову, предлагая ему быть издателем его записок и выражая готовность написать историю его походов.

Летом 1835 года Пушкин заинтересовался воспоминаниями Н. А. Дуровой, «кавалерист-девицы», участвовавшей в Отечественной войне в 1808—1815 годах под именем Александрова. Поэт предложил ей издать ее записки и был внимательным редактором их. В марте 1836 года он писал брату Дуровой, что готов всё сделать, чтобы помочь изданию, и восхищался записками: «Прелесть! Живо, оригинально, слог прекрасный. Успех несомнителен». В июне он ободрял Дурову словами: «Будьте смелы — вступайте на поприще литературное столь же отважно, как и на то, которое вас прославило. Полу-меры никуда не годятся»[1]. Часть Записок Дуровой о 1812 — 1813 годах поэт поместил во втором номере «Современника» с небольшим дружественным предисловием.

В. Д. СУХОРУКОВ

Во время своей поездки в Арзрум летом 1829 года Пушкин встретился на Кавказе с высланным за близость к декабристам В. Д. Сухоруковым, другом Рылеева и Бестужева, о котором он не побоялся упомянуть в V главе «Путешествия в Арзрум»: «Вечера проводил я с умным и любезным С[ухоруковым]; сходство наших занятий сближало нас. Он говорил мне о своих литературных предположениях, о своих исторических изысканиях, некогда начатых им с такою ревностию и удачей». Характеристику отношения Пушкина к Сухорукову оставил М. В. Юзефович: «Надо было видеть нежное участие, какое он оказывал донцу Сухорукозу, умному, образованному и чрезвычайно скромному литературному собрату, который имел несчастие возбудить против себя гонение тогдашнего военного министра Чернышева, по подозрению в какой-то интриге, по делу о преобразовании войска донского. У него, между прочими преследованиями, отняты были все выписки, относившиеся к истории Дона, собранные им в то время, когда он рылся в архивах, по поручению Карамзина. Пушкин, узнав об этом, чуть не плакал и всё думал, как бы, по возвращении в Петербург, выхлопотать Сухорукову эти документы». Поэт не забыл в Петербурге своего случайного знакомца. В 1831 году, очевидно узнав, что положение дел Сухорукова не изменилось, Пушкин подал записку в III отделение с просьбой возвратить Сухорукову собранные им материалы по истории донских казаков, которую поэт охарактеризовал, как «труд, важный не только для России, но и для всего ученого света». В 1836 году Пушкин приглашал Сухорукова сотрудничать в «Современнике».

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. XVI, стр. 99 и 126. Изд. Академии наук СССР. 1949.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПУШКИНА

В самый тяжелый, последний месяц своей жизни, затравленный светским обществом, измученный и оскорбленный, поэт всё же находил время и силы попрежнему принимать участие в судьбе молодых поэтов. За три недели до роковой дуэли с Дантесом у Пушкина были два юных посетителя. Первый — Облачкин, 14-летний мальчик из купечества, в среде которого преследовали его за занятие поэзией, как за пустое дело. Он пришел к Пушкину самостоятельно, без всякого посредничества. Вот как рассказывал Облачкин через 27 лет о приёме, оказанном ему Пушкиным:

«Я... не шутя воображал себя поэтом... Решился обратиться к Пушкину и в один прекрасный или непрекрасный день пришел к великому поэту. Когда я входил в переднюю, из кабинета его вышел повар... Я отдал ему тетрадь моих стихов для передачи Александру Сергеевичу, а за ответом хотел зайти через неделю. Но не успел пройти и сорока шагов от дому, где жил Пушкин, как тот же самый повар остановил меня:

— Пожалуйте к барину, он вас покорнейше просит.

— Очень благодарен. Неужели же он успел что-нибудь прочесть в моей тетради?

— Да-с, он заглянул в нее.

Едва вошел я опять в переднюю, тотчас услышал голос Пушкина. Он вскрикнул:

— Василий, это ты?

— Точно так, я, — отвечал повар.

— А г. Облачкин?

— Здесь.

— Пожалуйте сюда, пожалуйте, — звал меня Пушкин, и голос его был до того радушен и до того симпатичен, что я весь затрепетал от радости и никогда не забуду этой счастливой минуты...» Выслушав Облачкина, Пушкин посоветовал ему написать просьбу об устройстве своей участи: «...напишите просьбу, да поскорее приходите ко мне, а я за вас буду хлопотать».

Я поклонился ему и поблагодарил за участие... и вдруг, ни с того, ни с сего, точно кто-нибудь вместо меня проговорил:

— Александр Сергеевич, вы мои стихи напечатаете в вашем «Современнике»?

— Напечатаю, напечатаю. Приходите же ко мне; непременно с просьбой, и чем скорее, тем лучше». Кончает свои воспоминания Облачкин следующими словами: «В течение всей моей жизни только один Пушкин, с первой встречи со мною, принял в судьбе моей живое искреннее участие, и желал мне помочь делом, а не словами. Судьба распорядилась иначе и с тех пор я прожил много лет на свете и никому нет до меня дела. Один великий поэт за три недели до своей кончины хотел было выдвинуть меня из среды, в которой я постепенно терял мои лучшие полные энергии силы»[1].

Второй посетитель Пушкина в эти дни — тоже 15-летний мальчик, имя его осталось неизвестным. Воспоминания его о поэте, напечатанные неким Ф. П-вым (в «Литературной Газете», № 14, 1848), под заглавием «Воспоминание о Пушкине (Рассказ моего знакомого)», прошли совершенно не замеченными. Сведения о них до сих пор не попали в библиографические указатели. После многих неудачных попыток напечатать свои стихотворения юноша решил отнести их Пушкину. Он передал тетрадь со своими стихами камердинеру Пушкина и получил приглашение от поэта притти через несколько дней. Вот как вспоминает он свой визит к Пушкину: «Меня встретил тот же камердинер, и вместо вопроса, как доложить обо мне, отворил дверь в зал, и потом, доложив обо мне, указал на дверь в кабинет к Пушкину. Когда я дотронулся до ручки этой последней двери, когда мне оставалось только толкнуть ее, чтобы лицом к лицу стать перед тем, кого я так пламенно желал видеть — я растерялся, и на меня как будто бы нашел столбняк.

Из кабинета раздался голос: Войдите г-н***! Эти слова, произнесенные голосом приятным, ободрили меня. Меня звал сам Пушкин, называя тем именем, которое подписано под стихами. Я вошел в кабинет: поэт сидел в вольтеровских креслах, покрытых зеленым сафьяном, который местами достаточно поизносился и протерся. На нем был простенький бухарский халат также без притязаний на новизну. На столе в поэтическом беспорядке лежали разбросанные книги, бумаги и разные без-

[1] «Северная пчела», № 49, 1864.

делки. Я поклонился Пушкину, он ответил на мой поклон ласковым наклонением головы и приятною улыбкою.

— Садитесь, пожалуйста.

Я поблагодарил, но не садился.

Пушкин обратился ко мне с живостью.

— Стихи ваши изрядны; для начала они очень не дурны, это, вероятно, ваш первый опыт?

— Первый... — отвечал я, закрасневшись от неожиданной похвалы...

— Конечно, стих слаб, есть много неправильностей! Но со временем эти недостатки исчезнут. Скажите, где вы воспитывались?

— В Академии Художеств...

— А! значит, вы учились живописи, ваянию или зодчеству.

— Нет... я был еще в первом возрасте воспитанников и потому учился только пока словесным наукам, но по несчастью не окончил курса, что впрочем вовсе не от меня зависело.

— Как же это так? — спросил поэт, устремив на меня глаза с выражением участия.

Этот взор вызвал меня на откровенность и я, как умел, и по возможности подробно рассказал Пушкину о переменах, происшедших в Академии с новым распределением курсов преподавания, следствием которых было то, что весь малый возраст воспитанников должен был оставить Академию.

— Как жаль! — говорил он, — что же вы теперь делаете?

— Я думаю поступить в университет, но...

— Вам что-нибудь мешает?

— Разные обстоятельства.

— Полно-те, молодой человек, если вы желаете учиться, что очень похвально в ваши лета, то поверьте, что обстоятельства отстранятся сами собою... С вашей стороны нужно одно искреннее желание.

— У меня его довольно,—отвечал я,— но этого еще недостаточно, у меня нет состояния, на попечении моем мать; — я бы хотел поступить в университет казенно-коштным.

— Что ж? Это можно сделать. Я вам обещаю поговорить об вас с князем Д[ондуковым]-К[орсаковым]. Вы можете надеяться, что желание ваше учиться всегда найдет покровителей.

Пушкин дал мне руку, я жадно схватил ее, долго и крепко сжимал в своей руке; я не мог отвести глаз своих от глаз поэта, в которых читал всю его доброту; полный чувства благодарности, я не мог произнести ни одного слова. У меня захватывало дух, может быть (так в подлиннике. — *К. Б.*), избыток счастья, пославшего мне в Пушкине сильного покровителя. Но судьба не хотела, чтобы я воспользовался благодеянием.

Очнувшись, со слезами благодарности, прижал я к губам руку Пушкина. Он просил меня притти опять к нему ровно через две недели и, простившись со мною, провожал до дверей, глазами, в которых видна была вся его добрая душа. Прежде чем выйти, я обернулся и еще раз поклонился Пушкину. Последние слова его, которых я не забуду никогда, были следующие:

— Прощайте, молодой человек, я жду вас через две недели — с м о т р и т е ж е н е о п о з д а й т е!

...На другой день я заболел сильно простудившись и пролежал в постели около трех недель. Когда я оправился от своей болезни, первый выход мой был к Пушкину. Но! я о п о з д а л: в этот день тело Пушкина выносили в церковь!.. Я рыдал, плакал, как ребенок, прощаясь навеки с моим благодетелем, и мог ли я его не оплакивать? До самой смерти я не забуду моего свидания с Пушкиным и его слов».

* *
*

Незадолго до смерти Пушкин решил привлечь к сотрудничеству в «Современнике» писательницу А. О. Ишимову. Утром 27 января 1837 года, в день дуэли, он послал ей записку, в которой писал: «Сегодня я нечаянно открыл вашу «Историю в рассказах» и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!»

Записка к Ишимовой — последний автограф великого поэта. Последние слова его, написанные за несколько часов перед дуэлью, в которых слышится такая забота о родной литературе, были словами дружеского привета и похвалы, обращенными к молодой писательнице.

НЕЗАВЕРШЕННАЯ КНИГА ПУШКИНА

(„История Петра I")

ИЛЬЯ ФЕЙНБЕРГ

★

Белым пятном в творчестве Пушкина оставался для нас до последнего времени огромный незавершенный труд поэта — «История Петра». Рукопись пушкинской «Истории Петра», запрещенная императором Николаем I, в прошлом веке была потеряна, и этот труд поэта-историка — если не считать небольших отрывков, проникших раньше в печать, — больше столетия оставался неизвестен читателю. Потерянная и найденная «История Петра», несмотря на то, что она дошла до нас не целиком, заняла в советском академическом издании, где она впервые опубликована полностью, почти триста страниц большого формата[1].

Часто говорят, что Пушкин давно изучен и в наше время обнаружить в его литературном наследии возможно лишь неразобранные раньше строки черновых вариантов или какие-нибудь малозначительные наброски да, может быть, случайно затерявшиеся ранние лицейские стихи. Между тем в XX веке были найдены и прочтены зашифрованные Пушкиным четверостишия, посвященные декабристам, которые входили в сожженную поэтом десятую главу «Евгения Онегина». Совсем недавно, в 1940 году, из случайно найденного письма стало известно, что другая глава романа (от которой поэт сохранил только строфы «Путешествия Онегина») была уничтожена Пушкиным потому, что она заключала в себе смелое описание аракчеевских военных поселений. Мы, может быть, никогда не узнаем полностью этих важнейших глав «Евгения Онегина».

Особенность и без того необычной судьбы пушкинской «Истории Петра» заключается в том, что даже теперь, когда этот оборванный смертью поэта и пролежавший сто лет под спудом труд найден и в собрание сочинений Пушкина вошла новая книга, это небывалое за всё время изучения литературного наследства великого поэта событие осталось, как ни удивительно, почти незамеченным.

«Историю Петра» опубликовали с пояснением: «подготовительный текст»; не изучив этого текста, как он того заслуживает, и не раскрыв поэтому его действительного значения, исследователи увидели в нем всего лишь отражение начальной стадии работы Пушкина-историка, «записи-конспекты» или «выписки-конспекты» (иногда говорили «критические конспекты»), сделанные поэтом при чтении «Деяний Петра Великого» — многотомного свода исторических источников (пересказанных, а частью воспроизведенных с подлинников в конце XVIII века И. Голиковым).

Черновой и крайне неоднородный характер подготовительного текста пушкинской «Истории Петра», непонимание глубоко творческого и очень своеобразного характера использования Пушкиным исторических источников, а также непонимание истори-

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. X. Изд. Академии наук СССР, 1938. (В 1946 году «История Петра» была переиздана: см. А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. VI, кн. 2. ГИХЛ. Все ссылки в дальнейшем даются на страницы последнего издания).

ческих взглядов Пушкина, отразившихся в «Истории Петра», вместе с непониманием художественного значения труда поэта-историка привели редакторов его к ошибке.

Взгляд на пушкинскую «Историю Петра», как на выписки-конспекты, был принят историками литературы некритически; читать и изучать заново сотни страниц конспектов — даже вышедших из-под пера Пушкина, — сопоставляя их при этом еще с голиковскими «Деяниями Петра Великого», казалось, видимо, задачей мало благодарной, и «История Петра» из-за этой исходной ошибки продолжала попрежнему оставаться вне поля зрения исследователей.

Читателю же «История Петра» вследствие этого оказалась по существу недоступной, ибо в том виде, как она напечатана, то есть без предварительного раскрытия общего замысла Пушкина, без отделения друг от друга неоднородных по своему характеру текстов, входящих в состав «Истории Петра», читать этот незавершенный труд Пушкина, как целое, практически невозможно.

Однако если мы попытаемся исследовать «Историю Петра» непредвзято (то есть не принимая заранее на веру утверждение о том, что в ней нет ничего, кроме выписок-конспектов, и не будем бояться видимости беспорядка, вызываемого неоднородным характером пушкинского текста), то мы увидим, что среди черновых программ и рабочих записей в ней встречаются страницы ничуть не похожие на выписки-конспекты. Внимательно читая «Историю Петра», можно убедиться, что в незавершенном труде поэта-историка встречаются страницы исторической прозы Пушкина; бóльшая часть этих страниц носит еще черновой характер, но некоторые из них производят впечатление совсем или почти совсем завершенной пушкинской прозы.

— Где это вы нашли новые, до сих пор никем не замеченные, да к тому же еще многочисленные страницы гениальной пушкинской прозы, пусть даже не вполне обработанной? — переспросит, может быть, в этом месте читатель.

На вопрос этот можно ответить: в академическом собрании сочинений поэта. И ответ этот, как увидим, окажется невероятным только на первый взгляд.

Приведем пример: вслед за черновой программой рассказа о деле камергера Монса мы читаем в «Истории Петра»:[1]

«Оправдалась ли Екатерина в глазах грозного супруга? по крайней мере ревность и подозрение терзали его. Он повез ее около эшафота, на котором торчала голова несчастного. Он перестал с нею говорить, доступ к нему был ей запрещен. Один только раз, по просьбе любимой его дочери Елизаветы, Петр согласился отобедать с той, которая в течение 20 лет была неразлучною его подругою» (стр. 445).

Невозможно, кажется, отнести эту прозу Пушкина к числу «выписок» или «конспектов». Вот другой пример: вслед за строками, говорящими о решении молодого Петра отправиться в заграничное путешествие, Пушкин пишет:

«Скоро намерение государя сделалось известно его подданным и произвело общий ужас и негодование. Духовенство видело в сообщении с еретиками грех, воспрещаемый священным писанием. Народ жадно слушал сии толкования и злобился на иноземцев, почитая их развратниками молодого царя. Отцы сыновей, отправляемых в чужие края, страшились и печалились. Науки и художества казались дворянам недостойным упражнением. Вскоре обнаружился заговор, коего Петр едва не сделался жертвою» (стр. 54).

Перед нами снова — художественно высоко совершенная историческая проза Пушкина.

Перечитывая «Историю Петра», видишь, что таких отрывков (или вернее заготовок) исторической прозы в подготовительном тексте ее немало. Необходимо пояснить при этом, что я имею в виду не только небольшие отрывки, вроде только что приведенных,—некоторые из написанных Пушкиным и близких уже к завершению эпизодов «Истории Петра» занимают в ней не одну страницу.

---

[1] Страницы «Истории Петра» указываются повсюду не в сносках, а в тексте очерка (в скобках).

Сколько таких страниц в незавершенной «Истории Петра» и каково их место в ней, выяснить путем простого чтения ее, «на слух» — то есть без специального и более длительного изучения — было невозможно. Но становилось ясным, что работа Пушкина над книгой о Петре продвинулась гораздо дальше, чем принято думать.

Разумеется, обнаружить в черновом труде Пушкина остававшиеся до сих пор незамеченными страницы пушкинской исторической прозы — задача увлекательная и важная. Но определяется ли значение незавершенной «Истории Петра» только ценностью этих, пусть гениальных, но как будто не связанных между собой отрывков? Не дает ли нам даже и подготовительный текст «Истории Петра» возможности понять, как отразился в нем общий идейно-художественный замысел великого поэта-историка? И не можем ли мы, наконец, попытаться, хотя бы приблизительно, выяснить план построения незавершенной пушкинской книги? Необходимо было ясно ответить на эти предварительные вопросы для того, чтобы понять, что же представляет собою в действительности «История Петра».

Вспомним в этой связи, как обосновывал Чернышевский свой взгляд на значение неоконченных произведений Пушкина. (Известно, что некоторые из таких произведений он ставил выше даже прославленных, совершенно законченных сочинений поэта). Возражая против высказанного редактором Пушкина Анненковым мнения, согласно которому незавершенные поэтом «Сцены из рыцарских времен» представляют собой «не настоящее произведение, а только план произведения» или «один остов произведения», Чернышевский писал: «Это произведение Пушкина яснее всего показывает, что существенная красота заключена не в словах, которыми умеет гениальный писатель облечь свои мысли, а в том гениальном развитии, которое получает мысль в его уме, воображении, соображении,—назовите это как хотите, — в художественности, с какою представляется ему план, а не в выражении»[1].

Эта мысль великого критика приобретает важное, принципиальное значение и для правильного понимания и оценки не завершенной поэтом «Истории Петра», которая смогла увидеть свет лишь в наше время.

Нераскрытым до сих пор оставался как раз отраженный в подготовительном тексте «Истории Петра» общий идейно-художественный замысел Пушкина; в связи с этим неясна была также «художественность, с какой представлялся ему план» его незавершенной книги. Этим, главным образом, и определялась принятая до сих пор неверная оценка действительной стадии, на которой остановилась работа великого поэта, создававшего «Историю Петра».

Вопреки утвердившемуся представлению[2] Пушкин, работая над «собранными из достоверных источников и расположенными по годам» И. Голиковым «Деяниями Петра Великого», не конспектировал их и не создавал, проводя при этом известную критическую тенденцию, всего только хронологически-строящийся свод исторических данных, предназначенный служить «фактической основой» для будущей «Истории Петра». Нет, создавая в ходе своей работы над собранным Голиковым обширным историческим материалом подготовительный текст «Истории Петра», Пушкин уже прочерчивал в нем основные контуры своей художественно строящейся «Истории», как бы намечая приблизительный сценарий будущей книги. Очерчивая пунктиром — пусть даже очень неполно — и внутреннее строение ряда будущих эпизодов и глав своей «Истории». Пушкин одновременно создавал при этом, где было возможно, страницы-заготовки исторической прозы, которые могли бы (после некоторой доработки) войти в окончательный текст его книги.

Исследование подтвердило гипотезу, возникшую у меня в процессе изучения

---

[1] Н. Г. Чернышевский. Избранные сочинения, стр. 203—204. ГИХЛ, 1934. (Разрядка моя. — *И. Ф.*).

[2] В примечаниях к вышедшему в 1949 году новому академическому изданию «Истории Петра» (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах, т. IX, стр. 512) снова высказан взгляд на неё, как на конспекты.

«Истории Петра»: перед нами не только самое значительное за сто лет — по объему — приобретение пушкинского текста; незавершенный труд Пушкина представляет собой выдающийся интерес — исторический и литературный. Только в связи с общей недооценкой его, незамеченными в «Истории Петра» могли до сих пор оставаться близкие к завершению многочисленные куски исторической прозы поэта. Незамеченными эти страницы оказались, повидимому, и в силу еще одной, более частной, но тем не менее важной причины: гениальный лаконизм новой исторической прозы (внешне в рукописи поэта ничем не выделенной, но рождавшейся уже из пушкинских черновых программ) не умели отличить от лаконизма программ и конспектов, окружающих в незавершенной «Истории Петра» отрывки этой пушкинской прозы.

Задача настоящего очерка кратко рассказать о результатах исследования «Истории Петра». Цель его — выяснить (хотя бы в первом приближении), чем должна была и чем успела стать «История Петра» под пером поэта. Приводимые в очерке отрывки далеко не исчерпывают всех страниц подготовлявшейся поэтом для его книги о Петре исторической прозы, они должны дать представление о ней. Исследование помогает нам прочесть эти страницы не как случайные, разобщенные отрывки — композиция «Истории Петра», как показывает изучение ее, была вчерне, но уже достаточно ясно намечена Пушкиным.

★

1

«Историей Петра» великий поэт был занят в последние годы жизни. Результатом этого труда явилась самая большая из известных нам пушкинских рукописей: первая тетрадь ее начата была 16 января, а последняя датирована 15 декабря 1835 года.

Однако за неделю до смерти, в разговоре со своим другом Плетневым, Пушкин «..сознавался, что историю Петра пока нельзя писать, т. е. ее не позволят печатать»[1].

Предвидение Пушкина оправдалось. После смерти поэта император Николай I запретил обнародовать его незаконченный труд, указав: «Сия рукопись издана быть не может по причине многих неприличных выражений на счет Петра Великого»[2]. Историческая концепция, к которой Пушкин пришел в процессе своей работы, оказалась для самодержавия политически неприемлемой из-за ее неслыханной смелости: Пушкин осветил не только положительные, но и отрицательные стороны личности и деятельности Петра.

В конце царствования Николая I, подготовляя к печати первое научно изданное собрание сочинений Пушкина, Анненков располагал еще текстом пушкинской «Истории Петра», но он смог опубликовать из нее — помимо страниц, названных им «Материалами» для первой главы ее, — лишь небольшие отрывки. А затем тетради Пушкина были потеряны: их берегли мало, видя в них только материалы для ненаписанной книги, надежды на опубликование которых в то время не было.

Рукописи «Истории Петра» были найдены лишь в 1917 году, через восемьдесят лет после смерти Пушкина. Их нашла случайно племянница жены Пушкина Наталья Ивановна Гончарова в ящике, забытом при перевозке книг пушкинской библиотеки в Лопасне, невдалеке от Москвы. Ящик с рукописями «Истории Петра» был обнаружен в связи с тем, что лист бумаги, которым была устлана клетка канарейки, оказался исписанным рукой Пушкина. Когда ящик, из которого был взят этот лист, нашелся, выяснилось, что пушкинские рукописи попорчены мышами, а часть их пропала совсем[1].

---

[1] А. Никитенко. Записки и Дневник. Стр. 282. Изд. 2-е, 1905.

[2] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в девяти томах, т. IX, стр. 744. Изд. «Academia», 1937.

[1] Сведения об обстоятельствах, при которых были найдены рукописи, приведены в статьях П. С. Попова «Пушкин в работе над Историей Петра I» («Литературное наследство», № 16—18, 1934) и «Пушкин, как историк» («Вестник Академии наук» № 2—3, 1937).

Однако большая часть «Истории Петра» — общим объемом более 15 печатных листов — сохранилась и была опубликована впервые через 101 год после смерти поэта, в 1938 году. Перед нами открылась возможность ее изучения.

Современники Пушкина понимали или угадывали замысел и характер его труда, посвященного истории Петра.

«Труд, за которым его застала смерть,— писал о Пушкине его друг Плетнев, — был выше всего, что мы от него получили. Он готовил нам историю Петра Великого». Плетнев, который был не только ученым, но и писателем, говорил, что этот труд поэта-историка требовал «оригинальной широкой кисти, чтобы ожила в подлинных красках вся эта чудесная эпоха», он писал, что в книге Пушкина о Петре открывалась бы не только историческая, но и «художническая правда»[1].

Великий критик, истолкователь Пушкина — Белинский, знавший о работе поэта над созданием «Истории Петра» только по слуху, писал, что преждевременная смерть Пушкина «надолго лишила Россию надежды иметь учено-художественную историю» Петра, которая должна была передать потомству «дела» и «образ» Петра[2].

Но с годами потеряны были не только рукописи «Истории Петра»: утрачено было и понимание того, чем должна была стать по замыслу Пушкина его «учено-художественная» книга о Петре.

Отрывочные свидетельства современников поэта к тому же отнюдь не вносили ясности в вопрос о том, насколько далеко продвинулся его исторический труд. (Сам поэт, очевидно, не стремился ознакомить сколько-нибудь широкий круг читателей— вернее, слушателей — с незавершенной «Историей Петра», которую — понимал он — «не позволят печатать»).

Бросающаяся в глаза разноречивость немногочисленных свидетельств современников о «Петре» отражает, повидимому, не одно только различие в характере и степени их знакомства с незавершенным трудом Пушкина; она сама по себе могла бы натолкнуть исследователей на мысль о том, что работа Пушкина над «Петром» продвинулась очень неравномерно.

Одно из таких свидетельств, принадлежащее Леве Веймару — писателю, лично общавшемуся с поэтом незадолго до его смерти, говорит о том, что «История Петра Великого, которую составлял Пушкин... должна была быть удивительной книгой», о том, что поэт «не скрывал... серьезного смущения, которое он испытывал при мысли, что ему встретятся большие затруднения показать русскому народу Петра Великого таким, каким он был в первые годы своего царствования, когда он с яростью приносил все в жертву своей цели», о том «как великолепно проследил Пушкин эволюцию этого великого характера...»[1] и т. д. Это свидетельство отражает, повидимому, разговоры, которые вел Пушкин о своей работе над «Петром» с автором приведенной статьи.

Другое свидетельство — дневник Келлера, ссылающегося на слова самого поэта, говорит, что, занимаясь «Историей Петра», Пушкин «ничего еще не написал» и «занимался единственно собиранием материалов»[2].

Между тем шведско-норвежский поверенный в делах в Петербурге Густав Нордин в своем донесении о смерти Пушкина сообщал по поводу истории Петра, что «те, кому довелось познакомиться с отрывками, написанными им уже на эту тему, способную действительно вдохновить русского историка, вдвойне оплакивают его преждевременную кончину»[3].

Шведский дипломат, для которого история Петра, победившего Швецию и низведшего ее на степень второстепенной державы, должна была представлять особенный интерес, был знаком с Пушкиным (в пушкинском дневнике есть запись об

---

[1] П. Плетнев. Сочинения и переписка, т. I, стр. 338—339. 1885.

[2] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений под редакцией С. Венгерова, т. VI. стр. 120. 1903.

[1] «Журналь де Деба», 3 марта 1837 года. (Переведено в книге П. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина», т. I, стр. 415—416. ГИЗ, 1928).

[2] См. А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, том VII, стр 586—587. Изд. Суворина, 1905.

[3] Донесение от 6/18 февраля 1837 г. (Приведено в названной выше книге П. Щеголева на стр. 376—377).

одном разговоре на темы исторического характера, который вел с ним поэт[1]). Свидетельство Нордина говорит уже, как видим, не о рассказах Пушкина, отражающих взгляды поэта-историка на Петра, и не о собирании материалов для будущей книги, а об отрывках «Истории Петра», уже написанных Пушкиным.

Однако решающий ответ на вопрос о том, что представляет собой незавершенный труд Пушкина и как далеко продвинулся он под пером поэта, могло, разумеется, дать только изучение текста самой «Истории Петра».

Располагавший рукописями поэта еще до того, как «История Петра» была затеряна, Анненков не сумел оценить ее значение; суждения его о ней сбивчивы: то он усматривал в ней даже не материалы для истории Петра, а всего только «выписки из них и ссылки», сделанные Пушкиным, — «черновую работу, свидетельствующую о добросовестности, с какой приступал он к задаче своей»; то утверждал, что «весь рассказ Пушкина представляет собой в сущности памятную записку» — «первый черновой свод известий писателей своих и чужестранных о Петре Великом»; то писал по поводу некоторых страниц «Истории Петра», что они «не имеют вида настоящего исторического рассказа, а только, как и всё прочее у Пушкина, представляют одну программу его»[2]. Не диференцируя пушкинский текст, Анненков проглядел проступающие в нем среди черновых программ страницы исторической прозы.

В наше время, когда потерянная «История Петра» была найдена и стала снова доступной исследованию, нужно было заново изучить её, сличая с использованными Пушкиным источниками. Путем такого исследования необходимо было выяснить, как использовал Пушкин источники и во что превратился под пером поэта проработанный им исторический материал

Выполнить эту большую работу П. Е. Щеголев — известный исследователь жизни и творчества Пушкина, в руках которого оказались (после того, как они были найдены) рукописи «Истории Петра», — так и не собрался. Вслед за тем, единственный до последнего времени исследователь и редактор «Истории Петра» П. С. Попов предпринял попытку выяснить, чем является этот труд Пушкина. Но после некоторых колебаний, высказанных в двух статьях[1], так и не выяснивших, чем же является пушкинская «История Петра, исследователь ограничился утверждением, что труд Пушкина представляет собой «выписки-конспекты» по истории Петра, сделанные Пушкиным при чтении труда И. И Голикова «Деяния Петра Великого»[2]. Вывод этот казался правдоподобным, он по видимости совпадал с высказанным почти сто лет назад мнением Анненкова и был принят без всякой критики.

Разумеется, было бы преувеличением считать, что труд Пушкина, посвященный Петру, приближался уже к завершению. Многого Пушкин сделать не успел, многого сделать не имел возможности в силу исторических условий, в которых он создавал свой труд: перед нами только подготовительный текст, вышедший из-под пера поэта. Но изучение незавершенной «Истории Петра» не только открывает перед нами возможность видеть процесс творчества поэта-историка и приближает нас к пониманию того, чем дол-

---

[1] См. А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в девяти томах, т. IX, стр. 519. Изд. «Academia», 1937.

[2] «Материалы для биографии А. С. Пушкина» (стр. 403—406, 1855). По-иному оценил Анненков только содержание «половины первой тетради самой Истории Петра, которая наиболее отделана у Пушкина» Печатая эти страницы, он назвал их «Материалами» для первой главы «Истории Петра», добавляя, что они представляют собой «наглядный перечень событий, приведенных в такой порядок и в такую соответственность между собою, что они уже могут составить основной грунт для будущей исторической картины». (А. С. Пушкин. Сочинения, т. VII, ч. 2, стр. 3. 1857).

[1] Ссылка на эти статьи дана выше (см. сноску на стр. 186).

[2] См. предисловие П. С. Попова к вышедшему под его редакцией в 1946 г. изданию «Истории Петра» (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. VI, кн. 2, стр. 5. ГИХЛ.

жна была стать «История Петра» по замыслу Пушкина, — мы видим, чем она успела стать в процессе его творческого труда.

Когда мы изучаем подготовительный текст «Истории Петра», раскрывая при этом смысл пушкинских указаний на используемые им исторические источники, перед нами открывается возможность следовать за ходом мыслей Пушкина. По мере того, как мы начинаем уяснять себе намечающееся в ходе работы поэта-историка строение её, в «Истории Петра» оживают не только готовые или почти готовые места, но и гораздо более многочисленные в ней страницы совсем чернового или даже программного характера. В свете изучения творческой истории незавершенной книги Пушкина перед нами открывается увлекательная возможность читать эту, только еще созидающуюся, книгу. И «История Петра», как бы далека ни была она в целом от завершения, предстает перед нами, как очень значительное, во многом уже подготовленное произведение Пушкина.

Поэтому, прежде чем говорить о том, как Пушкин творчески переработал найденный им в обширном труде Голикова исторический материал, скажем сначала о пафосе, которым был одушевлен труд Пушкина, об исторической концепции, возникавшей в процессе работы поэта-историка, и о том, как она под пером поэта превращалась в художественно-историческую концепцию.

2

Труд поэта был одушевлен подлинным, исторически прогрессивным патриотизмом, требовавшим от него, как увидим, глубокого постижения петровской эпохи и смелого, критического отношения к Петру.

Пафос, одушевляющий страницы пушкинской «Истории Петра», был не только пафосом исторического и художественного постижения прошлого. Историю Петра, воссоздавая её в своей книге, Пушкин переживал, как современник 1812 года. Недаром в стихах «Полтавы» поэт вспоминал вторжение и разгром Наполеона, когда писал о судьбе Карла XII. Дело шло тогда о жизни русского государства.

Исторический канун Полтавы в «Истории Петра» охарактеризован записью Пушкина, которая не привлекала к себе того внимания, какое она заслужила: отраженные в ней планы шведов по отношению к России в поразительной степени предвосхищают гитлеровскую программу. Под 1707 годом Пушкин записал:

«Петр, желая мира, предлагал оный Карлу... На сие Карл ответствовал: о мире буду с царем говорить в Москве, взыскав с него 30 миллионов за издержки войны. Министры шведские объявили намерение короля свергнуть Петра с престола, уничтожить регулярное войско и разделить Россию на малые княжества. Генерал Шпар был назначен уже московским губериатором и хвалился, что они русскую чернь (canaille) не только из России, но со света плетьми выгонят. Известен отзыв Петра: «брат мой Карл хочет быть Александром» etc»[1] (то есть Александром Македонским). «Но он, сказал Петр, не найдет во мне Дария» (царство которого разрушил Александр).

Пушкин пишет здесь о том самом шведском генерале Шпаре — несостоявшемся Московском губернаторе, о котором заметит, что тот бежал с Карлом XII и несколькими сотнями драбантов после полтавского разгрома в Турцию (стр 214).

Драматический переход от поражений Петра к победам России над Швецией с необыкновенной выразительностью является читателю на страницах, посвященных Пушкиным победе под Лесной, которую «Петр называл потом матерью Полтавской победы, последовавшей через 9 месяцев» (стр. 194).

В начале описания этого боя Пушкин говорит:

«Казаки... имели повеления, стоя за фрунтом, колоть всех наших, кои побегут или назад подадутся, не исключая самого государя» (стр. 193).

Рассказав о разгроме шведов, Пушкин пишет:

«Ночь и вьюга спасли остаток шведского войска. Солдаты наши ночевали,

[1] См. А. С. Пушкин Полное собрание сочинений, т. VI, кн. 2, стр. 179—180. ГИХЛ, 1946.

кого где вьюга застала. Сам Петр, покрытый снегом и льдом, провел тут же ночь далеко от лагеря» (стр. 193).

Вслед за тем идет абзац, кончающийся словами:

«Всё было поражено. Казаки... кололи ш в е д с к и х беглецов в лесах и по болотам. Многие из них погибли даже от руки мужиков. Левенгаупт почти один явился к королю с известием о своем поражении» (стр. 193)[1].

Вслед за этим, оставшимся недоработанным, описанием победы под Лесной Пушкин пишет:

«В Смоленск Петр вступил с торжеством...

...Шведы потеряли свою самонадеянность и презрение к русским» (стр. 194).

Пафос патриотизма, одушевляющего пушкинскую «Историю Петра», связан с тем чувством поэта, которое можно назвать личным отношением к России. В стихах о Петре он сказал:

Сей шкипер был тот шкипер славный,
Кем наша двигнулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Рулю родного корабля.

Россия для Пушкина — р о д н о й корабль, движение которого он называет д е р ж а в н ы м бегом.

* *
*

Один из критиков Толстого, помнится, гадал в конце прошлого века о том, что произошло бы, если б убийца поэта Дантес промахнулся и Пушкин написал бы в сороковых годах роман о Двенадцатом годе: он задавался при этом вопросом о том, каким было бы в этой книге пушкинское отношение к войне.

Романа о Двенадцатом годе Пушкин так и не написал (как не написал романа о Петре Лев Толстой, много раз принимавшийся писать о петровской эпохе). Пушкин создавал «Историю Петра», в которой должны были быть изображены война и мир Петра.

Отношение к войне в книге Пушкина, хотя Пушкин писал не роман, а историю (где это было бы естественно), выражено — в отличие от «Войны и мира» — не в рассуждениях, вставленных в исторический рассказ,—в «Истории Петра» оно дано перспективой изображаемых событий.

Когда мы говорим о страницах Пушкина, посвященных войнам Петра, наше внимание привлекает прежде всего т о ч к а з р е н и я, с которой великий поэт изображает их. Он видит бой глазами полководца, войну он видит в масштабе истории русской и мировой.

На Бородинском поле Кутузов в изображении Толстого тем и велик, что делает только вид, что командует. Такое, исторически неверное, представление о нём Толстой стремится внушить читателю. По мнению Толстого, в соответствии с философией его «Войны и мира», лучше не мог бы и действовать великий полководец в день Бородина. Иначе смотрит на значение полководца Пушкин. Это сказалось еще до «Истории Петра» в стихах «Полтавы».

В былое время, когда в школе учили наизусть стихи о Полтавском бое, заданный отрывок заканчивался обыкновенно всем известными стихами:

Швед, русский — колет, рубит, режет,
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть и ад со всех сторон.

Между тем сразу после этих стихов, где бой является как хаос, каким он мог казаться в пылу схватки рядовому бойцу, Пушкин написал:

Среди тревоги и волненья,
На битву взором вдохновенья
Вожди спокойные глядят,
Движенья ратные следят,
Предвидят гибель и победу,
И в тишине ведут беседу...

Пушкин видит не только труд и ад боя, он видит вдохновенье спокойных военачальников, план и предвиденье вождей, управляющих боем, войной. Недаром в своей «Истории» Пушкин приводит слова Петра-полководца: «Наудачу без плана я никогда делать не буду...» (стр. 288).

Точка зрения Пушкина на роль полководца, вождя противостоит взглядам Льва Толстого.

Толстому удалось показать решающее значение народной массы в войне, которую Россия вела против иностранных захватчиков в 1812 году, — в этом его

[1] Разрядка моя. — *И. Ф.*

сила. Но критикуя самодержавную государственность, Толстой отрицал не только её: чуждый историзму Пушкина, он отрицает вообще какое бы то ни было значение в войне государственного руководства, как отвергает государственное мышление, которое так сильно сказалось в творчестве Пушкина — великого поэта-историка.

Пушкинское начало в русской исторической прозе минувшего века противостоит в этом смысле толстовскому началу.

Государственные мысли историка (Пушкин считал, что они необходимы и автору исторической трагедии) определяли создание исторической прозы, становление которой мы видим в незавершенной пушкинской «Истории Петра».

* *
*

Вопрос о Петре был в глазах Пушкина не только вопросом о прошлом, но и о будущем России. В этом споре о судьбе России Пушкин выступал как поэт-историк, создавая великую книгу, в которой намечалась историческая концепция Петра, превращавшаяся под пером Пушкина в художественно-историческую концепцию.

Патриотизмом великого поэта был определен спор Пушкина с представителями той Европы, о которой он сказал, что она всегда была в отношении к России столь же невежественна, как и неблагодарна.[1] Он спорил своей книгой о Петре с легионом иностранных писателей, для которых русский народ был, по словам поэта, вечным предметом невежественной клеветы[2].

Денис Давыдов, которого Пушкин признавал одним из своих литературных учителей, писал в статье «О России в военном отношении»: «Всякий из нас неоднократно заметил явную и общую ненависть чужеземных писателей к России». Он говорит про иностранцев, писавших об эпохе Петра: «С какой алчностию бросаются они на все воспоминания о неудачах наших! С какой тайною радостию говорят они о разбитии нашей неопытной армии под Нарвою, забывая в упоении своей ненавистью даже и то, что сии школьники-воины предводительствуемы были тогда не русскими, а... Дюком де Круа и Аллартом, перебежавшими к неприятелю при самом начале сражения. С каким торжеством входят они в описание бедствий при Пруте... бунта стрельцов, измены Мазепы, суда над царевичем Алексеем. Нет исторического, нет дамского альманаха. нет детской истории, где не представлены были бы сии происшествия на чужеземный лад, то есть совершенно в превратном виде»[1].

Пушкинская «История Петра» должна была явиться историческим объективным ответом этим иностранным писателям. Но для Пушкина спор о Петре был спором не только с зарубежными клеветниками России.

Своим «Медным всадником» Пушкин спорил с Мицкевичем, о котором Герцен так верно сказал, что он далек от ненависти к России — («напротив — он хвалит ее»), но что «в Петре он понял одну отрицательную сторону».[2]

«Историей Петра» Пушкин спорил против неверия в Россию, сказавшегося в пессимизме Чаадаева.

Незадолго до своей трагической гибели, 19 октября 1836 года, Пушкин писал Чаадаеву, возражая на его «Философическое письмо»: «...Я далеко не восхищаюсь всем, что вижу вокруг себя... но, клянусь честью, ни на что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какую дал нам бог»[3].

«Пробуждение России, развитие ее могущества,— писал Пушкин в том же письме,— движение к единству (русскому единству, конечно)... Как, неужто это не история, а бледный полузабытый сон?

А Петр Великий, который один — целая всемирная история!»[4].

Замечательно, что Пушкин возражал против отрицания исторического значения

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в девяти томах, т. IX, стр. 268. Изд. «Academia», 1937.

[2] Там же, т. VIII, стр. 15. 1936.

[1] Статья писалась Денисом Давыдовым в 1831 году (см. Д. Давыдов. Военные записки, стр. 414. ГИХЛ. 1940).

[2] А. Герцен. Дневник. Запись 17 марта 1844 г. (Сочинения, т. III, стр. 317. 1915).

[3] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в шести томах, т. VI, стр. 587. Изд. «Academia». ГИХЛ, 1938.

[4] Там же, стр. 586—587.

прошлого России, указывая и на развитие ее могущества в допетровскую эпоху и на Петра, и решительно выступал против преклонения Чаадаева перед Западом. Несмотря на николаевскую реакцию, Пушкин верил в исторические силы русского народа и в великое будущее России.

Книга о Петре должна была явиться важным аргументом в споре Пушкина с клеветниками России. Но великий поэт выступал в ней не с позиций официальной, николаевской России—Пушкин горячо возражал тем, кто видел в Петре одну его отрицательную сторону, не разделяя и официозной, апологетической точки зрения на Петра.

В своей «Истории» Пушкин писал: «Достойна удивления: разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности, или по крайней мере для будущего, — вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика» (стр. 401).

Эта основная для пушкинской концепции мысль, определившаяся в процессе работы поэта-историка и ставшая известной еще в прошлом веке, подкрепляется и обогащается теперь многими страницами «Истории Петра», увидевшими свет лишь в наши дни.

Товарищ Сталин указывает:

«Петр сделал очень много для создания и укрепления национального государства помещиков и торговцев. Надо сказать также, что возвышение класса помещиков, содействие нарождавшемуся классу торговцев и укрепление национального государства этих классов происходило за счет крепостного крестьянства, с которого драли три шкуры».[1]

В этих словах товарищ Сталин определил классовый характер государства, укреплявшегося Петром.

Предвосхитить созданную в наше время на основе учения Маркса—Ленина—Сталина концепцию, осветившую классовую природу Петра и его государства, Пушкин, разумеется, не мог. Но нельзя не видеть, как смело он прорывался в будущее, как далеко Пушкин опередил своих современников, намечая концепцию Петра, в котором он разглядел не только великого человека, но и коронованного помещика.

Взгляды Пушкина на Петра были, как известно, весьма своеобразны. Еще до того, как он приступил к своей «Истории Петра», Пушкин писал: «Петр I — одновременно Робеспьер и Наполеон (воплощение революции)»[1]. В глазах Пушкина этот коронованный помещик совершил в России революцию: «подавил дворянство, издав Табель о рангах, духовенство—упразднив патриаршество...»[2]. Разумеется, Пушкин не мог не видеть, что «революция» эта не изменила положение народа—крепостного крестьянства, на основе жестокой эксплоатации которого совершались петровские преобразования. Говоря то о «подавлении», то об «истреблении» дворянства, Пушкин имеет в виду удар, нанесенный Петром принципу наследственности дворянства (ослабление родовитой аристократии и предоставление служилым людям возможности становиться дворянами не по праву рождения, а путем получения введенных Петром чинов). Со времен Петра дворянами действительно могли становиться «новые люди», но интересы класса помещиков-землевладельцев и национального государства помещиков и торговцев Петр, как мы знаем, всячески защищал.

Забота Петра о русской промышленности и торговле, внешней и внутренней, и заботы его о купцах должны были быть освещены на страницах пушкинской книги. Знаменательно звучит в самом начале ее рассказ о купце, подарившем Петру саб-

---

[1] И. Сталин. Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом 13 декабря 1931 года (Ленин и Сталин. Сборник произведений к изучению истории ВКП(б), т. III, стр. 523. 1936).

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в девяти томах, т. IX, стр. 199. Изд. «Academia»», 1937.

[2] Письмо к Чаадаеву, 19/X-1836 г. (черновик). См. А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в шести томах, т. VI, стр. 587—588. Изд. «Academia», ГИХЛ, 1938.

лю, с которой мальчик не хотел расставаться ни днем, ни ночью. Ясно видит и показывает Пушкин значение военных походов и экономических мер Петра для развития русской торговли, для открытия пути в Индию.

В сохранившихся отрывочных заметках к «Истории Петра» Пушкин не забывает отметить, что «Петр I, когда призывал купца Мейера в сенат, то всегда приказывал ставить для него стул» (стр. 14). Пушкин упоминает о том, что среди особ, доставивших Голикову важнейшие сведения о Петре, были не только адмиралы и сенаторы — «превосходительные господа», но и «московские купцы Сериков, Евреинов, Полуярославцев и Ситников и олонецкий купец Барсуков» (стр. 11).

* * *

В «Истории Петра» Пушкин стремился, не прибегая к средствам художественного вымысла, создать верный исторической действительности образ Петра, являющийся поэту-историку в противоречии живших в Петре начал: исторического деятеля и коронованного помещика.

В незаконченном романе «Арап Петра Великого» и в «Полтаве» — произведениях, созданных за семь-восемь лет до «Истории Петра», перед читателем является написанный гениальным пером Пушкина, но еще лишенный теней образ Петра. (О «Полтаве» современный Пушкину критик заметил: «Характера Петра Великого нет в поэме, но есть прекрасный портрет его»).[1]

Лев Толстой, мы знаем, отказался от попытки написать роман о Петре, потому что, говорил он, эта эпоха слишком отдалена от нас и «...трудно проникнуть в души тогдашних людей, до того они непохожи на нас».[2]

Пушкин в своей «Истории» стремится понять и изобразить характер, «душу» Петра. Он рисует Петра в действиях, выражающих его личность, идет ли речь о государственных делах или о событиях личной жизни Петра, неотделимых от них. Смерть царевича Алексея, процесс первой жены Петра, женитьба Петра на Екатерине и казнь Монса — все это Пушкин хочет понять, чтобы полнее изобразить Петра — исторического деятеля и человека, в душе которого мощно сталкивались и боролись противоречивые начала. Задача эта была смелой: напечатать такую книгу во времена Николая I было невозможно, однако Пушкин не отказался от решения этой задачи.

Поэт-историк видел мрачные, отрицательные черты Петра, в своей «Истории» он не раз говорит о его «нестерпимом тиранстве». Но он оставил своему герою сердце, хотя не мог не воскликнуть: «Сам он был странный монарх!» (стр. 380).

Говоря о том, что в пушкинской «Истории» проступает уже образ Петра, мы говорим не об отдельных (хотя бы и замечательных) образных выражениях Пушкина-историка. Когда он пишет о том, что указы Петра «нередко жестоки, своенравны и, кажется, *писаны кнутом*», слова эти красноречиво, пластически выражают пушкинскую мысль. Однако подобные выражения могли бы встретиться и в «Истории», автор которой не ставит перед собой задачи создать образ героя.

Но вот, в записи под тем же 1721 годом, мы читаем у Пушкина: «По учреждении синода, духовенство поднесло Петру просьбу о назначении патриарха. Тогда-то (по свидетельству современников графа Бестужева и барона Черкасова) Петр, ударив себя в грудь и обнажив кортик, сказал: «вот вам патриарх» (стр. 401). Здесь мы видим одну из сцен, рисующих образ Петра, и мы вправе говорить уже не об отдельных выразительных оборотах Пушкина-историка.

С первых страниц пушкинской книги перед нами в живом изображении является юный Петр. Пушкин показывает его нам после усмирения одного из стрелецких бунтов, противопоставляя соцарствующему с ним брату Иоанну: в то время как стрельцы «...стояли по обеим сторонам дороги, падая ниц перед государями — Иоанн оказывал тупое равнодушие, но Петр быстро смотрел на все стороны, оказывая живое любопытство» (стр. 32).

Изображая Петра, едва не ставшего жертвой нового заговора, когда он во время суда над заговорщиками «занемог горячкою», Пушкин говорит: «...многочис-

[1] «Сын Отечества», 1829, ч. 125, № 15.

[2] «Толстовский ежегодник», 1912, стр. 63.

ленные друзья и родственники преступников хотели воспользоваться положением государя для испрошения им помилования... Но Петр был непреклонен; слабым, умирающим голосом отказал он просьбе и сказал: надеюсь более угодить богу правосудием, нежели потворством» (стр. 56)[1].

Пушкин подчеркивает противоречие между целями, осуществляемыми Петром, и средствами, которые он применял для их достижения:

«Когда народ встречался с царем, то по древнему обычаю падал перед ним на колена. Петр Великий в Петербурге, коего грязные и болотистые улицы не были вымощены, запретил коленопреклонение, а как народ его не слушался, то Петр Великий запретил уже сие под жестоким наказанием, дабы, пишет Штелин, народ ради его не марался в грязи (стр. 114).

Пушкин приводит изречения, передающие решительность характера Петра: из Польши он писал Апраксину: «Здесь... еще всё дело, как брага, бродит, и не знаем, что будет. Не ежели несчастия бояться, то и счастия не будет» (стр. 176).

Пушкин изображает черты великодушия Петра; в то же время он пишет, в связи с делом первой, постриженной в монахини, жены Петра, которая была высечена кнутом: «Петр хвастал своей жестокостию: «Когда огонь найдет солому, говорил он поздравлявшим его, то он ее пожирает, но как дойдет до камня, то сам собою угасает» (стр. 379).

А под 1719 годом (из пушкинских текстов, посвященных этому году, до нас дошли всего три строки) мы читаем о смерти любимого трехлетнего сына царя, рожденного ему Екатериной: «Скончался царевич и наследник Петр Петрович: смерть сия сломила наконец железную душу Петра» (стр. 400)[2].

Пушкин изображает широту характера Петра, женившегося на «мариенбургской девке» Екатерине, которую он полюбил, и пишет о том, как Петр повез Екатерину, когда она изменила ему, вокруг эшафота, на котором горчала голова ее любовника Монса, пишет наконец, что «...кажется, при смерти помирился он с виновною супругою» (стр. 448).

Мы видим: очень многое для создания образа Петра взято Пушкиным не из панегирически представленных читателю Голиковым «Деяний Петра Великого». Но даже там, где Пушкин широко пользуется материалами этого источника, мы вправе, говоря о том, что Пушкин сделал с ними, вспомнить слова Чехова: «Ведь сделать из мрамора лицо, это значит удалить из этого куска то, что не есть лицо».[1]

3

Образ времени и Петра — каким его видел Пушкин в последние годы своей жизни — является перед нами на страницах незавершенной пушкинской книги.

О своей исторической трагедии «Борис Годунов» Пушкин писал, что он стремился в ней «...облечь в драматические формы одну из самых драматических эпох новейшей истории»[2]. Драма самой истории открывается нам в его «Истории Петра», облекаемая в формы строго исторического и вместе с тем художественно строящегося повествования.

Пушкин намечает изображение Петра в действии, в противоречиях, в борьбе с врагами и препятствиями. Образ Петра создавал историк, не прибегающий к средствам художественного вымысла, но обогащенный художественным опытом прозаика и драматурга.

Пушкин — историк Пугачева — написал, мы знаем, историю Пугачева и роман «Капитанская дочка». В «Истории Петра» наметился новый синтез исторической прозы и прозы художественно-исторической. Этот синтез отвечал требованиям развития новой, создаваемой великим писателем-реалистом, классической русской литературы.

В русской литературе непосредственным предшественником Пушкина в области художественной истории был Карамзин. От «Истории» реакционно мыслившего Карамзина, в глазах которого пафос русской

[1] Разрядка моя. — *И. Ф.*

[2] Разрядка моя. — *И. Ф.*

[1] А. П. Чехов. Собрание сочинений, т. XII, стр. 326. 1929.

[2] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в девяти томах, т. IX, стр. 87. Изд. «Academia», 1937.

государственности был неотделим от самодержавия, незавершенную книгу Пушкина отличает, прежде всего, прогрессивность пушкинского патриотизма, необходимой стороной которого является глубокий критицизм великого поэта-историка, в силу которого труд его во времена самодержавия опубликован быть не мог.

Но, несмотря на то, что Пушкин относился критически к историческим взглядам Карамзина, в его «Истории Государства Российского» он видел «создание великого писателя»[1].

Чрезвычайно высоко ценил Пушкин старую «Историю Руссов». Пушкин указывал, что в этой книге «Множество мест... суть картины, начертанные кистию великого живописца»[2].

В сознании читателей пушкинского времени жанр художественной истории требовал от автора не только исторических картин, но и драматически развивающегося повествования о событиях изображаемой эпохи. (Недаром в одной из своих статей Пушкин говорит о предисловии Карамзина «...столь много критикованном и столь еще мало понятом», приводя из него слова об «истории, где ищем действия и характеров»[3].

Достаточно, однако, сравнить замечательное, хотя не до конца обработанное, пушкинское описание смерти Петра или строки, посвященные поэтом делу царевича Алексея с описаниями смерти Грозного или сцены сыноубийства в «Истории» Карамзина, чтобы увидеть, что несмотря на литературные достоинства этих страниц Карамзина, они представляют собой, по сравнению с незавершенной исторической прозой Пушкина, то же, что историческая мелодрама по сравнению с трагедией.

Тема «Пушкин в работе над Историей Петра», таким образом, не может быть сведена к проблеме «Пушкин-историк»: она включает в себя историко-литературную проблему: «Пушкин — историк-художник».

Пушкинская «История Петра» должна была явиться новым словом в развитии жанра художественной истории: в ней сказались реализм исторического мышления Пушкина и глубоко раскрывающее действительность реалистическое искусство, создателем которого явился великий русский поэт.

В том же 1835 году, когда Пушкин писал «Историю Петра», Белинский в статье «О русской повести» гадал о будущем литературы, он писал: «... кто знает? Может быть некогда история сделается художественным произведением и сменит роман так, как роман сменил эпопею?»[1].

Труд Пушкина пролагал новые пути в литературе.

* *
*

Гениальный лаконизм Пушкина не раз озадачивал его критиков, даже когда они судили о законченных произведениях поэта. Вяземский, например, заметил по поводу «Бориса Годунова», которым он восхищался, что в этой исторической трагедии «иные сцены, в особенности из последних, недостаточно развиты» Пушкиным; критик считал, что они представляют собой скорее «оглавления сцен»[2].

«Прелесть нагой простоты так еще для нас непонятна...»—восклицал Пушкин, говоря о требованиях, предъявляемых к прозе большинством современных ему читателей. «Точность и краткость — вот первые достоинства прозы», — заметил он в другом месте...

Надо ли удивляться, что «нагая простота» гениальной пушкинской прозы, ее «точность и краткость» не однажды приводили к ошибке исследователей незаконченных произведений Пушкина. В статье «Пушкин и античность» И. И. Толстой справедливо писал по поводу неоконченной повести Пушкина «Цезарь путешествовал...»: «Общий тон рассказа охарактеризован у него значительной сжатостью. На первый взгляд можно подумать, что сжатость эта объясняется черновым характером первых набросков лишь намечавшейся

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в девяти томах, т. VIII, стр. 36. Изд. «Academia», 1936.

[2] Там же, стр. 145.

[3] Там же, стр. 51.

[1] В. Г. Белинский. Собрание сочинений под редакцией С. Венгерова, т. II, стр. 194. 1900.

[2] См. А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 421. Изд. Академии наук СССР (комментированное издание драматических произведений поэта).

поэтом повесть. Но подобный вывод ошибочен»[1].

«Как зыбка грань, отделяющая пушкинские черновые программы от его чистовой прозы, видно из того, что иногда эти черновики становились сами по себе чистовой прозой»,— заметил (вне связи с пушкинской «Историей Петра») другой исследователь, приводя в пример пушкинское «Путешествие в Арзрум», повесть «Кирджали» и «Сцены из рыцарских времен»[2].

Но как ни зыбка грань, отделяющая в незавершенной «Истории Петра» черновые программы Пушкина от кусков его прозы, грань эта существует и может быть выяснена в результате исследования.

Если бы «История Петра» была завершена Пушкиным и те приближающиеся к завершению отрывки, которые мы обнаруживаем в подготовительном пушкинском тексте, нашли свое место в ней, никто из исследователей не принял бы эти страницы за конспект. Эти страницы «Истории Петра» не являются выписками-конспектами так же, как не являются ими многие поразительные по своему лаконизму страницы напечатанной самим Пушкиным «Истории Пугачева».

Чтобы понять возникновение проступающих в «Истории Петра» страниц пушкинской прозы, необходимо объяснить, какое превращение испытали под пером поэта использованные им исторические источники, которые он нашел в своде Голикова.

* *
*

Говоря о том, что преждевременная смерть Пушкина надолго лишила Россию надежды иметь «учено-художественную историю» Петра, Белинский указывал: «Из прежних попыток сделать что-нибудь для истории Петра Великого достоин величайшего уважения только бескорыстный труд Голикова»[3].

В предисловии к «Деяниям Петра Великого» Голиков скромно и правдиво определил характер своего труда; он пишет о себе, как о «сочинителе», «трудившемся в собрании материалов, могущих послужить со временем к изображению по достоинству важнейшей эпохи в Российской истории»... «Я совсем не историк»,— говорит он. В то же время он просит читателя не смотреть на него, как на писателя — «беллетриста и российского автора». Отказываясь от исторической критики по отношению к Петру Великому, Голиков просил также не порицать его за то, что слог его «часто будет походить больше на панегирический, нежели исторический»[1].

Голиков видел в себе собирателя материалов для будущего историка-писателя. Надежда не обманула его, таким писателем-историком Петра явился Пушкин.

Замечательно, что, далеко опередив в своих взглядах на Петра предшественников и современников, Пушкин использовал все ценное, что можно было использовать для решения новых больших задач в старом труде Голикова. Пушкин отбросил панегирические рассуждения Голикова о Петре и архаическую форму изложения, он сумел критически воспользоваться громадным фактическим материалом, собранным Голиковым.

Что же сделал Пушкин с найденным у Голикова материалом, испытавшим под его пером необыкновенное превращение?

Под пером Пушкина панегирически изложенный Голиковым свод материалов о Петре превратился в сочинение, запрещенное Николаем I. Таково первое превращение, совершившееся с голиковскими «Деяниями Петра Великого» в процессе работы над ними Пушкина.

Лишенный художественной структуры исторический материал, найденный у Голикова, Пушкин использовал для создания учено-художественной «Истории Петра». (Незавершенность пушкинского труда не должна мешать пониманию этого). Таково второе превращение, которое

---

[1] Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института им. Герцена, т. XIV, 1938. См. стр. 80 и след.

[2] Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы, стр. 286. 1929.

[3] В. Г. Белинский. Собрание сочинений под редакцией С. Венгерова, т. VI, стр 120. 1903.

[1] Деяния Петра Великого», т. I, стр. I—VII. (Томы первого издания голиковского труда, которыми пользовался Пушкин, вышли в 1788—1789 гг. В настоящем очерке ссылки даются повсюду на второе издание, вышедшее в 1837—1839 гг.).

суждено было испытать «Деяниям Петра Великого» под пером Пушкина.

Наконец, «голиковская проза» (которую Пушкин приводил, как пример прозы, лежащей вне искусства[1]), превращалась в пушкинскую прозу под пером поэта-историка.

Чтобы дать читателю образчик голиковской прозы, приведем строки, посвященные Голиковым смерти Мазепы: «В сие то время Мазепа, видя толь неприятные следствия своей измены, и не возмогая переносить при старости своих несчастий, от печали, а может быть и от угрызения совести, которой нельзя, чтоб не чувствовали и самые злодеи, получил, яко подражатель Иуды, Иудину же и смерть, убив сам себя ядом»[2].

Решающее значение идейно-художественной системы, подчиняющей себе (в новом гениальном произведении) использованные и преобразованные элементы прежде существовавших сочинений, Пушкин подчеркнул в одной из своих заметок. Говоря о трагедии «Ромео и Джульетта», которую он относил к числу пьес не написанных, а только «поправленных» Шекспиром, Пушкин заметил: «... но она так явно входит в его драматическую систему и носит на себе так много следов вольной и широкой его кисти, что ее должно почесть сочинением Шекспира»[3].

В этом смысле превращение, которому подвергся под пером Пушкина материал, взятый из голиковских «Деяний Петра Великого», далеко оставляет за собой превращение, испытанное старинными пьесами под пером Шекспира.

Новая историческая точка зрения Пушкина определяла новую перспективу в изображении Петра и его эпохи. Поэтому, как бы широко ни использовал поэт-историк почерпнутый им в старом труде Голикова материал, на страницах пушкинской «Истории Петра» этот старый материал приобретал новое качество — историческое и художественное. Голиков протоколирует исторические события. Пушкин изображает их: он создает в своем повествовании драматическое движение как при изображении общего хода событий эпохи, обнимаемых его недописанной книгой, так и внутри каждой из уже намечавшихся им глав «Истории Петра».

Отношение к Петру народа — тема острая. Голиков старается ее не замечать. В книге Пушкина ей предназначается важное место.

Описав взятие Нарвы Петром, Пушкин заканчивает страницы, посвященные событиям 1704 года, изображением последовавшего за взятием Нарвы торжественного въезда Петра в Москву. У Голикова, материалом которого воспользовался Пушкин, говорится, что «множество народное», наблюдавшее триумфальный въезд Петра, начало «узнавать пользу преображенного своего воинства в вид, суеверию их казавшийся неприятным»[1].

Пушкин пишет не только о преобразовании войска, о его новом виде, который раньше «суеверию» казался «неприятным». Он остается как будто очень близок к Голикову, когда говорит: «Знатнейшие люди всех сословий поздравляли государя. Народ смотрел с изумлением и любопытством на пленных шведов, на их оружие, влекомое с презрением, на торжествующих своих соотечественников и начинал мириться с нововведениями» (стр. 127). Но в отличие от своего источника, говоря о народе, что он «начинал мириться с нововведениями», Пушкин намечает здесь узел одной из главных линий «Истории Петра»: речь идет о насильственном характере петровских преобразований и об отношении к ним народа. Описание нарвского триумфа у Пушкина становится поэтому не только концовкой намечающейся главы, в которой описано взятие Нарвы, но и важным — тематически и композиционно — моментом построения всей книги о Петре. Это становится ясным, если сравнить с пушкинским описанием нарвского триумфа пушкинское же описание триумфа, последовавшего за полтавской победой.

В то время, как Голиков при описании полтавского триумфа пишет лишь о пушечной пальбе, колокольном звоне, военной

---

[1] Говоря о том, что описание кавказской природы в «Кавказском пленнике» уже не удовлетворяет его, Пушкин шутя заметил: «Пред поэзией кавказской природы поэма моя — голиковская проза» (Письмо к Бестужеву от 30 ноября 1825 г.).

[2] «Деяния Петра Великого», т. IV, стр. 166.

[3] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в девяти томах, т. VIII, стр. 46. Изд. «Academia», 1936.

[1] «Деяния Петра Великого», т. II, стр. 112.

музыке, барабанном бое и «радостном от неисчетного народа восклицании сих слов: здравствуй, государь, отец наш!»[1], Пушкин пишет о том, что после полтавской победы Петр вступил в Москву при «восклицании наконец с ним примиренного народа: здравствуй, государь, отец наш!» (стр. 225)[2].

В этих словах Пушкина мы видим, как переменилось, на взгляд поэта-историка, отношение к Петру со стороны народа, который пять лет назад, после нарвской победы, только «начинал мириться с нововведениями».

Немногими чертами, иногда двумя-тремя словами Пушкин решительно меняет освещение взятых у Голикова фактов. Под 1698 годом Пушкин пишет: «В начале года Петр отправился в Англию на яхте и на трех английских военных кораблях, присланных от короля с частию своего посольства» (стр. 57), «...а господина Лефорта,— говорит в этом месте Голиков, — Петр «оставил в Амстердаме, при разлучении с которым, яко с верным другом, прощался со слезами»[3]. Пушкин же пишет: «...Лефорта оставил он в Амстердаме и, расставаясь с ним, плакал (вероятно будучи пьян)» (стр. 67).

Рассказывая о пребывании Петра в Голландии, Пушкин говорит о его работе на кораблестроительной верфи. С фактической стороны он следует Голикову, который упоминает и о том, что Петр был «по искусству своему в работе назван Питер-Басом, то-есть Петром-мастером, которое название было ему приятнее тогда всех титулов величества»[4].

Пушкин вместо этого написал: «Корабельные мастера звали его Piter Bas, и сие название, напоминавшее ему деятельную, веселую и странную его молодость, сохранил он во всю жизнь» (стр. 62). У Голикова нет, разумеется, ничего подобного этим словам Пушкина, которые так выразительно характеризуют молодость Петра.

Эти примеры помогают нам понять, как, в свете исторических идей поэта, совершалось в «Истории Петра» превращение голиковской прозы в пушкинскую прозу, и показывают, насколько обманчива близость Пушкина к Голикову даже там, где на поверхностный взгляд видны только сокращение и «перевод» архаического по слогу голиковского труда на язык Пушкина.

Понимание творческого, глубоко самостоятельного отношения Пушкина к использованию источников является ключом к объяснению мнимых заимствований Пушкина, на которые нередко указывали (вырывая из контекста отдельные строки), и при исследовании законченных произведений великого поэта. Потому что даже и тогда, когда Пушкин кажется близким к источнику, — по своей поэтической мысли он обычно очень далек от него.

Гоголь восхищался отличающей Пушкина «чрезвычайной быстротой описания» и его «необыкновенным искусством немногими чертами означить весь предмет»[1]. Это необыкновенное искусство Пушкина мы узнаем и на страницах «Истории Петра». Даже там, где Пушкин «только сокращает» Голикова, поэт гениально меняет пропорции: он создает новую перспективу в изображении описываемых событий. Говоря о слоге Пушкина, Гоголь заметил: «Рисует ли он боевую схватку... слог его... летит быстрее самой битвы»[2]. В движении живой пушкинской мысли создается — ничем не напоминающий Голикова — новый ритм и темп повествования, и читателю открывается чудо создающейся пушкинской прозы.

Используя голиковский материал, Пушкин создавал свою — новую идейно и художественно — структуру книги о Петре. Поэтому даже там, где Пушкин, кажется, меняет использованный им исторический материал «чуть-чуть», он меняет его необыкновенно сильно, как меняется все, что видит наблюдатель, если чуть-чуть повернуть линзы телескопа.

4

Голиковский свод источников лежал у Пушкина перед глазами; ряд других исторических источников Пушкин использовал — и собирался еще использовать — в своем

---

[1] «Деяния Петра Великого», т. IV, стр. 104—105.

[2] Разрядка моя. — *И. Ф.*

[3] «Деяния Петра Великого», т. I, стр. 126.

[4] Там же, т. I, стр. 117.

[1] Н. В. Гоголь. Несколько слов о Пушкине. Полное собрание сочинений, т. III, стр. 132. Изд. «Просвещение».

[2] Там же, стр. 131.

труде. (Многих книг о Петре он не успел прочесть и изучить).

Пушкинские ссылки на источники не только дают возможность определить круг исторических фактов, которые Пушкин имел в виду охватить в своей «Истории Петра», но и помогают нам увидеть Пушкина в споре с этими источниками: мы видим, что, используя найденный в источниках фактический материал, великий поэт в ряде случаев не соглашается с ними в освещении и оценке событий русской истории.

Но Пушкин знал Россию и ее историю не только по книгам. Поэт знал не только древнюю и новую, созданную Петром, столицы России. Описывает ли он Персидский поход Петра — в его повествовании сказывается знание Кавказа и опыт «Путешествия в Арзрум во время похода 1829 года» (мы знаем: Пушкин видел войну и скакал «с саблею наголо против турок, на него летящих»[1]). Когда Пушкин пишет о Турецкой войне 1711 года, то есть о Прутском походе Петра, он говорит об этих местах, как очевидец, поправляя Моро-де-Бразе — иностранного офицера русской службы, который участвовал в Прутском походе Петра и рассказал о нем в своих записках. (Записки эти Пушкин во время работы над «Историей Петра» частично перевел и комментировал, собираясь их опубликовать).

Моро пишет: «Жары нестерпимы в сих местах, где видно только небо да горы раскаленного песку, без деревьев, без жителей и без воды». Пушкин поправляет рассказчика: «Степи Буджацкие не песчаные; они стелются злачной, зеленой равниною, усеянною курганами... Правда, что в 1711 году эти степи были голы: трава съедена была саранчею»[2].

Но исправляет Пушкин не только географию Моро, в которой тот пользуется, по ироническому выражению поэта, «правом рассказчика»[3]. Живо сказывается критическое отношение поэта-историка ко всему рассказу иностранца, которого он называет «наемным храбрецом»[1].

В своей «Истории» Пушкин остается объективным и при описании неудачного для Петра Прутского похода, но чувство патриота сказывается даже в оборотах и интонациях Пушкина. У Голикова в описании Прутского похода приведена цитата из «Журнала Петра Великого», где изложение ведется от первого лица, и мы читаем слова Петра: «Перед нашим войском», «с нашей стороны», «а у нас кроме рогаток ничего не было» и т. д.[2] Замечательно, что Пушкин в своей рабочей записи, не ссылаясь на «Журнал Петра», пишет также от первого лица: «Всего н а с было 31.554 пехоты, да 6.692 конницы и т о п о ч т и б е с к о н н о й» (стр. 260)[3]. Эта фраза дана Пушкиным в конце описания дневного боя от первого лица: Пушкин выразительно передает в ней впечатление неравенства сил малочисленной русской армии, стоявшей против войска турок: для Пушкина русские войска, Россия — это «мы»!

По поводу же мнения Моро-де-Бразе о причинах неудачи Прутского похода Пушкин пишет: «Как заметно, что здесь говорит иностранец, приверженный к своей партии»[4]. Это замечание Пушкина связано с недобросовестным и пренебрежительным отношением к русским со стороны многочисленных иностранцев — названных здесь «партией» иноземцев, — которым Петр так широко открыл ворота в Россию.

В подготовительном тексте «Истории Петра» многих чрезвычайной важности вопросов Пушкин коснулся лишь вскользь или даже совсем не успел коснуться, несмотря на то, что сознавал их значение. Однако даже отрывочные замечания Пушкина к «Запискам Моро-де-Бразе» выразительно говорят нам о его отношении к борьбе, которую русским приходилось ве-

[1] М. И. П у щ и н. Встреча с Пушкиным за Кавказом. (См. «Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников», стр. 467. ГИХЛ, 1936).

[2] А. С. П у ш к и н. Полное собрание сочинений в девяти томах, т. VIII, стр. 639. Изд. «Academia», 1936.

[3] Там же.

[1] А. С. П у ш к и н. Полное собрание сочинений в девяти томах, т. VIII, стр. 611, Изд. «Academia», 1936.

[2] «Деяния Петра Великого», т. IV, стр. 253.

[3] Разрядка моя. — *И. Ф.*

[4] А. С. П у ш к и н. Полное собрание сочинений в девяти томах, т. VIII, стр. 632. Изд. «Academia», 1936.

сти против «партии» иностранцев, призванных на службу Петром.

С борьбою иностранной и русской партий в генералитете Петра связано и следующее замечание Пушкина по поводу рассказа Моро-де-Бразе о Прутском походе. Пушкин пишет: «Благодарим нашего автора за драгоценное показание. Нам приятно видеть удостоверение даже от иностранца, что и Петр Великий и фельдмаршал Шереметев принадлежали партии русской»[1].

В конце своего царствования Петр действительно предпринял некоторые меры для того, чтобы ослабить созданный им в России рассадник немцев. (Одну из таких мер Пушкин под 1722 годом отметил: «Петр повелел принимать иностранных офицеров с понижением чина против российских etc» (стр. 404). Но эти меры Петра оказались — мы знаем — запоздалыми. Реакционное значение иностранных наемников самодержавия и их «партии» в императорский период русской истории, последовавший за смертью Петра, слишком известно.

Моро-де-Бразе рассказывает еще в своих записках о Прутском походе о том, как русские гренадеры «просились на коней, дабы .. выручить» ввязавшихся в схватку с турками венгерцев, служивших в войске Петра. «Но генерал Янус, — говорит Моро, — не хотел взять на себя ответственность и завязать дело с неприятелем». Пушкин здесь замечает: «Кажется, русские варвары (интересно, что слово «варвары» Пушкин в рукописи иронически вписал. — *И. Ф.*) в этом случае оказались более жалостливыми, нежели иностранцы ими предводительствовавшие»[2].

Указывая, что «Записки Моро-де-Бразе» представляют собою «важный исторический документ», Пушкин следующим образом поясняет свой взгляд на значение этих «Записок»: «Моро не любит русских и недоволен Петром; тем замечательнее свидетельства, которые вырываются у него поневоле»[1].

5

Мы лучше поймем, чем успела стать «История Петра» в процессе работы над ней Пушкина, если уясним себе вопрос о том, какие важные стороны пушкинского труда остались неосуществленными или недоработанными.

Александр Тургенев — человек больших исторических знаний — удивлялся, как широко был Пушкин знаком с историей России, в особенности с эпохами бурь и переломов русской истории.

Первым большим трудом Пушкина-историка недаром была «История Пугачева» (которую Николай I предписал переименовать в «Историю Пугачевского бунта», указав, что бунтовщик не может иметь истории).

Современник Пушкина Вяземский писал: «...Труд его не столько история Пугачевского бунта, сколько военная история этого бунта. Автор свел в одно стройное целое военные реляции, военные дневники и материалы. Из них составил он боевую картину свою. Но в историю события, но вглубь его он почти не вникнул, не хотел вникнуть, или, может быть, что вероятнее, не мог вникнуть по внешним причинам, ограничившим действие его...»[2]. Яснее сказать было почти невозможно: «По внешним причинам, ограничившим» Пушкина, история Пугачева явилась по преимуществу военной историей его.

В «Истории Петра», которая должна была стать огромным, несравненно более широким, чем «История Пугачева», историческим полотном, поэт решал более обширные и сложные исторические и художественные задачи: Пушкин имел в виду изобразить эпоху Петра в целом. Но так же, как и в «Истории Пугачева», он в гораздо большей мере смог и успел изобразить в «Истории Петра» военную историю эпохи.

В «Очерке введения» к пушкинской

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в девяти томах, т. VIII, стр. 646. Изд. «Academia», 1936.

[2] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. X, стр. 317 и 432 Изд. Академии наук СССР, 1938.

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в девяти томах, т. VIII, стр. 617. Изд. «Academia», 1936

[2] П. А. Вяземский. Сочинения, т. II, стр. 375 1879.

«Истории Петра», который дошел до нас, мы читаем: «Введение. — Россия извне. — Россия внутри. — Подати. — Торговля.—Военная сила. — Дворянство.— Народ. — Законы. — Просвещение. — Дух времени» (стр. 451). Несомненно, эти важнейшие стороны исторической эпохи должны были быть освещены Пушкиным.

Далеко продвинувшись в своей работе, Пушкин всё больше убеждался, что дописать «Историю Петра» — так, как он писал ее, — и напечатать ее в николаевской России — невозможно.

Если мы поставим вопрос хотя бы о значении народных восстаний в эпоху Петра, то едва ли возможно представить себе, что Пушкин, автор «Истории Пугачева», если бы он закончил свою книгу о Петре, ограничился бы в ней рядом страниц, которые являются в его рукописи лишь изложением фактов военной истории этих восстаний по источникам, где они представлены только как историческое препятствие делу Петра.

Но разработать и осветить историю народных восстаний Пушкин в своей книге о Петре не мог. Мы знаем, что даже о вышедшей в свет с разрешения Николая I «Истории Пугачева» враг Пушкина, министр Уваров, автор знаменитой впоследствии формулы «Православие, самодержавие и народность», кричал, «как о возмутительном» (т. е. революционном) сочинении[1].

Не разработал Пушкин в своей книге о Петре и ряд других сторон изображаемой эпохи.

Сравнительно мало представлены на страницах незавершенной книги Пушкина сподвижники Петра, хотя им — и отношению к ним Петра — посвящен Пушкиным ряд замечательных строк. Среди них есть записи, сделанные (как говорил Пушкин по поводу «вольных» строф «Онегина») «спустя рукава», то есть заведомо не для печати. Вот, например, как начинаются пушкинские страницы, посвященные событиям 1723 года:

«Петр застал дела в беспорядке. Он предал суду между прочим кн. Меншикова и Шафирова; последний обвинен и осужден на лишение чинов, имения и жизни.

Что было их преступление? Одна ли непослушность и высокомерие? Должно исследовать. А за то, что Шафиров при всем сенате разругал по матерну обер-прокурора Скорнякова-Писарева... кажется на смерть осудить нельзя...

...Он был помилован уже на плахе и сослан в Сибирь со всем семейством.

У Меншикова отняли деревни, приписанные к гор[оду] Почепу, коим он владел уже 11 лет...

Шафирова Петр неоднократно увещевал и наказывал келейно; что случалось со всеми его сподвижниками, кроме Шереметева и может быть кн. Якова Долгорукова» (стр. 426—427).

* *
*

Мы говорили, что в своей незавершенной книге Пушкин в гораздо большей мере успел изобразить «войну», нежели «мир» Петра.

В его «Истории», как раньше в поэзии, сказалась «воинственная судьба» России. Когда мы читаем стихи Пушкина: «Суровый был в науке славы ей дан учитель...», мы вспоминаем суворовскую «Науку побеждать».

Пушкин-историк изучал блестяще написанные реляции Суворова, который говорил, что если б он не стал полководцем, то был бы писателем.

И если должно сказать об учителях Пушкина, которых он превзошел в своей военно-исторической прозе, нельзя не вспомнить о Денисе Давыдове, три славы которого—славу воина, славу поэта и славу отличного прозаического писателя — вспоминал Белинский, говоривший, что «как прозаик Денис Давыдов имеет полное право стоять наряду с лучшими прозаиками русской литературы»[1]. Недаром, видимо, посылая Денису Давыдову «Историю Пугачева», Пушкин в стихотворном послании назвал его своим отцом и командиром по этой трудной писательской службе.

---

[1] Дневник Пушкина, февраль 1835 года. (См. Полное собрание сочинений в девяти томах, т. IX, стр. 525, Изд. «Academia», 1937).

[1] В. Г. Белинский. Собрание сочинений, т. 1, стр. 989—990. 1919.

Изображая «воинственную судьбу» России, Пушкин в своей «Истории Петра» показывает историческое значение его побед.

Пушкин ясно и верно понимал исторический смысл борьбы Петра за Балтику, он широко освещает ее в своей «Истории Петра». На страницах ее мы видим Петра — строителя флота, создателя морской столицы России, победителя на суше и на море.

«Только в результате превращения Московии из чисто континентальной страны в приморское государство, — по словам Маркса, — московская политика могла выйти из своих традиционных границ»[1].

6

Образ допетровской Москвы, Москвы детства и юности Петра, с её стрелецкими бунтами и казнями, открывается нам на страницах незавершенной пушкинской книги. Действие переносится из Москвы в Голландию, где Петр с топором в руках работает на верфях, и в Англию. Первый безуспешный Азовский поход сменяется вторым, победоносным, и взятием Азова. С Азовских берегов Петр устремляется к берегам Балтики. Города Польши и поля Украины, степи Буджака и волны Балтики, Париж и границы Персии — таково огромное пространство действия, представленное нам в намечающемся повествовании Пушкина.

Содержание и драматическое движение первой, близкой к завершению, главы пушкинской «Истории» определено борьбой за власть, которую вели против Петра бояре и правительница Софья. В этой главе изображены бунты стрельцов, троекратное бегство Петра в Троицкий монастырь и его победа над мятежниками.

Пушкин пишет о детстве Петра: «Рассказывают, будто бы на третьем году его возраста, когда в день именин его, между прочими подарками, один купец подал ему детскую саблю, Петр так ей обрадовался, что, оставя все прочие подарки, с нею не хотел даже расставаться ни днем, ни ночью. К купцу же пошел на руки, пожаловал его в голову и сказал, что его не забудет. Царь пожаловал купца гостем, а Петра, при прочтении молитвы духовником, сам тою саблею опоясал. При сем случае были заведены потешные» (стр. 19—20).

«...Зотов по утрам обучал царевича грамоте и закону, а после обеда рассказывал ему российскую историю. Покои дворца были расписаны картинами, изображавшими главные черты из истории, главные европейские города, здания, корабли и проч.» (стр. 20).

Вслед за избранием на царство десятилетнего Петра Пушкин рассказывает о возмущении стрельцов:

«...стрельцы, отпев в Знаменском монастыре молебен с водосвятием, берут чашу святой воды и образ божьей матери, предшествуемые попами, при колокольном звоне и барабанном бое вторгаются в Кремль...

...Стрельцы, разбив Холопий приказ, разломали сундуки, разорвали крепости и провозгласили свободу господским людям. Но дворовые к ним не пристали» (стр. 23—24).

Пушкин пишет о том, что после нового возмущения стрельцов юный Петр удалился в село Преображенское и умножил число потешных. О роте потешных мы читаем: «Петр был в ней барабанщиком и за отличие произведен в сержанты. Так начался важный переворот, впоследствии им совершенный: истребление дворянства и введение чинов» (стр. 26). Пушкин имеет в виду, как мы говорили уже, оттеснение родовитого дворянства.

Выразительно сменяются под пером Пушкина сцены новых стрелецких мятежей. Говоря о бунте, связанном с именем Хованских, Пушкин пишет о том, как стрельцы «громко грозились пойти к Троице», где тогда находился Петр, и добавляет: «в сие самое время, пишут летописцы, дана Петру отрава, от которой страдал он целую жизнь» (стр. 31). Узнав о казни Хованских, стрельцы «пришли в робость» и выдали зачинщиков бунта; они «сверх того отрядили из всех полков десятого на казнь. Выборные шли, двое несся плаху, а третий топор» (стр. 31).

В заключении главы Пушкин пишет о том, как, подавив новый бунт и свергнув

[1] К. Маркс. Секретная дипломатия XVIII века. (Цитата дана по книге «История СССР». Т. I, стр. 553. 1947).

«главную виновницу» мятежей правительницу Софью, «Петр выехал из монастыря и отправился в Москву. В селе Алексеевском встретили его все чины московские при бесчисленном множестве народа. Стрельцы от самого села до Москвы лежали по дороге на плахах, в коих воткнуты были топоры, и громко умоляли о помиловании. Петр въехал в Москву 10 сентября и прямо прибыл к собору. От заставы до самого собора стояло войско в ружье. Петр за спасение свое отслужил благодарственное моление. Перед царским домом встретил его Иоанн. Оба брата обнялись и старший в доказательство своей невинности уступил меньшему всё правление, и до самой кончины своей (1696 г.) вел жизнь мирную и уединенную.

Отселе царствование Петра единовластное и самодержавное» (стр. 46).

Эта выразительная сцена звучит как концовка первой главы.

В следующем дошедшем до нас разделе пушкинской рукописи действие переносится на берега Азовского моря. Страницы эти гораздо дальше от завершения, чем первая глава, но и по ним можно судить, как намечалось у Пушкина изображение первого Азовского похода, неудачного из-за отсутствия флота и измены начальника русской артиллерии голландца Якова Янсена, который «ночью, заколотя пушки, бежал в Азов» (стр. 47—48), и как описание первого похода сменяется у Пушкина изображением второго, победного похода и взятием Азова. Изображение триумфа, ознаменовавшего взятие Азова, Пушкин кончает словами о том, что триумф этот украшен был выданным Петру после капитуляции Азова изменником Янсеном, «который ехал под виселицей, обвешенной кнутами» (стр. 52).

После сцены азовского триумфа Пушкин пишет: «В честь сего похода выбита медаль с изображением Петра и с надписью: молниями и водами победитель» (стр. 52).

«Когда государственные чины пришли поздравить государя с победою, — пишет далее Пушкин, — то он сказал им, что победу сию должно приписать флоту, им выстроенному, хотя и в малом числе. Он тут же объявил о намерении своем умножить его 66-ю новыми кораблями, расписал им математический размер» и т. д. «В три года, несмотря на общий ропот, — подчеркивает Пушкин, — флот был выстроен, снащен и вооружен...» (стр. 52).

Отъезд Петра за границу и его пребывание там должны были явиться содержанием следующего раздела «Истории Петра». Драматическое начало его определяется сопротивлением, которое вызвало в России небывалое намерение царя, и обидами, причиненными Петру и его посольству шведским губернатором в Риге.

Рассказ о первом заграничном путешествии царя Пушкин заканчивает словами: «Петра ожидали в Италию, как вдруг получил он через посланного из Москвы гонца известие о новом стрелецком бунте, и государь поспешил возвратиться в Россию с Лефортом и с Головиным, поруча Возницыну присутствовать с цесарскими и венецианскими министрами на Карловицком конгрессе» (стр. 70).

Рассказав об усмирении нового бунта и о казни стрельцов, Пушкин переходит к событиям следующего, 1699 года: «Петр, — пишет он, — занялся внутренними преобразованиями» (стр. 74).

На этих страницах «Истории Петра» изображается канун и возникновение Северной войны, начавшейся с началом нового века. Поэтому содержание их чрезвычайно важно. Пушкин пишет:

«Петр завоеванием Азова открыл себе путь и к Черному морю; но он не полагал того довольным для России и для намерения его сблизить свой народ с образованными государствами Европы. Турция лежала между ими. Он нетерпеливо обращал взоры свои на северо-запад и на Балтийское море, коим обладала Швеция. Он думал об Ижорской и Карельской земле, лежащих при Финском заливе, некогда нам принадлежавших, отторгнутых у нас незаконно во время несчастных наших войн и междуцарствия» (стр. 76—77).

Рассказывая о возникновении Северной войны, Пушкин пишет, что Петр требовал не только великого посольства с извинениями за обиды, причиненные ему в Риге шведским губернатором, которые «казались Петру достаточным предлогом к началу войны» (стр. 77). Петр требовал возврата России города Нарвы, либо Нейшанца

(Канцы), с окрестной землею (место, где был построен впоследствии Петербург).

«Ни одна великая нация не существовала и не могла существовать в таком удалении от всех морей, в каком пребывала вначале империя Петра Великого, — писал Маркс. — Никто не мог себе представить великой нации, оторванной от морского побережья. Россия не могла оставить в руках шведов устье Невы, которое являлось естественным выходом для сбыта продукции»[1].

В «Истории Петра» Пушкин не однажды подчеркивает, что Петр желал «единственно иметь порт на Балтийском море» (стр. 152 и др.).

«Ответ Карла XII, — пишет Пушкин, — получен уже в 1700 году. Король отвечал, что рижский губернатор был совершенно прав, а жалобы русского двора неосновательны. В требовании же пристани на Балтийском море отказано» (стр. 77).

Заключительные строки, посвященные Пушкиным 1699 году — последнему году старого столетия, гласят:

«Повелено с наступающего года вести летоисчисление с Рождества Христова, а уже не с сотворения мира, а начало года считать с 1-го января 1700 года, а не с 1-го сентября. Для доброго начинания приказано было в Москве все дома украсить зелеными ветвями (елкой) и друг друга поздравлять с новым годом и новым столетием (столетным веком). Никогда, — пишет Пушкин, — новое столетие от старого так не отличалось» (стр. 78—79).

Начало Северной войны и описание Нарвского сражения должны были составить содержание следующих страниц книги Пушкина.

Лучшим эпиграфом к записям Пушкина, посвященным нарвскому разгрому, явились бы слова Маркса: «Нарва была первой большой неудачей подымающейся нации, умевшей даже поражения превращать в орудия победы»[2].

Пушкин пишет: «Петр получил известие о поражении, в то время как он спешил под Нарву с 12.000 войска, с амуницией и с военными снарядами, он не упал духом...» (стр. 92).

5 декабря уже писал он строгое письмо Шереметеву, повелевая ему итти на неприятеля. «Болота замерзли, — писал Петр, — людей довольно; отговариваться нечем, разве болезнию, полученной меж беглецами — из коих майор[1] на смерть осужден» (стр. 93).

Пушкин пишет далее о том, что Петр «наградил свою гвардию, не положившую ружья даже по лишению своих начальников», повелел в Новгороде «беспрерывно обучать новые полки», приказал перелить в пушки часть монастырских и городских колоколов, а на Волге, в глубоком тылу, готовить новые драгунские полки.

В связи с изменой под Нарвою иностранных офицеров, служивших в армии Петра, Пушкин пишет в последних строках, посвященных им 1700 году: «Все полковники, вновь назначенные, были уже русские, кроме двух новогородских полков» (стр. 93).

Страницы, посвященные поражению под Нарвой, сменяются у Пушкина изображением осады и взятия Нотебурга — древнего Орешка. Медаль, выбитая в честь возвращения старой русской крепости, изображала портрет Петра, а на другой стороне, — записывает Пушкин, — «город, бомбардированный с надписью: «был у неприятеля 90 лет» (стр. 109). После победы, — пишет он, — Петр назвал взятый город Шлиссельбургом (ключ-городом), видя в нем «ключ, коим отопрутся и другие лифляндские города» (стр. 107).

Следующий за взятием Шлиссельбурга — 1703 год стал годом основания Петербурга. Строки, посвященные Пушкиным рассказу об этом важнейшем историческом деле Петра, могли бы явиться в книге Пушкина началом новой главы:

«Посреди самого пылу войны, Петр Великий думал об основании гавани, которая открыла бы ход торговле с северо-западною Европою и сообщение с образованностью. Карл XII был на высоте своей славы; удержать завоеванные места, по мнению всей Европы, казалось невозможно. Но Петр Великий положил исполнить ве-

[1] Маркс. Секретная дипломатия XVIII века. (Цитата дана по книге «История СССР» т. 1, стр. 546. 1947).

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. X, стр. 227. 1933.

[1] Имя майора не приведено.

ликое намерение и на острове, находящемся близ моря, на Неве, 16 мая заложил крепость С.-Петербург (одной рукою заложив крепость, а другой ее защищая)», — говорит в скобках Пушкин, ссылаясь на Голикова (стр. 113).

Мы читаем дальше о прибытии в Петербург первых голландских кораблей:

«Петр всегда посещал корабельщиков на их судах. Они угощали его водкой, сыром и сухарями. Он обходился с ними дружески. Они являлись при его дворе, угощаемы были за его столом...» До сих пор Пушкин остается как будто близок к источнику. «Их уважали и, — добавляет Пушкин, — вероятно не любили» (стр. 115)[1]. Как меняют все дело эти слова Пушкина!

Осада и взятие Нарвы Петром — исторический ответ на нарвский разгром, ознаменовавший начало Северной войны, изображаются Пушкиным вслед за основанием Петербурга. Через четыре года после поражения под Нарвой: «Петр, отпраздновав победу[2] на шведских фрегатах, со шведскими знаменами и штандартами — Чудским озером возвратился под Нарву.

Артиллерия была привезена. Петр в воинском совете положил сделать пролом с Иван-городской стороны в бастионе, именуемом Виктория. В тот же час построены батареи и кетели...

...30-го июля, после молебствия, началась канонада в тот бастион и бомбардирование города. Произошли пожары; лаборатория с треском была взорвана. В 9 дней сделан был в бастионе широкий пролом. С другой стороны бастион Гонор был обрушен и засыпал собою ров...

В сей крайности Петр предложил через дерптского коменданта Шките о сдаче города на условие...

Ответ Горна, пришедший на другой день, был гордый и обидный отказ. Петр повелел его прочесть перед войском. Озлобленные солдаты требовали, чтоб их вели на приступ. Военный совет определил быть приступу.

8-го августа приступные лестницы тайно принесены в апроши. Все гренадеры посланы туда с повелением при начале приступа метать гранаты на бастион. Против Виктории сделана новая батарея. 9-го армия вся выступила из лагеря к апрошам. В ров с лестницами, по повелению Петра, посланы солдаты, бывшие в бегах и заслужившие казнь. Им приказано ставить их к обрушенному бастиону, по данному знаку лестницы были поставлены, и солдаты под начальством генерал-поручика Шенбека и генерал-майоров Чамберса и Шарфа полезли со всех сторон на стены. Осажденные открыли огонь, взорвали подкоп и осыпали русских бочками, бревнами и каменьями. Русские не хладели и в 3 четверти часа со всех сторон взошли на стены и погнали шведов до самого старого города, куда Горн скрылся вместе с ними. Он запер ворота и в знак сдачи повелел ударить в барабаны. Но рассвирепевшие солдаты ничего не слышали. Горн сам кулаками бил в барабан. Солдаты наши лезли на стену и кололи шведских барабанщиков. Другие устремились за бегущими до самых Иван-городских ворот и менее, нежели в 2 часа, овладели всеми около него укреплениями. В Нарве поднялся грабеж. Солдаты били по улицам всех, кто им ни попадался, не слушая начальников, повелевающих пощаду. Петр кинулся между ими с обнаженной шпагою и заколол двух ослушников. Потом, сев на коня, обскакал[1] нарвские улицы, грозно повелевая прекратить убийства и грабёж, расставил повсюду караулы (особенно по церквам и лучшим домам) и прибыл к Ратуше, наполненной трепещущими гражданами. Петр, между ими увидев и Горна, в жару своем дал ему пощечину, и сказал с гневом: «Не ты ли всему виноват? Не имея никакой надежды на помощь, никакого средства к спасению города, не мог ты давно уже выставить белого флага?» — Потом, показывая шпагу, обагренную кровью, «смотри», — продолжал он, — «эта кровь не шведская, а русская. Я своих заколол, чтоб удержать бешенство, до которого ты довел моих солдат своим упрямством» (стр. 120—122).

Рассказ о событиях 1704 года заканчивается описанием триумфального въезда Петра в Москву, последовавшего за взятием Нарвы. Взятый в плен комендант

[1] Разрядка моя. — *И. Ф.*

[2] Взятие Дерпта.

[1] Чтение этого слова исправлено по тексту Полного собрания сочинений А. С. Пушкина в десяти томах. Изд. Академии наук СССР, т. IX, стр. 124. 1949.

Нарвы проведен был по улицам Москвы. Пушкин пишет об этом, называя число пленных, именуя трофеи: «Веденъ были генерал-майор Горн и 159 офицеров, несено 40 знамен и 14 морских флагов, везено 80 пушек... Знатнейшие люди всех сословий поздравляли государя Народ смотрел с изумлением и любопытством на пленных шведов, на их оружие, влекомое с презрением, на торжествующих своих соотечественников» (стр. 127).

Мы вправе предполагать, что это описание должно было стать заключением одной из намечавшихся уже глав «Истории Петра».

Исторический канун Полтавы составляет содержание следующих разделов пушкинской рукописи. Это время было для Петра критическим. Говоря о событиях 1707 года, Пушкин пишет:

«Порта вошла тогда в сношение с Карлом, возмущаемая польским послом. Кубанские народы также шевелились. Карл хвалился явно, что придет в Москву и возмутит русских уже готовых к бунту.

Петр послал бомбардирского капитана Корчмина с повелением укрепить [в Москве] Кремль и Китай» (стр. 177).

Пушкин пишет о жестокостях шведов: после сражения, происшедшего 13 февраля 1706 года, «...русских Рейншильд приказал колоть; их клали одного на другого и кололи штыками и ножами. Таково было повеление Карла» (стр. 154).

Описание событий 1707 года Пушкин заканчивает знаменательными строками, которые мы уже приводили. Шведы, как помнит читатель, надеялись не только победить Петра и свергнуть его с престола, но и уничтожить русское государство.

Заканчивающий эти строки у Пушкина ответ Петра: «Брат мой Карл хочет быть Александром» (...но он не найдет во мне Дария), обозначил бы собой, вероятно, в композиции пушкинской книги исторический канун Полтавы

В дни победы под Лесной, которую Петр называл потом «матерью Полтавской победы», не затих еще Булавинский бунт Вместе с казацкой голытьбой взволновались работные люди на Воронежских верфях и полтавские крепостные крестьяне.

«...наконец 7 июля, — пишет Пушкин о событиях 1708 года, — войсковой атаман Илья Зернов напал на Булавина в Курске; и Булавин после отчаянной обороны застрелился. Труп его привезли в Азов. Петр праздновал сей счастливый случай. Но бунт еще не был усмирен» (стр. 187).

Измена Мазепы, перешедшего на сторону Карла, не нашла, напротив, никакой поддержки в крестьянстве, которое поддержало усилия Петра в войне, ведущейся за независимость русского народа и государства.

Пушкин пишет: «...народ... возненавидел шведов и остался тверд в своем подданстве» (стр. 195). И дальше указывает: «...мужики приносили русскому начальству письма Мазепы; даже нападали на шведов etc» (стр. 198).

Изображение Полтавской битвы должно было явиться у Пушкина содержанием важнейшей главы «Истории Петра». Но глава эта, несмотря на то, что Полтаве посвящен Пушкиным ряд замечательных строк, в его «Истории» только намечена. Значение ее для пушкинского понимания эпохи Петра и для композиции его незавершенной книги определяется тем, что полтавской победой не только был решен исторический, военный спор России с внешним врагом, но в то же время, как считал Пушкин, разрублен важный узел в споре Петра с народом. В предисловии к первому изданию «Полтавы» Пушкин писал об этой победе Петра: «Она избавила его от опаснейшего врага; утвердила русское владычество на юге; обеспечила новые заведения на севере и доказала государству успех и необходимость преобразования, совершаемого царем»[1].

После полтавского разгрома Карл прислал Петру парламентера «с предложением о мире на тех условиях, кои предлагал Петр. Ему отвечали, что уже поздно...» (стр. 216).

Сразу же после победы Петр «объявляет Колычеву за тайну о будущей морской кампании...» (стр. 217). Недаром Петр на поле полтавской победы поднял свой морской, контрадмиральский флаг[2].

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. V, стр. 335. Изд. Академии наук СССР, 1948.

[2] См. Н. В. Новиков. Гангут. Стр. 8. 1944.

Завоевание Прибалтики, взятие Выборга и Риги сменяется на страницах «Истории Петра» описанием Турецкой кампании, неудачного Прутского похода Петра.

Пушкин отвергает рассказы о том, что находившаяся в лагере Петра при Пруте Екатерина отослала, будто бы «тайно от Петра», «деньги и алмазы в подарок визирю...», чтобы купить этой ценой мир и избавить Петра и его армию от угрожавшего разгрома. «Все это вздор», — замечает Пушкин (стр. 261)[1].

Рассказав о том, как Карл прискакал из Бендер о двух конь к визирю, когда мирный трактат «был уже разменен», Пушкин пишет: «Визирь встретил его за лагерем как будто нечаянно. Карл грозно выговаривал ему, как смел он без его ведома кончить войну, начатую за него; турок отвечал, что войну вел он и кончил для пользы султана. Карл требовал от него войска, обещая русских разбить и теперь. Визирь отвечал: «Ты уже их испытал, и мы их знаем. Коли хочешь, нападай на них со своими людьми, а мы заключенного мира не нарушим». Карл разорвал шпорою платье хладнокровного турки, поскакал к крымскому хану, а оттуда в Бендеры...» (стр. 263).

Неудача Прутского похода не смогла помешать укреплению России на Балтике. Изображение Гангутского боя — «Морской Полтавы» — должно было составить содержание одного из важных эпизодов «Истории Петра», в которой Пушкин отдал так много внимания превращению России в великую морскую державу.

Страницы, которые должны были быть посвящены в «Истории Петра» сражению при Гангуте, частью только намечены. Под 1714 годом Пушкин пишет:

«16 июля, осматривая новоприбывший из Голландии корабль, Петр получил от Апраксина известие, что шведский флот у Гангуда, а что адмиралу пройти туда невозможно. — Апраксин требовал от господина шаутбенахта[2] или диверсии, или его прибытия во флот...

...20-го числа прибыл Петр в Тверемюнде к Апраксину; на другой день осмотрел неприятеля...

...Тверемюндская гавань имеет узкий выход. Вывести из оной флот в глазах неприятеля было опасно, к тому же неприятель мог оный и запереть. Петр положил до 80 легких галер перетащить через перешеек и воспользоваться диверсией...» (стр. 324).

«...27 июля весь наш галерный флот выступил, дабы пробиться сквозь шведский (на коем было до 1 127 пушек). Он прошел благополучно под страшным огнем; одна только галера села на мели и взята. Апраксин соединился с Змаевичем — и послал к командиру шведской эскадры... чтоб он сдался. Получа отказ, Петр с генералом Вейдом напал на эскадру; бой продолжался от 3-го до 5-го часа — эскадра была взята, командир оной шаутбенахт Эрншильд был взят в шлюпке, на которой хотел уйти...» (стр. 325).

«...Сия победа и завоевание Аланда привели в ужас Швецию...

...Петр торжествовал морскую победу свою, как Полтавскую...» (стр. 326—327).

После громких побед, одержанных на суше и на море, когда дело Петра казалось уже обеспеченным прочно, возникает процесс царевича Алексея, который должен был стать содержанием чрезвычайно важной главы пушкинской книги о Петре. Страницы, посвященные делу царевича, позволяют нам видеть процесс творчества поэта-историка. На этих страницах проступают куски прозы, которые вошли бы, повидимому, в окончательный текст «Истории Петра» без изменений или почти без изменений. Но многое записано здесь Пушкиным только для себя: тем интереснее в ряде случаев эти записи, опубликование которых в пушкинские времена было немыслимо.

Под 1718 годом мы читаем: «Царевич родился <в> 1690, февраля 29 (высокосный год) до 1699 находился подле царицы. Петр определил к нему в наставники фон-Гизена (царевичу было 10 лет) и поручил его князю Меншикову.

Петр записал его сержантом в гвардию, держал при себе; водил в сражения, посылал путешествовать, уважал его ум... несколько раз давал ему важные

---

[1] Разрядка моя. — *И. Ф.*

[2] То есть Петра, который носил в это время звание шаутбенахта (контр-адмирала).

поручения, в 1708 при Долгоруковом посылал на бунтующий Дон, в 1711— в Польшу. Женил его на принцессе Вольфенбительской... Она, кажется, изменила мужу с молодым Левенвольдом. Царевич ее разлюбил и взял себе в наложницы чухонку...

...Оппозиция вся (даже сам князь Яков Долгоруков) была на его стороне. Духовенство, гонимое протестантом царем, обращало на него все свои надежды. Петр ненавидел сына, как препятствие настоящее и будущего разрушителя его создания...» (стр. 374—375).

Пушкин, как мы видим, подчеркивает, что ненависть Петра к сыну возникла не сразу и по причинам политическим, государственным, а не личным.

Мы читаем далее о том, как бежавший за границу царевич «привезен был в Москву в конце генваря Толстым и Румянцевым».

«3-го февраля велено было гвардейским полкам и 2 ротам гренадер занять все городские ворота. Знатные особы собрались в столовой кремлевского дворца. Туда прибыл и Петр. Царевич без шпаги был приведен и, пав к ногам отца, подал ему повинное письмо, в коем просил помилования.

Петр принял письмо и объявил сыну прощение, но приказал ему объявить о всех обстоятельствах побега и о всех лицах, советовавших ему сию меру или ведавших об оной. Буде же утаит, то прощение будет не в прощение.

Потом Петр объявил его от наследства престола отрешенным и требовал от царевича, чтоб он ныне присягою утвердил прежнее свое отрицание. Царевич прочел заготовленную присягу.

Тогда Петр повелел прочесть манифест, в коем он, объясняя преступление царевича, лишает его престола, и потом все министры, генералы, офицеры и знатные граждане присягнули царевичу Петру Петровичу, яко законному наследнику престола...» (стр. 375—376).

«... 4 <го> начался суд.

Петр предложил несчастному следующие запросы, угрожая уже лишением живота» (стр. 376).

Приведя «запросы» Петра и ответы царевича Алексея, Пушкин пишет:

«Петр утвердил следственную комиссию. Алексей подал дополнительные признания. Он запутывает Федора Дубровского и Семена Нарышкина.

Начался розыск. Дворецкий Иван Афанасьев показал, что царевич гневался на графа Головкина и его сына Александра, да на кн. Трубецкого за то, что навязали они ему жену чертовку, грозясь посадить их на кол и проч.

Федор Еварлаков донес на неохоту, с которой царевич ездил в поход.

Царевич оправдывался тем, что был пьян, когда-то говорил — впрочем во всем признался».

О любовнице Алексея Ефросиии Пушкин пишет: «Девка царевича не была еще привезена» (стр. 378). Далее мы читаем:

«В сие время другое дело озлобило Петра: Первая супруга его, Евдокия, постриженная в Суздальском Покровском монастыре, привезена была в Москву... Оба следственные дела спутались одно с другим. Бывшая царица уличена была в ношении мирского платья, в угрозах именем своего сына, в связи с Глебовым; царевна Мария Алексеевна в злоумышлении на государя; епископ Досифей в лживых пророчествах, в потворстве распутной жизни царицы и проч.

15 марта казнены Досифей, Глебов, Кикин казначей и Вяземский...

... Царица высечена и отвезена в Новую Ладогу» (стр. 379).

«... Государственные дела шли между тем своим порядком» (стр. 379).

«Дело царевича, казалось, кончено. Вдруг оно возобновилось... Петр велел знатнейшим военным, статским и духовным особам собраться в Петербург (к июню).

В мае прибыл обоз царевича, а с ним и Афросиния.

Доказано было, что несчастный утаил приложение, что писано о нем из Москвы. Дьяки представили черновые письма царевича сенаторам и архиереям. Изветы ее[1] были тяжки, царевич отпирался. Пытка развязала ему язык; он показал на себя новые вины...» (стр. 386).

16 июня «приказали судьи выписать из св. писания и из светских законов статьи, идущие к делу»...

[1] Ефросинии (Афросинии).

... «Гражданские чины, порознь, объявили единогласно и беспрекословно царевича достойного смертной казни.

Духовенство, как бабушка, сказало на двое.

24 июня Толстой объявил в канцелярии Сената новые показания царевича и духовника его (расстриги) Якова. Он представил и своеручные вопросы Петра с ответами Алексия своеручными же (сказали твердою рукою писанными, а потом, после кнута — дрожащею)...

И тогда же приговор подписан.

25 <июня> прочтено определение и приговор царевичу в Сенате.

26 царевич умер отравленный[1].

28 тело его перенесено из крепости в Троицкий—собор.

30 погребен в крепости в присутствии Петра.

Есть предание: в день смерти царевича торжествующий Меншиков увез Петра в Ораниенбаум и там возобновил оргии страшного 1698 года» (стр. 387—388).

Рассказав о смерти царевича, Пушкин пишет: «Петр, между тем, не прерывал обыкновенных своих занятий» (стр. 388). Мы видим в изображении Пушкина, как важны государственные заботы Петра: экспедиция Бековича в Среднюю Азию, строительство флота и Петербурга, международные переговоры («Петр прибыл к Аланду с флотом 2 августа, — пишет Пушкин, — дабы ускорить ход переговоров») (стр. 389), — вот важнейшие из числа этих дел.

Пушкин не скрывает жестокости Петра, но показывает, что не ею определена была судьба Алексея. Пушкин не только говорит о государственной необходимости, вызвавшей процесс и смерть царевича Алексея, но, как великий писатель-реалист, конкретно показывает историческое значение дел Петра, ход которых могла бы остановить реакционная оппозиция, видевшая в царевиче свою надежду.

Содержанием важной главы «Истории» должен был явиться Персидский поход Петра (1722 год), которому Пушкин посвятил замечательные страницы.

Под заголовком «Дела персидские» мы читаем строки, которые заставляют вспомнить слова Белинского, говорившего о пушкинской исторической прозе, что она кажется писанной на меди и мраморе.

«Гусейн-шах в то время тиранствовал, преданный своим евнухам, изнеможенный вином и гаремом. Бунты кипели около него. В поминутных мятежах истребился род Софии.

На отдаленных границах Персии, близ Индии, кочевал дикий и воинственный народ: афганцы, происшедшие из Ширвана, близ Каспийского моря. Тамерлан (умер в 1405) поселил их в царстве Кандагарском; Мирвейс, происшедший из их рода, умел при дворе шаха снискать его доверенность, и он был назначен главным начальником над своими единомышленниками во время наместничества Мансур-хана...» (стр. 410).

Мы приводим эти первые строки, как образец исторической прозы Пушкина, посвященной Востоку. Глава эта в целом далеко не обработана и не завершена. Но в ее стиле сказывается глубокое постижение Пушкиным Востока, и мы узнаем в поэте-историке автора «Подражаний Корану» и «Путешествия в Арзрум», как в строках «Истории Петра», посвященных войне с Карлом и измене Мазепы, узнаем автора «Полтавы».

Пушкин пишет о том, как «Рящинский» (то есть Решгский) визирь старался задержать шахского посла Измаил-бека, чтобы воспрепятствовать заключению выгодного для России мира. Русский консул Аврамов и Шипов помешали визирю. Мы читаем:

«Рящинский визирь помышлял сделаться самовластным и независимым. Он боялся сношений Тахмаса с Петром и всячески задерживал Измаил-бека, надеясь заставить шаха переменить мысли свои. Аврамов это проник — и Шипов предложил послу перебраться на судно и ехать в Астрахань.

Визирь ожидал уже от шаха повеления послу остаться. Аврамов поехал навстречу курьера, дождался его и задержал, сколь-

[1] Был ли царевич отравлен, как считал Пушкин, умер ли он, не выдержав пыток, которым его подвергли, достоверно неизвестно. Официальная версия гласила, что он скончался при чтении приговора от удара.

ко нужно было времени. А Соймонов, между тем, выпроводил посла под предлогом счастливого положения звезд; и Измаил поехал в начале января 1723 года — и визирь получил указ шаха уже поздно» (стр. 424).

«Петр, — пишет Пушкин, — 27 июля прибыл в Петербург, куда прибыл и посланник шаха Измаил-бек... 10 августа» (стр. 432).

«12-го заключен с Персиею трактат. Дагестан, Ширван, Гилань, Мезандеран и Астрабат уступлены России... 14-го сентября дана послу отпускная аудиенция — и тогда же Петр получил известие о взятии Баку» (стр. 432).

Завоевывая побережье Каспийского моря, Петр искал торгового пути в Индию. В последние дни жизни Петр, — пишет Пушкин, — назначил капитана Беринга «для открытия пути в Восточную Индию через Ледовитый океан» (стр. 447).

Смертью Петра заканчивается пушкинская «История» (в том виде, как она дошла до нас). Описание ее предварено у Пушкина рассказом о том, как, спасая тонущий бот, «Петр выскочил и шел по пояс в воде, своими руками помогая тащить судно» — отчего возобновилась его давняя болезнь (стр. 444).

Описание смерти Петра было опубликовано почти сто лет назад Анненковым, принявшим его за программу будущего рассказа, в то время как рассказ Пушкина относится к числу замечательных, хотя недоработанных еще страниц его прозы: они до сих пор не оценены по достоинству.

Пушкин использует в своем рассказе черты медицинской картины смерти Петра, избавляя себя этим, в отличие от Голикова, от необходимости доказывать, что Петр не был отравлен Екатериной; мы видим, что смерть Петра наступила от давней болезни.

Как выразительно изображает Пушкин умирающего Петра, уже лишенного речи, недавно еще мощного, а теперь бессильного выразить свою волю! Отменив древний порядок престолонаследия, он должен был сам избрать и назначить наследника. Но Петр умирает без завещания, не в силах будучи даже произнести имя своего преемника и оставляя государство на произвол борющихся между собой за власть дворцовых партий. Пушкин пишет: «Он велел призвать к себе цесаревну Анну, дабы ей продиктовать Она вошла — но он уже не мог ничего говорить» (стр. 448). В первый раз эта фраза Пушкина звучит, как сообщение важное для смысла повествования. Во второй раз, едва измененная, та же фраза передает трагизм совершающейся смерти Петра: «Он уже не сказал ничего» (стр. 449). Интонация этих слов звучит с новою силой.

Когда же безмолвному, но не впавшему еще в беспамятство Петру предложили в последний раз причаститься, «Петр, — пишет Пушкин, — *в знак согласия приподнял руку*» (стр. 449).

Вот страницы, заключающие незавершенную поэтом «Историю Петра»:

«16-го января Петр начал чувствовать предсмертные муки. Он кричал от рези.

Он близ своей спальни повелел поставить церковь походную.

22-го исповедывался и причастился.

Все петербургские врачи собрались у государя. Они молчали; но все видели отчаянное состояние Петра. Он уже не имел силы кричать — и только стонал, испуская мочу.

При нем дежурили три или четыре сенатора.

25-го сошлись во дворец весь Сенат, весь генералитет, члены всех коллегий, все гвардейские и морские офицеры, весь Синод и знатное духовенство.

Церкви были отворены, в них молились за здравие умирающего государя. Народ толпился перед дворцом.

Екатерина то рыдала, то вздыхала, то падала в обморок — она не отходила от постели Петра — и не шла спать, как только по его приказанию.

Петр царевен не пустил к себе. Кажется, при смерти помирился он с виновною супругою.

26-го утром Петр повелел освободить всех преступников, сосланных на каторгу (кроме 2-х первых пунктов и убийц) *для здравия государя*[1].

[1] То есть освободить осужденных на срок до пяти лет, а также всех пробывших уже пять лет на каторге, исключая осужденных за важнейшие государственные преступления.

Тогда же дан им указ о рыбе и клее (казенные товары).

К вечеру ему стало хуже. Его миропомазали.

27 дан указ о прощении неявившимся дворянам на смотр. Осужденных на смерть по Артикулу по делам Военной коллегии (кроме etc) простить, дабы молили они о здравии государевом.

Тогда-то Петр потребовал бумаги и перо и начертал несколько слов неявственных, из коих разобрать было можно только сии: «о т д а й т е в с е»... Перо выпало из рук его. Он велел призвать к себе цесаревну Анну, дабы ей продиктовать. Она вошла — но он уже не мог ничего говорить.

Архиереи псковский и тверской и архимандрит Чудова монастыря стали его увещевать. Петр оживился — показал знак, чтоб они его приподняли, и, возведши руки и очи вверх, произнес засохлым языком и невнятным голосом[1] «С и е е д и н о ж а ж д у м о ю у т о л я е т: с и е е д и н о у с л а ж д а е т м е н я...

...Присутствующие начали с ним прощаться. Он приветствовал всех тихим взором. Потом произнес с усилием: «п о с л е»... Все вышли, повинуясь в последний раз его воле.

Он уже не сказал ничего. Пятнадцать часов мучился он, стонал, беспрестанно дергая правую свою руку — левая была уже в параличе Увещевающий от него не отходил, Петр слушал его и несколько раз силился перекреститься.

Троицкий архимандрит предложил ему еще раз причаститься. Петр в знак согласия приподнял руку. Его причастили опять. Петр казался в памяти до 4-го часа ночи. Тогда начал он охладевать и не показывал уже признаков жизни. Тверской архиерей на ухо ему продолжал свои увещевания и молитвы об отходящих Петр перестал стонать, дыхание остановилось — в 6 часов утра 28 января Петр умер на руках Екатерины.

Екатерина провозглашена императрицей. (Велением Меншикова, помощью Феофана и тайного советника Макарова).

В тот же день обнародован манифест.

Полкам в Петербурге роздано жалование. Генерал-майор Дмитриев-Мамонов послан в Москву к сенатору графу Матвееву.

2 февраля напечатана присяга и разослана по всему государству.

Труп государя вскрыли — и бальзамировали. Сняли с него гипсовую маску.

Тело положено в меньшую залу. 30 января народ допущен к его руке.

4-го марта скончалась 6-летняя царевна Наталья Петровна. Гроб ее поставлен в той же зале.

8-го марта возвещено народу погребение. Через два дня оное совершилось...» (стр. 447—450).

* *
*

Так кончается рукопись недописанной «Истории Петра».

«Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная», — писал Пушкин. Изучение незавершенной «Истории Петра» открывает нам эту возможность.

Исторические силы России, сила развития русского народа создали Пушкина, исторически предопределили его появление. Реакционное самодержавие, оборвав жизнь поэта, лишило его возможности осуществить новые великие замыслы, оно помешало ему завершить и гениальный труд о Петре, которому поэт отдал так много мыслей и творческих сил, который он сумел так смело, так далеко продвинуть.

Без «Истории Петра» наше представление о Пушкине, о необычайной широте его творчества оставалось неполным. Как все новое, что мы узнаем о Пушкине в свете нашей великой эпохи, незавершенная «История Петра» говорит об исполинской мощи величайшего русского поэта.

[1] Чтение настоящей фразы исправлено по тексту Полного собрания сочинений А. С. Пушкина в десяти томах. Изд. Академии наук СССР, т. IX, стр. 462, 1949.

СОКРОВИЩНИЦА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

*Издания произведений А. С. Пушкина**

★

Издания произведений величайшего русского поэта Александра Сергеевича Пушкина составляют богатейший фонд нашей литературы. Исполнилась заветная мечта поэта, выраженная им в бессмертных строках «Памятника»:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой
И назовет меня всяк сущий в ней язык...

Эта мечта была неосуществима в царской России. Только после Великой Октябрьской социалистической революции Пушкин стал доступен многомиллионному читателю.

К Пушкину не допускались народы дореволюционной России. Стоит вспомнить 100-летний юбилей со дня рождения А. С. Пушкина, который отмечала царская Россия, и мы увидим, что и в этом знаменательном году тираж произведений поэта был незначителен. Как показывает «Список произведений печати, вышедших в 1899 году», помимо изданий на русском языке вышло несколько отдельных произведений А. С. Пушкина на грузинском, армянском, татарском, латышском и эстонском языках, тиражом около 25 тысяч экземпляров.

Русская критика тех дней пришла к выводу, что «Пушкина мы еще не знаем, не понимаем». И самый праздник поэтому был назван «академическим».

К наиболее крупным и интересным трудам пушкинской литературы 1899 года относится, прежде всего, первый том академического издания сочинений Пушкина под редакцией Л. Н. Майкова, его же собрание материалов и очерков о Пушкине, целый ряд университетских сборников, изданных в Москве, Петербурге, Киеве, Харькове, Одессе, Юрьеве (Тарту), Томске, специальные номера журналов «Русское богатство», «Жизнь», «Новый мир», «Русская старина», «Журнал для всех», «Исторический вестник» и других.

Биографических материалов к юбилею в 1899 году было опубликовано немного— большею частью мелочи анекдотического характера или статьи, устанавливающие незначительные факты из жизни поэта.

В дореволюционной России выходило немало книг и брошюр, предназначенных «для народа». А. М. Горький с возмущением писал об издателях книг «для народа», промышлявших, как он говорил, «шарлатанской» и «откровенно монархической» книгой, «которая только и могла, что внести в умы читателей уйму всевозможной дичи и чуши».

В год, когда исполнилось 100 лет со дня рождения А. С. Пушкина, в России было издано 1.222 названия книг религиозного содержания. Тираж этой «литературы», имевшей своей целью одурманить сознание народных масс, отвлечь их внимание от фактов и событий окружающей действительности, превышал тираж произведений А. С. Пушкина в десять раз.

★ ★ ★

Годы, предшествовавшие столетию со дня смерти поэта, отмечавшемуся в СССР в 1937 году, были годами развернутого социалистического наступления, индустриализации и коллективизации страны. Это были годы исключительных успехов на фронте культурного строительства. По сравнению с первым десятилетием Советской власти выпуск книг в СССР вырос по ко-

* По материалам Всесоюзной Книжной палаты.

личеству названий в 3 раза, а по тиражу более чем в 4,5 раза. В этом десятилетии произведения А. С. Пушкина были изданы 651 раз тиражом 25.449 тысяч экземпляров. По сравнению с первым десятилетием выпуск произведений Пушкина по количеству изданий увеличился в 4 раза, а по тиражу почти в 16 раз.

В первом десятилетии Советской власти, в условиях голода и разрухи, произведения величайшего поэта и патриота А. С. Пушкина издаются 146 раз общим тиражом 1.614 тысяч экземпляров. В эти годы только на русском языке выходят «Сочинения» в одном томе тиражом 35,3 тысячи экземпляров; «Избранные произведения» в 3-х томах; народная драма «Борис Годунов» издается 7 раз тиражом 138 тысяч экземпляров; «Скупой рыцарь» и «Моцарт и Сальери» выпускаются дважды; в семи изданиях выходит «Гаврилиада» и т. д.

Только за 1936 и 1937 годы было издано 19.009 тысяч экземпляров произведений А. С. Пушкина, в том числе на языках народов СССР (кроме русского) 283 издания тиражом 2.924 тысячи экземпляров. В царской России за 30 лет — с 1888 по 1917 год — было издано произведений А. С. Пушкина в два раза меньше, чем за два года в Советском Союзе.

После Великой Октябрьской социалистической революции произведения А. С. Пушкина стали выходить на многих языках народов СССР: украинском, белорусском, казахском, киргизском, таджикском, абхазском, адыгейском, башкирском, бурят-монгольском, даргинском, дунганском, каракалпакском, коми, коми-пермяцком, кумыкском, латгальском, мордовском-эрзя, ногайском, осетинском, табасаранском, татарском, удмуртском, уйгурском, якутском; на языках народов Севера: мансийском, нанайском, ненецком, нивхском, нымыланском, хантыйском, шорском.

* * *

Полные собрания сочинений А. С. Пушкина начали издаваться более ста лет тому назад. При жизни поэта не было издано ни одного полного собрания его сочинений.

Первое посмертное издание сочинений А. С. Пушкина редактировали Жуковский, Вяземский и Плетнев. Оно состояло из 11 частей, 8 из которых вышли в 1838 году. Последние три части, состоящие из впервые публиковавшихся произведений, вышли в 1841 году. Белинский назвал это издание «безобразным».

В 1855 году, 14 лет спустя, начали издаваться «Сочинения Пушкина с приложением материалов для его биографии». Редактировал это издание П. В. Анненков, он же составлял и «Материалы для биографии Пушкина». Анненковское издание, хотя и оценивалось в свое время положительно, уже через четверть века вызвало очень резкую критику со стороны передовой русской общественности.

В 1880 году вышло третье издание, затем, к столетию со дня рождения поэта, Академия наук решила выпустить академическое издание в 12 томах, из которых до революции вышло всего 5 томов.

Среди дореволюционных изданий заметно выделяется хорошо иллюстрированное собрание сочинений «Пушкин», вышедшее под редакцией С. А. Венгерова в 6 томах, в издании Брокгауза-Ефрона, в серии «Библиотека великих писателей». Это издание было осуществлено в 1907—1915 гг.

Гениальное творчество Пушкина в полном своем блеске раскрылось перед читателем впервые после победы Великой Октябрьской социалистической революции. Если не считать начатого в 1919 году издания «Полного собрания сочинений» (вышел один полутом — том I, часть I), первым собранием избранных сочинений Пушкина был однотомник, вышедший в издании ГИЗ'а в 1924 году. Этот однотомник с рядом дополнений переиздавался семь раз. Последнее издание вышло в 1933 году. В 1935 году вышел новый однотомник, значительно расширенный и пополненный прозой, комментариями и вступительными статьями.

При подготовке первых советских изданий собраний сочинений А. С. Пушкина была предпринята серьезная работа по установлению точных текстов и пересмотру всех источников — рукописных и печатных. С 1930 года начало выходить первое «Полное собрание сочинений в шести томах». К работе над массовым изданием сочинений Пушкина был привлечен большой коллектив пушкинистов. Это издание считалось «малым академическим». Оно выходило в двух вариантах: как подписное издание и как приложение к журналу «Красная нива» за

1930 год. Шеститомник переиздавался пять раз. Четвертое издание вышло к 100-летию со дня смерти поэта, а пятое было начато в 1937 году и закончено в 1947 году.

В 1935—1938 гг. издательством «Академия» было осуществлено юбилейное издание А. С. Пушкина в шести томах большого формата и в девяти томиках малого формата.

Важнейшим в истории пушкинских изданий является начатое по инициативе М. Горького советское академическое издание, первый том которого вышел в 1937 году. В этом издании воспроизводятся в самом полном и точном виде все тексты А. С. Пушкина. До 1948 года вышло 11 томов, а к 150-летнему юбилею поэта академическое издание завершается.

Собрания сочинений и сборники А. С. Пушкина издавались и на языках народов СССР. «Избранные произведения» в трех томах были изданы на грузинском, азербайджанском, армянском и казахском языках, в 1947 году трехтомник начал выпускаться на узбекском языке.

На украинском языке вышли «Избранные сочинения» в двух томах. «Избранные произведения» также изданы на адыгейском языке (в 1937, 1939 и 1946 гг.). на балкарском, казахском, таджикском, татарском (в 1938, 1939 и 1948 гг.) и шорском языках.

В одном томе вышли «Собрание сочинений» и «Сборник сочинений» на даргинском, кумыкском, марийском-горном, молдавском, табасаранском и якутском языках.

На многих языках вышли различные сборники: «Рассказы и повести», «Избранная проза», «Проза», «Повести», «Избранная лирика», «Лирика», «Стихи и поэмы», «Сказки», «Драмы», «Драматические произведения».

* * *

За годы Советской власти произведения А. С. Пушкина были изданы тиражом свыше 45 миллионов экземпляров на 76 языках.

В дореволюционной России в самостоятельных изданиях на украинском языке вышло только 3 названия произведений А. С. Пушкина, на грузинском языке — 5 названий и так далее.

В Советском Союзе $^1/_8$ тиража всех произведений А. С. Пушкина издана на языках народов СССР: свыше 1.300 тысяч экземпляров вышло на украинском языке, 472 тысячи экземпляров — на узбекском, 303 тысячи — на белорусском, 314 тысяч — на азербайджанском, 127 тысяч — на армянском, 113 тысяч — на грузинском, 270 тысяч — на татарском, 116 тысяч — на башкирском, 83 тысячи — на якутском, 65 тысяч — на удмуртском, 57 тысяч — на бурятском и т. д.

Произведения А. С. Пушкина издавались на 25 языках народов, получивших письменность только после Великой Октябрьской социалистической революции. На этих языках за годы Советской власти вышла 201 тысяча экземпляров, в том числе на языках народов Севера — 55.500 экземпляров.

Творения гениального поэта стали достоянием широчайших масс советского народа. Об этом красноречиво говорят цифры:

Выпуск в СССР отдельных произведений А. С. Пушкина на русском и других языках 1918—1949 гг.

Наименование произведений	Число изданий	Тираж (в тыс. экз.)	На скольких языках издавались
Отдельные сказки[1]	198	6.419	48
«Капитанская дочка»	113	2.144	44
«Дубровский»	91	1.812	43

[1] «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о царе Салтане».

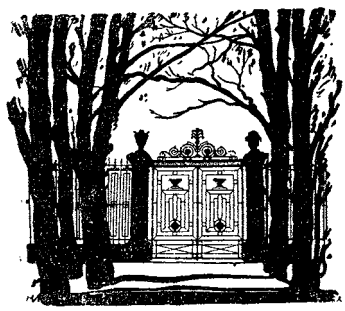
Наименование произведений	Число изданий	Тираж (в тыс. экз.)	На скольких языках издавались
«Евгений Онегин»	50	2.212	11
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина»	50	2.091	21
«Станционный смотритель»	43	979	26
«Полтава»	35	1.639	10
«Медный всадник»	26	720	12
«Борис Годунов»	24	669	9
«Цыганы»	23	1.389	13
«Пиковая дама»	21	364	11
«Кавказский пленник»	20	1.260	10
«Метель»	16	1.248	9
«Бахчисарайский фонтан»	13	612	9
«Руслан и Людмила»	11	812	4
«Выстрел»	10	1.009	5

Произведения А. С. Пушкина издавались в 75 городах Советского Союза. Нет такого уголка нашей необъятной Родины, куда бы ни проникали произведения величайшего русского поэта, славы и гордости всего советского многонационального государства.

* * *

К 150-летию со дня рождения великого поэта по всему Союзу выпускается свыше 250 новых изданий тиражом до 12 миллионов экземпляров; более 100 изданий, тиражом свыше 1 миллиона экземпляров — на языках народов СССР.

Всего на русском языке выходит 134 юбилейных издания произведений А. С. Пушкина тиражом около 10 миллионов экземпляров.



ПУШКИН ЗА РУБЕЖОМ

ПУШКИН У СЛАВЯН

СЕРГЕЙ АРТЕМЬЕВ

★

Творчество Пушкина оставило глубокие следы в славянских странах. Можно без преувеличения сказать, что литературы славянских народов складывались и развивались во многих своих чертах под непосредственным влиянием творчества великого русского поэта, провозгласившего на весь мир идеи свободы, идеи реализма и народности в литературе. Творчество Пушкина явилось живительным родником, в течение целого века идейно питавшим угнетенные, но стремящиеся к свободе и независимости народы. Оно помогло им увидеть в русском народе истинного друга, ближе узнать русского человека — носителя и проводника высоких прогрессивных идей.

Изучение наследия Пушкина в его связи с литературами славянских народов приобретает особо важное значение в условиях все более крепнущих политических и культурных отношений Советского Союза со странами народной демократии.

Проблемы, относящиеся к освободительной борьбе славян, к их истории, культуре, творчеству, интересовали Пушкина всю жизнь. Этот интерес особенно возрос в пору пребывания поэта в Бессарабии. В освободительной борьбе балканских народов это было памятное время. Только что сербы выдержали два восстания против турецкого ига. Один из сербских вождей Георгий Петрович Черный вынужден был оставить родную страну и поселиться в Хотине, в Бессарабии. В годы пребывания Пушкина в Бессарабии на Балканах происходило новое восстание — против турок выступил греческий народ.

Бессарабия была наводнена политическими эмигрантами из Греции, Болгарии, Сербии. Эмигрантская среда бурлила — здесь формировались греческие отряды, уходившие на борьбу с турками. Среди добровольцев, которые шли в Грецию, были и сербы, и румыны, и македонцы, и болгары. Пушкин встречался с деятелями освободительной борьбы балканских народов. Он был знаком с сербским писателем С. Милутиновичем, автором поэмы «Сербиянка», бывал в семьях сербов, болгар, греков.

Внимание Пушкина к событиям в Греции находилось в прямой связи с его огромным интересом к борьбе южных славян против турецкого ига. Турецкие поработители в его представлении были общим врагом всех балканских народов. Поэтому к высказываниям Пушкина об освободительной борьбе южных славян непосредственное отношение имеют его стихи, посвященные освобождающейся Греции:

Восстань, о Греция, восстань.
Не даром напрягешь силы,
Не даром потрясала брань
Олимп и Пинд и Фермопилы...

. . . . . .
Страна героев и богов
Расторгла рабские вериги
При пеньи пламенных стихов
Тиртея, Байрона и Риги!

Свое пребывание на юге Пушкин использует для собирания фольклора славянских народов. И. П. Липранди, с которым Пушкин часто встречался на юге, рассказывает, что однажды в Измаиле он был свидетелем тому, как в доме серба Славича свояченица хозяина пропела Пушкину славянскую песню, и он тут же ее записал.

Как стало видно из «Песен западных славян», поэт был хорошо знаком с фактами, относящимися к современной ему истории борьбы сербского народа. Очевидно, общение Пушкина с сербами было столь тесным, что поэт заметно успел в сербском языке. Так, например, известно, что при объяснении текста «Слова о полку Игореве» Пушкин использовал свое знание сербского языка.

Укреплению связей Пушкина со славянским миром способствовала дружба с великим польским поэтом Адамом Мицкевичем. Мицкевич пробыл в России четыре с половиной года и много раз встречался с Пушкиным.

В своих беседах русский и польский поэты часто обращались к положению славянских народов. В сочинениях Пушкина есть прямые указания на то, как высоко он ценил познания Мицкевича в славянских литературах: он называл его «критиком зорким и тонким», «знатоком славянской поэзии».

Дружба Мицкевича и Пушкина выдержала испытание во времени; поэтов связывали не только личные симпатии, а нечто большее — преданность свободолюбивым, высоко патриотическим устремлениям своих народов.

Пребывание в России, тесное общение с большой группой русских литераторов и прежде всего с Пушкиным, оказало благотворное влияние на творчество польского поэта. В России Мицкевич написал «Крымские сонеты» (1826) и «Конрад Валленрод» (1828), знаменующие рост мастерства и духовной зрелости поэта.

«Москва и Петербург награждают Мицкевича дружбой Пушкина и дружбой благороднейшей революционной молодежи России, — отмечал известный польский писатель и литературовед профессор Тадеуш Бой-Желенский. — Здесь Мицкевич осознал свою силу, свою гениальность... Здесь, в России, в высокой артистической атмосфере, самые выдающиеся писатели принимают его как брата, приветствуют в его лице мастера. Мицкевич думал о царизме, когда писал Валленрода, но он думал об этих своих российских встречах, когда писал одно из прекраснейших своих стихотворений — «Русским друзьям». И как печально, по сравнению с этой эпохой, начинались парижские годы Мицкевича...»[1].

Изучение Пушкиным славянского фольклора увенчалось созданием цикла «Песен западных славян». «Песни» были опубликованы в марте 1835 года в «Библиотеке для чтения».

Пушкин начал собирать материал для «Песен западных славян» еще в Кишиневе (1820—1824) и продолжал эту работу в течение нескольких лет.

В семье славянских народов первыми переводчиками Пушкина были поляки. Еще при жизни поэта польский литератор А. В. Рогальский перевел «Бахчисарайский фонтан». Поэма вышла в Польше в 1826 году.

В предисловии к первому изданию перевода «Бахчисарайского фонтана» на польский язык Рогальский писал о Пушкине: «Одаренный выдающимся талантом, силою духа и воображения, дав познать себя соотечественникам сначала по легким произведениям полным вкуса и благородных стремлений, он поразил их затем чудными плодами своей нежной, но серьезной музы»[2].

Любопытная деталь: в библиотеке имени Ленина хранится экземпляр «Бахчисарайского фонтана» в переводе А. В. Рогальского, изданный в 1826 году. Этот экземпляр принадлежал Мицкевичу и был подарен польскому поэту переводчиком пушкинской поэмы. На обложке сохранилась собственноручная надпись Рогальского: «Адаму Мицкевичу в знак преклонения. А. Рогальский».

Лучший перевод пушкинской поэмы «Цыганы» принадлежит Леону Янищевскому, он издан «Варшавской библиотекой» в 1842 году. Перевод Мирослава Доброжанского,

---

[1] Т. Бой-Желенский. Мицкевич. «Интернациональная литература», 1941, № 1.

[2] «Fontanna w Bakczysaraju». Poema Alexandra Puszkina, Wieno, 1826.

изданный в 1871 году, был отмечен критикой, как один из самых блестящих переводов Пушкина.

В свое время Мицкевич говорил об «Евгении Онегине», что его «всегда будут читать во всех славянских странах, он останется навсегда памятником эпохи»[1]. Одним из лучших польских переводов великого пушкинского произведения считается перевод Адама Сикорского, вышедший в 1847 году. «Медного всадника» и «Скупого рыцаря» перевел Мартын Шимановский, «Бориса Годунова» — Юлиан Барташевич.

Из лирики Пушкина Адам Мицкевич перевел «Воспоминание», много переводов принадлежит перу друга Мицкевича А. Э. Одынца.

Первым значительным изданием лирики Пушкина на польском языке была «Книга избранных стихов», вышедшая в 1888 году. Тридцать шесть пушкинских произведений, вошедших в эту книгу, переведены литератором И. Солтык-Романьским. Переводы снабжены объяснительными примечаниями на русском и польском языках. Однотомник пушкинской лирики открывается польскими стихами, посвященными памяти поэта, автором которых является переводчик. Автор видит в лице Пушкина великого поэта всего славянского мира, в его стихах слышится скорбь славян, потерявших своего гения.

Пушкин переиздавался в Польше много раз. Его переводчиками были выдающиеся польские литераторы. Творчество русского поэта, его связи с польской литературой, дружба с Мицкевичем всегда были предметом пристального внимания польских ученых. Пушкин всегда был близок и дорог польскому народу.

Столетие со дня рождения Пушкина было отмечено литературными кругами и всей интеллигенцией Польши, как большой праздник славянской культуры. На пушкинскую дату отозвались выдающиеся польские деятели.

«Как поляк и как сын Адама Мицкевича, — писал Владислав Мицкевич, сын и биограф великого польского поэта,—выражаю мое поклонение Пушкину... Да послужит проснувшееся чувство, некогда... соединившее великих поэтов, предвестием лучшей будущности для обоих народов»[1].

«Глубокое почитание приношу памяти Александра Пушкина, первостепенного гения, славы вашей родины, друга Мицкевича, — писала Элиза Ожешко, выдающаяся польская писательница.--О, если б все мы, следуя заветам и осуществляя мечты наших великих поэтов и мыслителей, могли воздвигать алтари в святилище добра и общечеловеческого братства»[2].

«Да воздастся честь памяти Пушкина, — говорил другой видный польский писатель Б. Прус, — вдохновенными песнями содействовавшего развитию отечественного языка и славе своей отчизны»[3].

Торжества по случаю пушкинской даты еще раз показали, что дружба великого русского поэта и его гениального польского собрата по перу хранима в памяти поляков. Представители польской интеллигенции в эти дни слали в русскую столицу приветствия не только из Варшавы, Кракова, Познани, Люблина, но и из Парижа, Гааги, Рима, Лондона.

* *
*

Первые чешские переводы Пушкина были опубликованы при жизни поэта. Они появились в 1830 году. В 1833 году появились переводы, принадлежащие выдающемуся чешскому поэту Франтишку Челаковскому.

Крупный деятель чешской национальной культуры, один из наиболее образованных людей своего времени, отдавший жизнь изучению славянских культур, Челаковский собирал и переводил народные песни, составил сборник славянских пословиц. Его «Славянские народные песни» (1822), «Отголоски русских песен» (1829), «Отголоски чешских песен», сборник лирических стихов «Столистая роза» вошли в золотой фонд чешской поэзии. Особого внимания заслуживают «Отзвуки русских песен» — оригинальное произведение, написанное по мотивам народной русской поэзии.

Пушкина переводили и другие чешские поэты: В. Бендл—«Бахчисарайский фонтан»

---

[1] А. Мицкевич. Сочинения под ред. П. Н. Полевого, т. IV, стр. 162. 1902.

[1] «Русско-польские отношения и чествование поляками памяти Пушкина». Сборник, стр. 27. СПБ, 1899.

[2] Там же.

[3] Там же.

(1854), драматические произведения Пушкина (1859), «Евгения Онегина» (1860); Е. Красногорская — «Бориса Годунова» (1905); К. Стефан — «Капитанскую дочку» и другие.

Один из видных чешских критиков сказал: «Пушкин еще в пятидесятых годах стал для нас, чехов, родным поэтом». И эти слова точно передают отношение чешской литературы к творениям великого русского поэта.

Словацкие поэты и писатели XIX столетия, так же как словацкие ученые-лингвисты, изучали творчество поэта, популяризовали его, были переводчиками Пушкина.

Выдающийся словацкий филолог П. И. Шафарик (1795—1861) был одним из первых славянских ученых, отметивших появление пушкинского таланта. Шафарик — крупнейший знаток литературы южных славян. Его работа «Славянские древности» переведена на многие европейские языки. Он изучил древнейшую славянскую литературу, исследовал происхождение «кириллицы». Он читал чешскую литературу в Праге, организовал кафедру славистики в Берлине. Его познания в древнейшей славянской литературе высоко ценились в славянском мире и, в частности, в России. Еще в «Истории славянских литератур», опубликованной в 1826 году, Шафарик называет Пушкина — автора «Руслана и Людмилы», «Кавказского пленника», «Бахчисарайского фонтана» и «Евгения Онегина».

Видным деятелем словацкой литературы, много переводившим Пушкина, был поэт, беллетрист и критик Светозар Гурбан Ваянский. Он был страстным почитателем русской литературы и ее вдохновенным проповедником. В 1879 году Ваянский начал публиковать в журнале «Орел» свои переводы «Евгения Онегина», «Братьев-разбойников», и «Бахчисарайского фонтана». Будучи редактором журналов «Народны новины» и «Словенске погляды», Ваянский опубликовал серию критических работ, посвященных творчеству Пушкина.

Гурбан Ваянский был в Москве на торжествах в связи со столетием со дня рождения поэта. Приводим один из его двух сонетов, посвященных этой пушкинской дате, «Перед памятником Пушкину в Москве»:

Онегин твой мои волнует ночи,
Меня давно пленила нежность Тани,
Журча бежит струя в твоем Фонтане,
Полтавский бой грозой глядит мне в очи.
Петра в огне я вижу на равнине,
Морозов русских чую дуновенье.
Вод невских слышу властное движенье,
Люблю Кремля священные твердыни...
Мир новый предо мною оживает
Там творчества огонь пылает вечный,
Небесной музыки струится луч...
Волненьем сладким сердце замирает,
Не молкнет чувство в глубине сердечной.
А ты стоишь, недвижен и могуч...[1]

Ваянский глубоко изучал творчество поэта и часто обращался к писательской молодежи славянских стран со страстными призывами учиться у Пушкина. В одном из обращений к писательской молодежи Ваянский говорил:

«Если бы знакомство с произведениями Пушкина расширилось среди славянских народов запада и юга, если бы наша молодежь согревалась священным огнем души Пушкина и брала пример с него, можно было бы на здоровой основе родства выстроить храм нашей поэзии»[2]. В сонете «Русским певцам» Ваянский предсказывал русскому народу «новый, великий свет».

Пушкина переводил и крупнейший словацкий поэт Павел Орзаг Гвездослав. Он был особенно силен в эпической поэзии. Ему принадлежат переводы «Русалки», «Кавказского пленника», «Бориса Годунова». Его переводы Пушкина в словацкой поэзии считаются непревзойденными.

Вторая половина XIX столетия была отмечена значительным ростом словацкой национальной литературы. Этим словацкая литература во многом обязана литературе русской, особенно Пушкину. «Сношения с русскими, занимающимися славянством, ожили, — писал известный словацкий ученый Иосиф Шкультетый. — Русская книга, которая бывала прежде достоянием нескольких счастливцев, распространилась в

[1] Цит. по переводу А. Сиротинина. См. его книгу «Россия и славяне», ч. 1. «Пушкин и славяне». СПБ, 1913.

[2] Цит. по книге Рудо Бртаня «Пушкин в словацкой литературе». Изд. «Матице-Словенска», 1947.

более широких кругах: значительная часть молодежи читает по-русски, редакция получает много переводов с русского языка. Имя Пушкина сегодня звучит у словаков с большей силой, чем когда-либо прежде»[1].

* *
*

Пушкин стал известен южным славянам еще в двадцатых годах прошлого столетия. Принятая в Сербии «кириллица» делала русский язык доступным сербской, хорватской, словенской интеллигенции. Здесь Пушкина читали в подлинниках.

Впоследствии и сербы, и хорваты, и словенцы много переводили Пушкина, стремясь познакомить с ним широкие круги читателей. Крупнейшие произведения поэта: «Евгений Онегин», «Полтава», «Медный всадник», «Цыганы»—переводились много раз. В переводах Пушкина соревновались крупнейшие поэты югославских народов.

Выдающимся переводчиком Пушкина в Сербии был крупнейший сербский поэт Змай Йованович (1833—1904), переводивший лирические стихи русского поэта. Сербская литературная критика считает, что оригинальные стихи Йовановича своей певучестью, колоритностью языка, близостью к народному творчеству во многом обязаны лирике Пушкина, который оказал заметное влияние на формирование творческой индивидуальности сербского поэта.

Произведения Йовановича — это летопись освободительной борьбы сербского народа. Поэт оказал значительное влияние на развитие сербской и хорватской общественной мысли второй половины XIX столетия. Читатели ценили в произведениях Йовановича четкость стиля, задушевную теплоту его письма, сильную мысль. Йованович был основоположником сербской литературы для детей, полной теплоты и юмора, популярной в народе.

Глубоким уважением к Пушкину было проникнуто творчество известного сербского поэта Петра Негоша, который отдал много сил популяризации и переводам пушкинских произведений. Пушкину посвящена его книга стихов. Она открывается стихотворением: «Где зори восходят над природой, оттуда прилетел ты к нам, о, счастливый певец великого народа!».[1]

Хорватский поэт и ученый Станка Враз (1810—1851) заслуженно считается одним из крупнейших переводчиков Пушкина у южных славян. Автор цикла лирических стихов «Джулабийя», написанных на богатом материале народной поэзии южных славян, Станка Враз был большим знатоком славянской культуры. В течение всей жизни он боролся за независимость Югославии, всеми силами укрепляя литературные, культурные и языковые формы национального сознания народа. Правительство Австро-Венгрии видело в лице Враза своего врага, подвергало его репрессиям.

Станка Враз был основателем журнала «Коло», объединившего прогрессивную интеллигенцию южных славян, стремившуюся к пробуждению национального сознания. Он много работал над укреплением связей с другими славянскими народами. Его журнал был научным и художественным центром новых стремлений. У себя на родине Станка Враз был высшим авторитетом в знании русской литературы. Он был первым переводчиком Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Языкова, Хомякова. Он перевел «Бахчисарайский фонтан», «Бородинскую годовщину», «Клеветникам России».

Близость пушкинской поэзии к народному творчеству вызывала восхищение Станка Враза.

Плодотворно работал над переводами пушкинских произведений другой хорватский литератор Спиро Димитрович-Которанин. Димитрович начал свою литературную деятельность в 1843 году стихами на хорватском языке. Большой знаток хорватского фольклора, он писал понятным народу языком, его стихи нашли в народе широкое распространение, были переложены на музыку. Он перевел «Евгения Онегина», «Полтаву», «Цыган», «Братьев-разбойников», «Руслана и Людмилу». Хорватская литературная критика отмечала, что в этих переводах, как и в своих собственных произведениях, Димитрович выступил «народным гусляром».

Заслуга Спиро Димитровича состоит в том, что он первым взялся за перевод

[1] «Словенске погляды», 1899. Статья И. Шкультетого.

[1] Цит. по переводу А. Сиротинина. См. его книгу «Россия и славяне», ч. 1. «Пушкин и славяне». СПБ, 1913.

крупных произведений Пушкина. Его труд оказал благотворное влияние на работу других переводчиков Пушкина, в частности Ивана Трнского и Фомы Маретича.

Перу Ивана Трнского принадлежат переводы: «Евгения Онегина»,—над которым он работал в течение двадцати лет,—«Кавказского пленника», «Бахчисарайского фонтана», «Барышни-крестьянки» и «Дубровского».

Иван Трнский — один из крупнейших авторитетов хорватской литературы, много работавший над совершенствованием ее литературного языка. В его плодотворной деятельности на благо родного хорватского искусства большое место занимала популяризация русской литературы — в течение всей жизни он не переставал знакомить широкие круги читающей публики с лучшими образцами русской поэзии и прозы. Иван Трнский был вожаком большой группы хорватских писателей, работавших под влиянием мастеров русской литературы XIX столетия.

Наконец, почетное место среди хорватских переводчиков Пушкина занимает профессор Загребского университета Фома Маретич. Маретич перевел «Полтаву», цикл лирических стихов Пушкина, а из прозы—«Капитанскую дочку». Хорватская критика считает переводы Маретича образцовыми: они лаконичны, точны, без прибавлений и прикрас. Его переводы пушкинских стихов живы и по сей день и широко распространены в народе.

Еще в 1797 году выдающийся словенский поэт и просветитель Валентин Водник (1758—1819) писал: «Кто желал бы понять значение различных краинских имен, должен знать московитарский язык. Краинский язык наиболее подобен московитарскому, более чем всем другим славянским наречиям. Московитари много слов сохранили, которые нами позабыты и вышли из употребления». По словам Водника, словенские писатели приближались к русскому языку каждый раз, «когда желали очищать свой язык»[1].

Эту блестящую возможность усовершенствовать язык и литературные формы, насытить свое творчество содержанием большого патриотического звучания открыло словенской литературе творчество Пушкина. Выдающийся словенский поэт Весел-Веселин своими переводами дал словенскому читателю представление о красоте пушкинской поэзии. Он отлично знал русский язык, обладал подлинным талантом поэта и хорошим литературным вкусом. По признанию современников, никто лучше его не был подготовлен для переводов стихов Пушкина. Он перевел пушкинскую лирику, в том числе «Кавказ», «Пророк», «К морю», «Клеветникам России». Первое издание его переводов вышло в 1870 году, второе издание в 1873 году. С тех пор пушкинская лирика в переводе Весел-Веселина переиздавалась вновь и вновь.

Сказки Пушкина нашли блестящего переводчика в лице известного словенского поэта Антона Ашкерца. Автор многих баллад, построенных на материале восстаний словенского крестьянства против австровенгров, Антон Ашкерц хорошо знал славянскую литературу, много ездил по славянским странам, бывал в России. Прекрасно зная народный словенский язык, Антон Ашкерц сумел передать поэтическую простоту пушкинских сказок.

* * *

В литературе болгарского народа не было крупного писателя или поэта, который не испытал бы влияния Пушкина, не был бы его переводчиком или исследователем. Эта традиция восходит к Петко Славейкову, Л. Каравелову и А. Константинову и была продолжена в творчестве Пенчо Славейкова (сын Петко Славейкова), И. Вазова и позднее Л. Стоянова.

Петко Славейков (1827—1895), один из зачинателей новой болгарской литературы, был активным борцом против турецкого ига и в своем творчестве отразил главнейшие этапы этой борьбы. Очень значительна роль Петко Славейкова как поэта в преобразовании болгарского литературного языка. Он значительно обогатил его, приблизил к языку, которым сегодня говорит народ. Петко Славейкову принадлежат лучшие переводы сказок Пушкина.

Пушкинская проза переводилась на болгарский язык выдающимся болгарским беллетристом Любеном Каравеловым (1837—

[1] Цит. по статье Ив. Приятеля «А. С. Пушкин у словенцев», опубликованной в сборнике «А. С. Пушкин в южно-славянских литературах», под ред. акад. И. В. Явича, 1901.

1879). Свою литературную деятельность Любен Каравелов начал в Москве. На формирование его мировоззрения оказали решающее влияние Чернышевский и Герцен, на формирование его писательского мастерства — Гоголь и Шевченко. Вместе со своими друзьями Каравелов участвовал в подготовке восстания против турецкого ига, издавал газету, писал статьи. «Капитанская дочка» и «Кирджали» стали известны болгарским читателям по переводам Каравелова. Оба произведения были переведены Каравеловым в эмиграции и вышли в 70-х годах прошлого столетия в Бухаресте, где вынужден был скрываться болгарский революционер и писатель.

Одним из лучших переводчиков Пушкина на болгарский язык по праву считается Алеко Константинов (1863—1897), автор «Бай-Ганю» — популярнейшего в Болгарии произведения, которое высмеивает молодого болгарского буржуа, самодовольного и ограниченного. Алеко Константинов, подобно многим болгарским культурным деятелям, учился в России. Его литературные симпатии складывались под влиянием великих мастеров русской литературы XIX столетия. Он был переводчиком Пушкина и Лермонтова на болгарский язык. Его переводы «Полтавы», «Бахчисарайского фонтана» и «Цыган», безупречные по форме и языку, высоко ценятся в болгарской литературе.

Пушкинскую прозу переводил и крупнейший болгарский беллетрист Иван Вазов (1851—1922). Писатель, поэт, драматург, переводчик — Вазов обращался к переводам Пушкина в разные годы своей многолетней творческой деятельности. По признанию самого Вазова, Пушкин и Лермонтов во многом способствовали совершенствованию мастерства писателя. «Пушкин и Лермонтов раскрыли мне тайны поэтического творчества, дали мне уроки музыки речи, красоты формы, они научили меня умению кратко выражать мысль»[1].

Столетнюю годовщину со дня рождения русского поэта Иван Вазов отметил стихотворением, посвященным его памяти, в котором писал:

И мы с Россиею великой воедино
Сегодня Пушкина справляем юбилей.
Русь славою любимого венчает сына
Ея триумф, ея мы гордость делим с ней.
Прими же наш привет, о, гений наш
славянский!
И мы плетем тебе признательный венец.
Пленил, очаровал и нас, народ балканский,
Твоей волшебной лиры звук, о, братский
наш певец,
Сердцами нашими ты правишь
полновластно,
Ты добрых чувств любви и красоты поэт,
Славянской нежной речи дал ты голос
властный,
Волшебные миры ты бросил в свет.
...Столетье за столетьем быстро минет,
А славою расти все громче будешь ты;
Тебя вовек любовь народа не покинет
За песни чудные, за сладкие мечты.
О Русь! Могуча ты. Неистощима сила
И мощь твоих сынов. Их велико число,
Но никогда еще венком ты не дарила
Чело достойнее, чем Пушкина чело! [1]

Несмотря на то, что Вазов работал в разных жанрах, он вошел в болгарскую литературу главным образом как прозаик. Свой роман «Под игом», посвященный освободительной борьбе болгар против турок, Вязов написал в России. Прообразом Огнянова, героя романа, послужил известный болгарский революционер Василий Левский, повешенный турками.

Блестящий прозаик, Вазов особенно показал себя в переводах пушкинской прозы.

Великий болгарский поэт Христо Ботев рос и формировался под большим влиянием русской общественной мысли, русской литературы. Пушкин был его любимым поэтом еще в юношеские годы. Друзья юности болгарского поэта вспоминают, что Ботев любил декламировать Пушкина «от сердца и душа, с жестове». Одно из лучших стихотворений Ботева «Борьба» перекликается с пушкинской «Вольностью».

Жизнь, творчество и революционная борьба Ботева неразрывно связаны с русским народом, с развитием русской революционно-демократической мысли.

Ботев был другом России, но не самодержавной России, а России великого русского народа, боровшегося за свое освобождение. Для Ботева было ясно, что царизм преследует на Балканах агрессивные цели, в то время как русский народ

[1] Цит. по статье Л. Стоянова «Пушкин и мировая литература». См. А. С. Пушкин. Съчинения. Пълно събрание в 10 томах, том II. Книгоиздательство Игнатов, София.

[1] Цит. по переводу А. Сиротинина. См. его книгу «Россия и славяне», ч 1. «Пушкин и Славяне» СПБ, 1913.

искренне стремится помочь своим славянским братьям в освободительной борьбе. Ботев знал Россию, знал жизнь русского народа и остро переживал его страдания. Он провозглашал: «Да здравствует русский народ и будущая свободная Россия!»

Болгарская литература — одна из самых молодых литератур славянских народов, однако она многое успела, и этим она обязана русской литературе. «Все наши писатели воспитывались в русских училищах или на русских книгах. Русская литература была щедрой кормилицей нашей молодежи, неисчерпаемым источником науки и поэзии...»[1] Это замечание известного болгарского филолога Б. Цонева определяет силу влияния на болгарскую литературу великих художников русской литературы прошлого столетия, первым из которых был Пушкин.

* * *

Великая Октябрьская революция отозвалась в славянском мире невиданным доселе подъемом национально-освободительной борьбы. Помощь советских народов, возглавляемых великим русским народом, решила исход вековой борьбы между славянами и немцами в пользу славян: польский, чешский, словацкий, болгарский народы обрели подлинную свободу. «Вековая борьба славянских народов за своё существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией»[2].

И в свободных славянских странах с новой силой засияла никогда не меркнущая звезда Пушкина. Дело не только в том, что произведения поэта стали издаваться большими тиражами, каких никогда раньше не знали эти страны, но и в том, что все более широкие народные массы в этих странах приобщаются к культуре, свет науки проникает в самую гущу трудового народа, произведения Пушкина становятся достоянием всего многомиллионного славянства.

Победа над гитлеровской Германией дала возможность польскому, чехословацкому и болгарскому народам восстановить свои традиционные культурные связи с Россией. Ныне, как никогда прежде, величайшие ценности славянского мира: литература, искусство, наука—стали достоянием свободных славян. Впервые за всю многовековую историю славянства народы этих стран получили неограниченную возможность для политического, экономического, культурного общения, установления взаимных связей во всех областях жизни. В этой большой и благодарной работе по упрочению дружбы и подлинного взаимопонимания между славянскими народами поистине неоценима роль великой русской литературы, богатство которой одинаково дорого всем славянским народам. В плеяде русских писателей, которые служат укреплению дружбы между славянскими народами, Пушкин и его творчество занимают особо важное место. В этом сегодня высоко патриотическое значение литературного наследия великого русского поэта.

Ленин говорил: «...свобода Польши невозможна без свободы России»[1]. Новая Польша, добывшая свободу благодаря братской помощи великого русского народа, строит социалистическое общество и крепит узы подлинной дружбы с СССР. Этот новый этап в истории отношений между нашими странами отмечен в Польше ростом интереса к советской культуре вообще и особенно к советской литературе.

Много лет работает над переводами Пушкина крупнейший поэт современной Польши Юлиан Тувим. Переводы Тувима охватывают все этапы творчества Пушкина, начиная с оды «Вольность» и кончая «Памятником».

В 1932 году вышел его замечательный перевод «Медного всадника», опубликованы фрагменты из его переводов «Полтавы» и «Цыган». Столетие со дня смерти поэта Тувим отметил изданием однотомника пушкинских стихов «Лютня Пушкина». Вышедшая недавно в Польше антология «Два века русской поэзии» содержит много пушкинских стихов в переводе Тувима. По единодушному признанию польской критики, переводы Тувима сделаны точным и чеканным языком, близким поэзии Пушкина. Критика считает, что после Мицкевича в

---

[1] Проф. Б. Цонев. «История на българский езикъ», т. първи, стр. 37. София 1940.

[2] И. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза, стр. 193. Госполитиздат, 1947.

[1] В. И. Ленин. Сочинения, изд 3-е, т. XII, стр. 328.

Польше никто не переводил Пушкина столь мастерски.

Поэт много сделал для популяризации русской литературы в Польше. Ему принадлежит перевод «Слова о полку Игореве», он автор переводов Маяковского.

Польские писатели работают над переводами на польский язык тех сочинений великого русского поэта, которые до сих пор не были известны польскому читателю. Драматические произведения Пушкина были переведены недавно С. Поляком. Стопятидесятилетие со дня рождения поэта ознаменовано в Польше изданием новых переводов произведений Пушкина.

* *
*

Многовековая история русско-чешских связей отмечена глубоким интересом народов Чехословакии к русской литературе. В наши дни крупнейшие чехословацкие издательства вновь и вновь обращаются к литературному наследию русского народа, чтобы перевести на чешский и словацкий языки все то, что до сих пор не было переведено. Крупнейшие издательства Чехословакии выпускают произведения русских писателей значительными тиражами, и они быстро раскупаются. В 1932 году в Чехословакии вышла обстоятельная «Пушкиниана», в которой были учтены все славянские и особенно полно чешские издания пушкинских произведений. Огромный интерес представляет работа профессора Рудо Бртаня «Пушкин в словацкой литературе» (1947). В предисловии автор отмечает, что этой работой он стремится укрепить славянские традиции в Словакии. Р. Бртаню принадлежат переводы пушкинских поэм: «Полтава», «Братья-разбойники», «Цыганы», «Граф Нулин», «Медный всадник», «Домик в Коломне», «Анджело». В переводах Бртаня в свое время вышли богато иллюстрированные пушкинские сказки: «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о мертвой царевне».

Среди современных переводчиков Пушкина в Чехословакии видное место занимал недавно скончавшийся поэт Янко Ясенский, много сделавший для распространения русской литературы. Столетие со дня смерти Пушкина Ясенский отметил изданием однотомника избранной лирики Пушкина. В 1943 году был опубликован «Евгений Онегин» в переводе Ясенского.

Янко Ясенский был деятельным борцом против фашизма. В суровую пору немецкого нашествия его патриотические стихи распространялись в народе. В начале 1942 года, в сто пятую годовщину со дня смерти Пушкина, когда советские войска гнали по заснеженным полям России фашистские полчища, Янко Ясенский опубликовал стихотворение «Смерть Пушкина». Оно прозвучало тогда, как вызов фашистским извергам, поднявшим меч на русский народ и его национальную святыню — Пушкина. Ясенский писал тогда:

Он не умрет, он снова родится,
Хотя бы сто раз был убит и сто раз повешен.

Среди других переводов Пушкина на словацкий язык необходимо отметить переводы Поничана — «Моцарт и Сальери» (1941) и Вавры — «Пиковая дама» и «Повести Белкина».

Работой над переводами произведений нашей литературы в Чехословакии заняты лучшие переводчики, знатоки русского художественного слова. Среди них Илья Барт, Богумил Матезиус, Мария Марганова, Иржи Тауфер, Зденка Нилиусова. Сейчас осуществляется ряд юбилейных изданий Пушкина, которые будут выходить в течение всего 1949 года.

* *
*

Крупнейший поэт современной Болгарии Людмил Стоянов совершил поистине великий труд популяризации у себя на родине русской классической и советской литературы. Эта работа была особо отмечена советским правительством, которое в 1948 году, в связи с шестидесятилетием Людмила Стоянова, удостоило болгарского писателя высшей награды — ордена Трудового Красного Знамени. Как отмечалось в Указе Президиума Верховного Совета СССР, Людмил Стоянов награждался «за выдающиеся заслуги в деле ознакомления болгарского народа с русской классической и советской литературой».

Людмил Стоянов — выдающийся мастер современной болгарской литературы, одинаково сильно проявивший себя и в прозе и в поэзии. Людмил Стоянов «занимает одно из ведущих мест в современной болгарской литературе, как представитель лучшей части того поколения болгарско

интеллигенции, которое вступило в жизнь накануне двух балканских и первой мировой войны и сознание которого оформилось в условиях острых социально-политических конфликтов[1].

По признанию самого Стоянова, огромное влияние на его творчество оказали Пушкин и Горький. Писатель обращался к творчеству этих корифеев русского искусства каждый раз, когда думал над путями развития отечественной литературы, над тем, чтобы поднять ее художественные качества, сделать ее истинно народной. Под влиянием пушкинской «Песни о вещем Олеге» в переводе Пенчо Славейкова Стоянов начал писать балладу по мотивам героического болгарского эпоса. Говоря о той роли, которую сыграл в его жизни и творчестве Горький, болгарский писатель признавал: «Великий учитель, он указал мне путь, как писателю и человеку. Нет значительного момента моей жизни, момента творческих колебаний или решений, когда бы я не прибегал за советом к той или иной книге М. Горького».

В годы, предшествовавшие войне, когда у власти было фашистское правительство и в стране уже хозяйничали немцы, Людмил Стоянов выступал, как представитель прогрессивной болгарской интеллигенции, боролся в защиту дружбы с Советским Союзом. В 1933 году он протестует против ограничения ввоза советских книг в Болгарию. Его статья «Дайте доступ советской книге» была восторженно встречена прогрессивной болгарской интеллигенцией.

Столетие со дня смерти Пушкина решено было отметить изданием полного собрания сочинений великого русского поэта. Стоянов, признанный авторитет среди болгарских переводчиков с русского, взял на себя редактирование десятитомного собрания произведений Пушкина и привлек к работе лучших болгарских писателей и поэтов: М. Грубешлиеву, Н. Хрелкова и др. Выпуск первого тома был приурочен к столетию со дня смерти Пушкина. В 1937 году вышел первый том пушкинского собрания сочинений, в 1942 году — последний.

«Издание у нас первого полного собрания сочинений Пушкина, — пишет Стоянов в послесловии,— осуществлено. Выпуск этого издания окажет благотворное влияние на развитие болгарской литературы. Этот факт не может не обрадовать каждого, кому близка родная культура и кто ценит завоевания болгарского поэтического слова. Пушкинское издание будет содействовать культурному прогрессу и расширению национального сознания... Редактор и сотрудники работали с подлинным воодушевлением. Они задались целью дать действительно новый перевод Пушкина»[1].

Выпуск пушкинского собрания сочинений происходил в годы оккупации Болгарии немцами. Болгарская интеллигенция понимала, что выход в свет этого труда является своеобразной формой протеста против немецкого нашествия, выражением солидарности с русским народом. Это было очевидным и для официальных болгарских кругов. Когда пушкинские стихи в переводах Стоянова проникали в периодическую печать, цензура приходила в ярость, она кромсала пушкинские стихи, вымарывая из них целые строфы, она требовала убрать имя переводчика. Но издание «Полного Пушкина» все же избежало ножа цензуры: каждые шесть месяцев выходил новый том пушкинских сочинений.

Осенью 1941 года на весь мир прозвучали гневные слова Сталина о варварстве гитлеровцев, призывающих «к уничтожению великой русской нации, нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова!..»[2]

Слова Сталина нашли горячий отклик и в сердцах прогрессивных болгарских интеллигентов. Группа болгарских литераторов, которая все эти годы трудилась над выпуском пушкинского собрания сочинений, ответила советскому вождю завершением этого капитального труда.

Подвижнический труд болгарских литераторов, сумевших выпустить в суровую пору немецкой оккупации полное собрание сочинений Пушкина, является достойным памятником поэту.

---

[1] «Вестник Ленинградского университета», 1946, № 2, стр. 100.

[1] А. С. Пушкин. Съчинения. Пълно-събрание в 10 томах. том X. Книгоиздательство Игнатов, София.

[2] И. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза, стр. 30. Госполитиздат, 1947.

Незадолго перед тем, как было завершено болгарское издание полного собрания сочинений Пушкина, в 1937 году в Праге вышел «Полный Пушкин» на чешском языке в новых переводах. Чешское издание собрания сочинений Пушкина заключено в четыре тома. Начинания болгарских и чешских литераторов, выпустивших полное собрание сочинений великого русского поэта, является достойным памятником Пушкину. Эта работа будет продолжаться, и в ближайшие годы мы, несомненно, будем свидетелями новых изданий «Полного Пушкина» и в Болгарии, и в Чехословакии, и в Польше.

Идеи, которыми пронизано творчество Пушкина, близки нам, советским людям, и нашим друзьям за рубежом. Пушкин был другом всего истинно прогрессивного. Свободолюбие, высокое уважение к науке, искусству, литературе было органической его чертой. Его творчество не умирает, потому что озарено идеями гуманизма. Муза поэта воплощала непримиримую ненависть к крепостничеству, рабству, произволу. Поэт писал:

Тираны мира! Трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!

Пушкин стремился увидеть жизнь глазами народа. Будучи глубоко убежден, что его устами говорит народ, Пушкин восклицал:

И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.

Но только после Великой Октябрьской социалистической революции творения народного гения Пушкина стали достоянием широких масс.

Известные слова Ленина, сказанные о Толстом, могут быть отнесены и к Пушкину. Ленин говорил о Толстом, что он был «известен ничтожному меньшинству даже в России. Чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием в с е х, нужна борьба и борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету, нужен социалистический переворот»[1].

Русский народ, руководимый партией Ленина—Сталина, в братском содружестве с другими народами СССР — осуществил революционный переворот и сделал творчество Пушкина достоянием широких масс. Пушкин издавался в славянских странах на протяжении ста двадцати трех лет, но лишь теперь к его творчеству приобщаются массы славян-тружеников. Это происходит не только с произведениями Пушкина. Работы выдающихся славянских писателей, ученых, композиторов, художников до последнего времени были достоянием небольшой группы интеллигентов и лишь сегодня проникают в толщу народа. Можно сказать, что в наши дни гениальный Мицкевич впервые входит в скромное жилище каждого польского крестьянина. И то, что вместе с ним под кровлю польского землепашца входит великий Пушкин, глубоко знаменательно.

Великий сын русского народа, мечтавший о счастье славян, Пушкин будет вечно жить в душах миллионов простых людей славянского мира, обретших свободу.

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3-е, т. XIV, стр. 400.

ПУШКИН В КИТАЕ

ВЛАДИМИР РУДМАН

*

Имя Пушкина встречается сейчас в прессе освобожденных районов Китая особенно часто в связи с празднованием стопятидесятой годовщины со дня рождения величайшего русского поэта.

Любимое всегда хочется считать своим! Любовь китайского народа к русскому национальному гению так велика, что в одной из популярнейших своих песен он открыто говорит: «Пушкин — наш поэт!» Песня так и называется: «Пушигэн — наш поэт».

В Китае очень любят и высоко ценят русскую классическую и советскую литературу, раскрывшую новый, неведомый китайскому читателю мир и оплодотворившую его новую, демократическую литературу самыми передовыми освободительными идеями.

Значение русской классической литературы для Китая не раз подчеркивал основоположник революционно-демократической литературы Китая Лу Синь, и вот одно из его высказываний:

«Русская литература, несмотря на стремление империалистических стран держать Китай в колониальной изоляции, проникла к нам еще в конце прошлого столетия. И тогда мы узнали, что русская литература — наш учитель и друг, потому что она дала нам возможность разглядеть тот знаменательный факт, что в мире существует два рода людей — угнетатели и угнетенные. А это было большим открытием, которое по своему значению не уступало изобретению древними огня, осветившего мрак ночи и давшего людям горячую пищу» [1].

[1] Лу Синь. Литературные связи Китая с Россией.

О значении советской литературы для китайской патриотической литературы военных лет неоднократно говорил крупнейший писатель Мао Дунь, видевший ее силу в том, что «она изображает великую мощь непокоренных людей, показывает, как сам народ решает свою судьбу, строит для человечества рай на земле, спасает судьбы человечества в войне с фашизмом и двигает историю вперед. Отсюда познается истина и возрастает мужество».

Пушкину же китайский народ придает особое значение и имеет для этого особые основания.

Великий русский поэт довольно хорошо знал Китай, хотя и не бывал в этой стране. Он чувствовал Китай, разбирался в его культуре так, как никто другой из русских писателей, ибо был связан с ним давним интересом, проснувшимся еще в юности и приведшим его в зрелые годы к серьезным и усердным занятиям китаеведением.

Россия была первой страной, давшей миру настоящее научное представление о Китае и всей Восточной Азии. Первые камни в фундамент синологии (то есть изучения китайского языка, истории, религии, философии и отчасти экономики Китая) заложили именно русские люди. Это полезно помнить и необходимо подчеркнуть тем более, что среди западных буржуазных синологов господствует, еще недавно разделяемое и некоторыми советскими китаеведами, убеждение (вернее, заблуждение) в том, что основоположниками науки о Китае были англичане и французы. В Европе и сейчас охотно и на все лады повторяются при этом имена Легга, Вильямса, Джайльса, Шаванна (современников конца прошлого и начала нынешнего века) и совершенно замалчиваются имена Леонтиева

и особенно Иакинфа, живших во второй половине XVIII и первой половине XIX столетий и являвшихся подлинными основоположниками научного изучения Китая.

Коллегии иностранных дел секретарю Алексею Леонтиеву (современнику Ломоносова, Тредьяковского и Кантемира) принадлежит честь первого ознакомления России с Китаем. Среди двадцати трех его книг, выпущенных за двенадцать лет (с 1776 по 1788 год) и заключающих точные переводы с китайского и маньчжурского языков, отлично изученных им, числится уникальный шестнадцатитомный (около 3.000 страниц!) труд «Обстоятельное описание происхождения и состояния маньчжурского народа и войска в осьми знаменах состоящего». Это обширнейшая энциклопедия, освещающая все стороны жизни Китая в эпоху царствования маньчжурской династии.

Еще более замечательны пятнадцать крупных исследований и несколько десятков очерков и статей о Китае, Монголии, Синьцзяне и Тибете монаха Иакинфа (Никиты Яковлевича Бичурина). Это не просто научные исследования. Это труды воинствующего ученого, разоблачившего клевету европейских миссионеров на китайский народ и его культуру [1].

Иакинф был (и в этом одна из важнейших его заслуг) первым составителем грамматики китайского языка, подведшим под его изучение научную основу. Труды Иакинфа произвели полный переворот в европейских представлениях о Китае.

Пушкин впервые встретился в Одессе с живыми рассказами о настоящем Китае Здесь завязалось знакомство поэта с Ф. Вигелем, состоявшим в 1805 году при русском посольстве графа Головкина в Китай... Вигель во время путешествия сумел повидать немало интересного, в чем Пушкин убедился, слушая его рассказы. Надо полагать, что Вигель сообщил Пушкину много нового, ибо был человеком наблюдательным, если судить по его живым и занимательным запискам, которые увидели свет в 1891 году.

Возвращенного из ссылки Пушкина мы застаем уже за серьезным изучением Китая. В библиотеке поэта сохранился приобретенный им в то время полными комплектами за шесть лет «Сибирский вестник»—весьма широкий по тематике журнал, содержавший большое количество статей, заметок и дневников о Китае. Поэтому в 1828 году, когда произошла важная для Пушкина встреча с Иакинфом, перешедшая затем в дружбу между ними, великий поэт был уже достаточно подготовленным учеником для великого китаеведа, географа и лингвиста.

Монах Иакинф являлся весьма колоритной фигурой тогдашнего Петербурга. Свободно объясняющийся на трех европейских языках и в совершенстве постигший живую речь и древнюю письменность китайского, маньчжурского, монгольского и тибетского языков, это был человек всесторонней эрудиции.

Иакинф вернулся на родину в 1821 году, после четырнадцатилетнего пребывания в Пекине на посту начальника русской духовной миссии. Пятнадцать верблюдов пронесли через пески Гоби и бескрайние степи Хангая собранные им книги, а также рукописи его собственных произведений, раскрывших перед Европой Китай в его бытовом, религиозном, философском, культурном, политическом и экономическом многообразии.

Мы знаем о частых и долгих беседах Иакинфа с Пушкиным. Знаем, что Иакинф дарил свои книги Пушкину. Известно и то, что некоторые труды Иакинфа Пушкин читал еще в рукописях, конспектировал, делал выписки из них. Это отмечено самим Пушкиным в 1 главе «Истории Пугачева».

Иакинфу Пушкин обязан систематизацией и значительным пополнением своих знаний о Китае, а более всего — проникновенным пониманием сущности огромной и яркой культуры не только Китая, а

[1] «Миссионеры, — справедливо утверждал Иакинф в одной из своих книг,—описывали языческую нравственность китайцев, разумеется, только черными красками, и это столь польстило умной Европе, что лучшие писатели ее, касавшиеся Китая, один перед другим старались вполне высказать свое красноречие, чтобы усилить черноту красок, как будто от этого преимущество христианских народов выказалось в красках светлее обыкновенных».

всего Востока. «От пряной экзотики XVIII века, — справедливо замечает М. П. Алексеев в своей работе «Пушкин и Китай», — он (то есть Пушкин. — *В. Р.*) поднялся тогда до подлинного постижения Востока...»[1].

Иакинф же разжег и стремление поэта отправиться в Китай, воочию увидеть страну, познакомиться с ее народом. В январе 1830 года Пушкин передал шефу жандармов Бенкендорфу прошение на имя Николая I: «...Я просил бы позволения посетить Китай с посольством, которое туда отправляется».

С этим посольством барона Шиллинга следовал Иакинф, и Пушкину было важно воспользоваться случаем.

Ответ Бенкендорфа гласил, что желание Пушкина сопровождать наше посольство в Китай «не может быть исполнено, так как все чиновники в него уже назначены и не могут быть переменены без уведомления о том Пекинского двора».

Расставшись с другом, поэт не утратил живого интереса к Китаю.

Через четыре месяца после неожиданного и тяжело пережитого отказа Пушкин отправился в имение Гончаровых «Полотняный завод», вблизи Калуги. Спустя семьдесят лет И. Щеглову, посетившему музей Калужской архивной комиссии, попался в руки интереснейший документ — список книг, прочитанных Пушкиным в то время.

«Как вы думаете, — писал изумленный Щеглов, — что стоит на первом месте? Книги о Китае... Положительно замечательная черта...»[2].

Лучшего подтверждения интереса Пушкина к Китаю, пронесенного через многие годы жизни, и искать не нужно.

Что же дали Пушкину эти занятия?

Для того, что он создал, — не много, но для того, что задумал, они имели большое и важное значение. Занятия Китаем не были, конечно, самоцелью, по крайней мере на ближайшие годы. Но поскольку Пушкин ставил перед собой задачу написать историю Петра I, обдумывал поэму о Ермаке, интересовался Атласовым, которого называл «камчатским Ермаком», — знание Китая (особенно для уяснения дипломатических сношений России с Китаем, начавших развиваться при Петре) было необходимо. Пушкина влекли героические дела русских людей в Сибири. Он хотел показать величие России в подвигах ее сынов. Об этом свидетельствуют наброски и планы последних, оставшихся незавершенными, работ Пушкина. И все эти темы вели на Восток, к пустынным берегам Тихого океана, «к подножию стены далекого Китая».

Одна из рукописей Пушкина свидетельствует о попытке поэта развить свои размышления над философией Конфуция. Вот эти незаконченные и затем зачеркнутые строки:

Мудрец Китая
(зачеркнуто: Конфуций)
Нас учит юность уважать
(и)
(От заблуждений охранять) ?)
(Не торопиться осуждать)
(Она одна дает надежду)
(Надежду мож..)

Е. В. Путята в записной книжке отмечает: «Пушкин... собирался с бароном Шиллингом в Сибирь на границу Китая. Не знаю, почему не сбылось это намерение, но следы его остались в стихотворении «Поедем, я готов».

Знакомство с Пушкиным началось в Китае по японским переводам. Это было, правда, еще очень отдаленное знакомство.

Первый русский писатель, которого увидели японцы, был Гончаров, прозванный портовыми чиновниками Натасаки «секретариус Контяро», а первый русский писатель, которого они перевели, — Пушкин. Избранным произведением оказалась «Капитанская дочка». Японцы переложили ее в 1883 году с английского под столь же цветистым, как и нелепым заглавием: «Сердце цветка и думы бабочки. Удивительные вести из России». Вина японцев здесь, собственно, лишь в том, что, не зная русского языка, они слепо доверились досужей фантазии английского переводчика. Не по их вине и во втором переводе, из-

---

[1] Сборник «Пушкин и Сибирь», стр. 144. Москва—Иркутск, 1937.

[2] И в. Щеглов. Три дня в Калуге. («Новое время» № 8830 от 26/IX 1900).

данном в 1886 году, Маша превратилась в Мэри, а Гринев — в Смита[1].

Первые попытки переводить Пушкина на китайский язык относятся к самому началу нашего столетия. Цзюй Хань-фын в своем введении к «Перечню переводов Горького» свидетельствует, что Пушкин переводился еще в 1903 году[2], однако другой литературовед-исследователь Гэ Бао-цюань говорит, что этого перевода ему найти не удалось[3]. В 1920 году были изданы переводы Шен Ина. До этого времени Пушкина в Китае читали по преимуществу в английских, французских, а чаще всего в японских переложениях, но круг его читателей был, конечно, весьма узок, да и расширить его не смогли бы тогда даже и китайские переводы. Язык, на который до 1918—1920 годов переводились иностранные книги, так называемый «вэнянь» (то есть изящный слог), являвшийся официальным языком феодальной классической литературы, был доступен лишь самому избранному обществу, получившему высшее классическое образование, требовавшее больших денег и многолетней подготовки.

Расширению круга читателей способствовал переход журналов и газет на «байхуа», понятный уже всей китайской интеллигенции.

Однако пробуждение широкого интереса к русской литературе зависело не от внедрения нового языка. Оно было вызвано Великой Октябрьской социалистической революцией.

Наш Октябрь, открыв новую эру в истории человечества, внес в национально-освободительное движение китайского народа новое содержание, обогатил ее новыми идеями, широко раздвинул ее горизонты.

Победоносная борьба Советской России против интервенции 14 держав убедила китайский народ, что можно не только бороться против империализма, но и победить его. Аннулирование Советской Россией неравноправных договоров, заключенных царским правительством с Китаем, а затем заключение первого в истории равноправного договора, основанного на ленинско-сталинских принципах решения национального и колониального вопросов, показали китайскому народу, что новая Россия — его настоящий, преданный и бескорыстный друг. Обогащенное идеями Октября национально-освободительное движение в Китае охватило широкие массы трудящихся и, перешагнув рамки, очерченные классовыми интересами китайской буржуазии, которая в то время возглавляла его, поставило на очередь дня последовательную и непримиримую борьбу против господства империализма и феодальных пережитков — за национальную независимость родины, за преобразование жизни на демократических основах.

Взоры всего прогрессивного Китая обратились к Советской России: нужно было продумать ее великие идеи, понять ее героический народ, перенять опыт его победоносной борьбы. Нужно было овладеть русской литературой, отразившей в непревзойденных художественных образах «вековую тяжбу русского народа с царским самодержавием»[1]. Произведения русских авторов стали переводиться сразу с нескольких иностранных языков, а в дальнейшем непосредственно с русского оригинала. Имя Пушкина, рядом с именами Горького и Льва Толстого, оказалось на заглавной странице переводной литературы Китая.

Первым произведением Пушкина, прочитанным китайцами на родном языке в 1920 году, была повесть, раскрывающая драму маленького человека — скромного станционного смотрителя, поднятую Пушкиным до высот социального обобщения. Симеон Вырин первым из пушкинских героев сразу же получил всеобщее признание в Китае. Маленькие, незаметные люди к этому времени уже вошли героями в китайскую демократическую литературу: им посвящены были произведения Лу Синя.

Под непосредственным влиянием Гоголя,

---

[1] К о н р а д. Первый этап японской буржуазной литературы. (Труды Института востоковедения Академии наук СССР, т. I, стр. 71. 1932).

[2] Журнал «Гуанмин», т. I. вып. 2, 1936.

[3] Г э Б а о-ц ю а н ь. Пушкин в Китае. («Пушкинский сборник» под редакцией Рогова и Гэ Бао-цюаня, 1947, на китайском языке).

[1] И. В. С т а л и н. Сочинения, т. 1, стр. 186.

Чехова, Горького Лу Синь, заложивший основы демократической литературы и нового литературного языка, показал в китайской литературе простых людей своей страны (крестьян, ремесленников, мелких чиновников, представителей бедствующей трудовой интеллигенции), живущих в затхлой атмосфере феодального общества, подавляющего личность, растлевающего чувства человека и превращающего его жизнь в мучительную пытку.

Герои Лу Синя, подобно станционному смотрителю, бессильны перед вековыми традициями феодального общества, беспомощны перед жестокостью, лицемерием и тупой надменностью власть имущих, но им свойственна жажда свободы и независимости. Изображение их страданий и гибели Лу Синь использует для разоблачения уродливых феодальных пережитков, вскрытия гнойных язв старого Китая.

Таким образом, «Станционный смотритель» сразу стал близким китайскому читателю.

В 1921 году в переводе Ань Шоу-и появилась «Капитанская дочка», существующая теперь уже в трех разных переводах, а год спустя был издан объемистый сборник, названный «Исследования в области русской литературы» и явившийся большим событием в жизни литературных кругов прогрессивного Китая. Он содержал ряд статей о русской литературе и переводы произведений тридцати русских авторов от Пушкина до Серафимовича.

В этом сборнике, в прозаическом переводе, была помещена пушкинская драма «Моцарт и Сальери».

Изданная в 1924 году в переводе Чжао Чэн-чжи «История села Горюхина» — острая сатира, зло высмеявшая крепостничество, — нашла живой отклик у китайского читателя: она возбуждала в нем ненависть к собственным феодальным порядкам.

В 1924 году в Китае читали уже все «Повести Белкина», переведенные тем же Чжао Чэн-чжи. Это обстоятельство заслуживает особого упоминания, ибо в первой половине 20-х годов китайские издательства еще не позволяли себе столь пристального внимания к одному автору.

Пушкина переводили в Китае (если считать по количеству переведенных произведений) больше, чем кого-либо другого из русских писателей, но не систематически. В хронологии китайской пушкинианы — два пробела. Особенно длинен первый: 1924—1937 годы. За эти тринадцать лет в Китае не издано ни одной книги Пушкина или о Пушкине. В 1927 и 1936 годах ему посвятили свои номера китайские журналы: «Культура Китая и СССР»[1] и «Переводная литература»[2]. Первый из них выпустил специальный пушкинский номер, содержащий статьи китайских писателей и переводы статей советских авторов (В. Вересаева, И. Лежнева, А. Виноградова и др.). Второй поместил восемь тематических статей: «Как работал Пушкин», «Горький о Пушкине», «Пушкин в музыке» и т. д. И это все. Но зато в 1937 году появилось много новых изданий Пушкина. Кроме столетней годовщины со дня смерти поэта, была для этого и другая причина. Китайский народ ответил на предательское нападение японцев решительным отпором. Началась национально-освободительная война.

Горячий отклик в сердцах китайских читателей нашли слова вольнолюбивого русского поэта, обращенные к Чаадаеву:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья...

Эти слова были как бы убедительным, с огромной художественной силой сформулированным лозунгом единого фронта спасения родины. Веру в освобождение от японских тюремщиков, превративших оккупированный Китай в огромную каторжную тюрьму, вселяло и знаменитое пушкинское стихотворение «В Сибирь». Не удивительно поэтому, что «Вольность» появилась в Китае в двух переводах, послание «К Чаадаеву» — в четырех, а послание «В Сибирь» — даже в восьми переводах!

За три месяца 1937 года выпущено восемь книг, посвященных Пушкину. Дважды (в переводе с русского Мэн Ши-хуана и в переводе с английского — Ли Бо) издан «Дубровский». Остальное — сборники про-

[1] «Чжун Су вэньхуа», т. II, вып. 2, 1927.
[2] «И вэнь», т. II, вып.1, 1936.

изведений Пушкина и статей о нем. Особенно замечателен «Юбилейный сборник к столетней годовщине смерти Пушкина», насчитывающий свыше 620 страниц. Он состоит из трех частей. В первой — статьи о Пушкине, во второй — переводы 16 его стихотворений, в третьей — «Моцарт и Сальери», «Пиковая дама», «Дубровский» — в новом, уже третьем по счету переводе, и — в четвертом переводе — «Станционный смотритель».

Первым крупным произведением Пушкина, переложенным стихами на язык «байхуа», была поэма «Цыганы». Перевод ее принадлежал талантливому китайскому поэту и публицисту, выдающемуся политическому деятелю и одному из руководителей коммунистической партии Китая Цюй Цю-бо. Цюй Цю-бо являлся также автором отличных переводов Горького и превосходных статей о Советской России. Большая часть его работ увидела свет уже после смерти. (В 1935 году умирающий от туберкулеза Цюй Цю-бо был схвачен гоминдановскими палачами и расстрелян ими). Перевод поэмы «Цыганы» вышел в 1940 году и принес в Китае новую славу величайшему русскому поэту.

В 1942 году, несмотря на тяжелые условия, в которых китайский народ вел свою героическую освободительную войну, несмотря на вызванные японской блокадой издательские трудности (острый дефицит бумаги, изношенность типографских машин и т. д.), прогрессивные круги Китая отметили XXV годовщину Великой Октябрьской социалистической революции выпуском четырнадцати названий книг русских классиков и советских авторов. Среди них мы находим томик лирики Пушкина. В том же году появился и первый перевод «Евгения Онегина», выполненный Су Фу по тексту японского перевода, а в 1944 году вышел перевод Люй Ина с русского оригинала, переизданный затем в 1947 году.

1947 год стал годом триумфа Пушкина в Китае. Гоминдановская реакция всячески старалась сорвать в контролируемых ею районах широкое празднование стодесятой годовщины со дня смерти любимейшего в Китае русского поэта, но результатов не добилась. Прогрессивные шанхайские издательства, невзирая на угрозы гоминдановской полиции и придирки цензуры, выпустили в двух новых переводах «Капитанскую дочку», «Повести Белкина», «Критическую биографию Пушкина», замечательно полиграфически оформленную «Биографию Пушкина в иллюстрациях» и большой «Пушкинский сборник», насчитывающий 400 с лишним страниц. В нем 41 стихотворение Пушкина, три сказки, поэма «Цыганы», драмы «Борис Годунов», «Каменный гость» и другие произведения, высказывания о Пушкине русских писателей и поэтов, критические статьи китайских авторов. Была проведена в Шанхае и серия докладов о Пушкине.

В освобожденном демократическом Китае пушкинская годовщина превратилась в народное национальное торжество. Состоялись митинги, торжественные заседания, концерты. Во всех журналах и газетах появились статьи и новые переводы произведений Пушкина.

Какая же работа проделана китайскими пушкинистами и переводчиками за последние три десятилетия? Наши данные не могут претендовать, конечно, на исчерпывающую полноту (еще далеко не все выявлено и подсчитано), но общая картина рисуется в следующем виде.

Из 16-ти прозаических произведений Пушкина переведено 13 (нет пока лишь переводов «Путешествия в Арзрум» и двух отрывков: «Рославлев» и «Роман в письмах»). Из сказок известны 3, из драматических произведений — тоже 3: «Борис Годунов» (в двух переводах), «Моцарт и Сальери» и «Каменный гость». Трижды переведена поэма «Цыганы», дважды «Кавказский пленник» и «Братья-разбойники», по одному разу — «Бахчисарайский фонтан», «Медный всадник» и «Граф Нулин». «Евгений Онегин» насчитывает пять переводов. Переведено около ста отдельных стихотворений. Короче, Пушкин представлен в Китае 125-ю своими творениями, увидевшими свет в 251 переводе.

Значительное количество переводов сделано непосредственно с русского оригинала. Можно смело сказать, что Пушкин—единственный русский автор, которого китайцы

так много переводили с родного ему языка. Из 251 перевода — 160 сделано с подлинника.

Одним из лучших переводчиков пушкинских стихов является известный литературовед, критик, общественный деятель Гэ Бао-цюань, отлично владеющий русским языком и тонко чувствующий русскую поэзию. Отдельные строки Гэ Бао-цюаня настолько точно воспроизводят подлинник, что при обратном переложении с китайского на русский почти дословно восстанавливается пушкинский текст. Иллюстрируем сказанное переводом с китайского на русский отрывков из послания «К А. П. Керн»:

Я помню чудное мгновенье.
Моим глазам явилась ты,
Как обольстительное виденье,
Как дух чистой красоты...

В бедном сельском захолустье, в изгнании
Мои годы и месяцы, уходя, тянулись —
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви...

В наши дни Пушкин приобретает для Китая особое, не только литературное, но и политическое значение. Это относится, впрочем, не только к Китаю, но и ко всем странам, закабаленным американским империализмом. Китайский народ уже взял в свои руки судьбу страны. Более чем на половине его территории свергнуто господство гоминдановцев — верных слуг американского империализма.

Свободолюбивый пушкинский гений близок и понятен простым людям всего мира, верящим в светлое будущее человечества. И эта близость Пушкина героическим народам, борющимся за свое раскрепощение, превращает его имя в знамя борьбы за демократию и народность.

ПУШКИН В ВЕНГРИИ

АЛЕКСАНДР ЛИДИН

★

Известный современный венгерский писатель Дьюла Иеш в 1937 году одну из своих статей о Пушкине начал знаменательными словами: «После русских именно мы, венгры, лучше других знаем, кем был Пушкин!.. Он принадлежал к тем очень немногочисленным иностранным поэтам, имя которых без запинки произносится по-венгерски потому, что еще наши отцы повторяли его так часто, что оно стало близким и родным для венгерского уха»...[1]

Что побудило этого крупнейшего прогрессивного писателя Венгрии, выступившего со своей статьей в период разгула фашистской реакции, так смело и громогласно заявить об отношении венгерского народа к Пушкину?

Нет сомнения, что Иеш имел на это свои основательные причины.

Имя Пушкина проникает в Венгрию раньше, чем переводы его произведений. Статья известного венгерского критика Ференца Тольди «Русская поэзия», напечатанная в 1828 году в передовом венгерском журнале «Научный сборник»[2], впервые ознакомила венгерских читателей с именем Пушкина и в то же время явилась первой ласточкой, принесшей весть о русской литературе в Венгрию. Недаром известный венгерский библиограф Шандор Козоча пишет по этому поводу: «С тех пор, как венгерская история литературы считает свою деятельность наукой, т. е. со времени Ференца Тольди, писатели и читатели Венгрии постоянно интересуются русской беллетристикой. Первым историческим шагом в этом направлении был в 1828 году очерк Ференца Тольди, который является не только основополагающим в этой области, но имеет огромное значение, так как служит первым этапом благотворного развития наших систематических связей с русской литературой»[1].

Не только статья Ференца Тольди, но и ряд других свидетельств показывают нам, с каким интересом и вниманием следили поэты и писатели придунайских стран за творчеством своего великого современника, представителя лучшей части русского общества той поры. В связи с этим здесь следует вспомнить о румынском писателе и переводчике Константине Негруци, который одним из первых на Балканах перевел «Капитанскую дочку». Перевод на румынский язык этой прославленной исторической повести Пушкина во многом определил дальнейшее литературное творчество Негруци. Вскоре он становится известным у себя на родине как создатель цикла исторических новелл. Негруци был лично знаком с Пушкиным и начал свои первые литературные опыты под непосредственным влиянием общения с великим русским поэтом. Познакомившись с ссыльным поэтом в Кишиневе, Негруци до конца своих дней сохранил память об этих встречах.

Рассказывая в новелле «Калипсо» о своих встречах с Пушкиным, Негруци вспоминает высокую образованность и ум поэта. Он пишет: «Пушкин меня любил и находил удовольствие исправлять ошибки, которые я делал, когда разговаривал с ним по-французски. Иногда он приходил и слушал целыми часами меня и Калипсо, как мы разговариваем по-гречески; затем

---

[1] Журнал «Нюгат» (Nyugat) 1937, № 3, стр. 218.

[2] Toldy Ferenc. «Orosz poezis»; «Tudomànyos Gyüjtemeny», X k, 1828, 1. 105—114.

[1] Kozocsa Sàndor. «Az orosz irodalom magyar bibliográfiája». Budapest, 1947, I. VII.

он читал мне наизусть свои стихи и тут же переводил некоторые из них»[1].

Общение с Пушкиным, которого Негруци уже в то время называл «великим русским поэтом», окончательно утвердило его в стремлении серьезно заняться литературой. Спустя несколько лет румынский поэт с большим мастерством переводит стихотворение Пушкина «Черная шаль», которое, по его словам, «представляет собой целую поэму, написанную для молодой гречанки».

В Венгрии, как и в Румынии, как и в Чехии и Сербии, можно найти немало свидетельств неослабного внимания передовых людей этих стран к Пушкину. И если в 30-х и 40-х годах прошлого столетия переводы пушкинских произведений в придунайских странах были немногочисленны, то это объясняется отнюдь не недостатком интереса к Пушкину со стороны передовых читателей, а общей экономической и политической отсталостью этих стран, долгое время находившихся под гнетом австрийского абсолютизма, насильно насаждавшего немецкую культуру и всеми силами ограждавшего подкабальные народы Австрийской монархии от влияния передовой, свободолюбивой русской литературы.

Вскрывая причины медленного проникновения первых пушкинских произведений в придунайские страны и, в частности, в Венгрию, нельзя обойти молчанием и такой важный фактор, как мероприятия царской цензуры и официальной печати, стремившихся всеми способами замолчать или представить в искаженном свете перед иностранцами истинное состояние передовой русской общественной мысли.

Известно, как глубоко страдал Пушкин на родине от преследований царской цензуры. Преследования эти особенно усилились после декабрьских событий 1825 года. Царь отнюдь не стремился к тому, чтобы произведения Пушкина проникали за пограничный кордон. Пресловутому Фаддею Булгарину был отдан на откуп сбыт отечественной литературы за границу. Через Булгарина шли в то время легальные литературные связи России с Западом. Фаддей Булгарин распространял по Европе критические очерки, рассказы и повести из русской жизни, написанные не кем иным, как самим Фаддеем Булгариным. Следы его верноподданнической стряпни встречаются неоднократно и в венгерских журналах 30-х и 40-х годов: в 1834 году печатаются отрывки из бездарной повести «Мазепа», в 1836 году — статья «Развитие литературы и ее современное состояние», в 1841 году — переработанная статья Булгарина «История русской литературы». Не трудно себе представить, что способен был написать о Пушкине этот литературный доносчик!

Вредоносная булгаринская «просветительская» деятельность проникала в ту пору во все страны Европы, скрывая от иностранцев свободолюбивые гуманные идеи произведений Пушкина.

Однако, несмотря на старания булгариных, им все же не удалось остановить распространение вольнолюбивых идей поэта, который в мрачную эпоху николаевской реакции мечтал о том времени, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся».

Минуя пограничные кордоны, сметая все преграды на своем пути, творения Пушкина завоевывали внимание и любовь не только русских, но и зарубежных читателей.

В Венгрии еще до того, как были переведены на венгерский язык первые произведения Пушкина, появилось 16 статей, посвященных его творчеству.

★

Переводная литература развилась в Венгрии лишь в первой половине прошлого века. Тем более замечательно, что с развитием современного венгерского литературного языка произведения Пушкина заняли в переводной венгерской литературе важное и почетное место. В 1844 году апрельский номер «Пештского журнала» открывается рассказом Пушкина «Выстрел» в переводе Габора Казинцы. Это был самый ранний перевод «Выстрела» в придунайских странах. (В Сербии «Выстрел» впервые переведен в 1851 году, в Чехии — в 1891 году).

40-е годы прошлого столетия явились для Венгрии годами бурных исторических событий. Освежающим весенним громом прогремела по стране революционная гроза, пробудившая национальное самосознание венгерского народа. На эти годы падает расцвет творчества великого национального поэта Венгрии Шандора Петефи. Пушкин в России, а через десять лет после его

[1] Negruzzi: «Negru pe Alb».

смерти Петефи в Венгрии означали каждый для своего народа огромный скачок вперед как в области развития национальной литературы и языка, так, в еще большей степени, и в области духовного роста народных масс, приобщавшихся через этих национальных гигантов к передовым идеям своего времени.

Венгерская революция была жестоко подавлена международной и внутренней реакцией. Габсбурги установили в стране мрачный полицейский режим. Появление новых переводов произведений Пушкина на время приостановилось не только в Венгрии, но и в других придунайских странах, угнетенных австрийской реакцией. Вот что писал об этом мрачном времени хорватский литературовед Миливой Шрепель в статье «Пушкин в хорватской литературе»: «Влияние Пушкина в продолжении иллирийской эпохи было бы по всей вероятности заметнее и значительнее, если бы уже в 1849 году не произошла приостановка конституционного правления, за которой в 1851 году последовала система баховской централизации и германизации. На нежные посевы национальной жизни обрушился мороз...» [1]

Несмотря на поражение венгров в освободительной борьбе, революция 1848—1849 годов двинула вперед самосознание народа и подготовила почву для восприятия вольнолюбивых идей передовой русской литературы. Лучшие люди венгерского общества той поры понимали, что подлинная, настоящая Россия — это не Россия Николая I и прислуживавших ему булгариных и гречей, а Россия Пушкина, загубленного самодержавием, Россия революционных демократов Герцена и Чернышевского, которые выражали истинное отношение русского народа к революционным событиям в Венгрии и подняли свой смелый голос в защиту свободолюбивого венгерского народа, с оружием в руках отстаивавшего свои права в революции 1848—1849 гг. В последующее десятилетие в Венгрии поднимается волна увлечения Пушкиным. Критики и литераторы спешат наверстать упущенное и знакомят с творчеством Пушкина широкие круги венгерских читателей.

В 50-е годы в нескольких венгерских журналах появляются переводы повестей Пушкина «Пиковая дама» и «Метель». Характерно, что в Венгрии Пушкин стал известен прежде всего как прозаик, в противоположность немецкой и французской литературам, где, как мы знаем, Пушкина впервые узнали именно как поэта, и лишь гораздо позднее как мастера реалистической прозы. Это внимание к прозе Пушкина со стороны венгерских литераторов свидетельствует о силе воздействия пушкинского реалистического повествования на венгерскую прозу, находившуюся еще в ту пору во власти романтизма.

Творчество Пушкина наглядно показало даже самым закоренелым венгерским «западникам», что за северной границей Венгрии лежит страна, чья культура несет свет не только своему народу, но и народам Западной Европы. Известный венгерский критик того времени Пал Дьюлаи, одним из первых увидевший прогрессивную роль русской классической литературы, восторженно восклицал: «Чудесно, что наконец-то наши переводчики начали интересоваться и русской литературой» [1].

Творения Пушкина вынудили даже наиболее скептически настроенных литераторов Венгрии признать, что ни одна литература Запада не подняла в те бурные десятилетия столько животрепещущих вопросов, как литература русская. В русской литературе пушкинского периода передовые венгерские критики видели ее глубоко самостоятельные, национальные черты и восставали против ложного утверждения некоторых западных литературоведов о подражательском характере русской литературы. Так, уже в 1855 году венгерский критик Ференц Шаламон при переводе «Мировой литературы» француза Жана Ампера не соглашается с подобным взглядом на современную русскую литературу и излагает свою точку зрения в следующих словах: «Русские поэты берут в качестве предмета для изображения русскую жизнь, предварительно глубоко изученную ими самими. Новейшую русскую литературу нельзя рассматривать, как подражательную».

Понимание того, что Пушкин преодолел господствовавший в европейской литерату-

[1] «Пушкин в южно-славянских литературах». Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук СССР, т. LXX № 2, стр. 58.

[1] Из письма П. Дьюлаи в журнал «Фиделе». 1862.

ре того времени «унылый романтизм» Байрона и открыл для литературы все богатство реальной жизни, свидетельствует о том, что уже в середине прошлого столетия в Венгрии складывается мнение о Пушкине, как о глубоко национальном русском поэте и основоположнике реализма в мировой поэзии.

Последующее расширение знакомства с поэзией Пушкина позволило венгерским читателям и писателям еще больше утвердиться в этом взгляде на творчество великого поэта. С каждым десятилетием росло число и улучшалось качество переводов произведений Пушкина на венгерский язык, наглядно демонстрируя все возрастающий по ту сторону Карпат интерес к творчеству великого русского поэта. Только за 60-е годы в Венгрии было переведено 55 произведений Пушкина — почти столько же, сколько за целое столетие было переведено на английский (60) или итальянский языки (50)!

*

Первыми выдающимися переводчиками Пушкина в Венгрии по праву можно назвать братьев Зилахи — Кароя и Имре. С начала 60-х годов они в сотрудничестве с крупнейшим венгерским поэтом Яношем Арань — редактором ряда известных в то время журналов — переводят одно за другим произведения Пушкина. «Бахчисарайский фонтан», сцены из «Бориса Годунова», «Братья-разбойники», «Песня о вещем Олеге», «Черная шаль» и ряд других произведений выходят в 1864 году отдельным томиком в переводе Имре Зилахи (Черени) под названием «Поэтические повести». В этом же году Карой Зилахи переводит «Капитанскую дочку», имевшую огромный успех у читателей и выдержавшую 10 изданий.

Интерес к творчеству Пушкина в Венгрии все более возрастает. В 1865 и 1866 гг. венгерский читатель знакомится в переводах с «Кавказским пленником», «Графом Нулиным», «Цыганами», со стихотворениями «К морю», «Анчар», «Кавказ», «Два ворона» и др. Большим событием в литературной жизни Венгрии был выход первой антологии русской поэзии под редакцией Имре Зилахи. В антологию под названием «Северное сияние» вошли стихотворения Пушкина и Лермонтова.

Таким образом в 60-х годах прошлого столетия пушкинская проза и стихи были уже широко известны венгерским читателям. Искусственности и напыщенному преувеличению чувств, широко распространенным в современной ему западной литературе, Пушкин противопоставил необычайную простоту и правдивость реалистического рассказа. Пушкин вводит в литературу не исключительное, а повседневное; он высмеивает романтический гиперболизм и трафарет в творчестве западных романтиков.

Бурно проявленный в Венгрии 60-х годов прошлого века интерес к творчеству Пушкина и ко всей русской классической литературе в большой мере определялся тем, что Венгрия во многом повторяла социально-экономический путь тогдашней России. Венгерский критик Аладар Комлош пишет: «Основной причиной симпатии и притяжения, с которыми наши писатели после 1860 года обратились к русской литературе, были те схожие художественные и общественные задачи, перед которыми стояли в то время как венгерские писатели, так и Гоголь с его последователями: в области эстетики — это была проблема реализма, в общественно-политической жизни — демократические реформы» [1].

Пути будущего развития венгерской литературы многие прогрессивные писатели тогдашней Венгрии увидели уже прояснёнными в русском реалистическом искусстве, превосходящем своими талантами современную им западноевропейскую литературу.

В 1862 году Пал Дьюлаи писал, имея в виду поэзию пушкинской поры: «Недовольство политическими и социальными условиями жизни можно увидеть в творчестве русских поэтов так же, как в произведениях венгерцев; в русской литературе, однако, больше острой сатиры».

И еще одну, не менее важную особенность пушкинского творчества по достоинству оценил венгерский критик 60-х годов прошлого столетия. Эта особенность заключалась в том, что творчество Пушкина являлось глубоко патриотичным и в самых своих истоках национальным. Раскрывая глубокое чувство национальной гордости поэта, его стремление сделать поэзию действительно народной, чуждой «барскому европеизму» и рабскому преклонению перед

[1] «Irodalom — Tudomany», 6sz. 1946, 1. 59.

западными образцами, Пал Дьюлаи пишет в 1862 году: «Несмотря на ряд особых обстоятельств, между нашей литературой и русской есть много общего. Русские поэты точно так же борются с французским влиянием в стране, как мы с засилием всего немецкого».

Пал Дьюлаи ставит в пример венгерским писателям освободительные и патриотические идеи русской литературы, зовет следовать им и видит в этом залог успешного развития венгерской литературы.

К тому времени, к которому относятся приведенные выше высказывания венгерского критика, на венгерский язык уже было переведено произведение, вошедшее бессмертным вкладом в историю русской и мировой поэзии. В 1862 году Карой Берци, который приобрел широкую известность у себя на родине, именно как переводчик Пушкина, печатает первые отрывки, переведенные им из «Евгения Онегина». И перед восхищенным венгерским читателем во всей полноте своего гения раскрылся художественный облик поэта. Пушкин предстал перед венгерским обществом, как величайший поэт и как передовой сын своей родины, создатель — по слову Белинского — «энциклопедии русской жизни» своего времени.

Перевод «Евгения Онегина» Кароя Берци по праву может считаться одним из лучших европейских переводов этого романа. Вначале Карой Берци работал над венгерским «Евгением Онегиным» на основе немецкого текста Боденштедта (так было не в одной Венгрии, но и в Сербии, Чехии, Хорватии, составлявших в то время многонациональную вотчину Габсбургов, где насильно насаждалось все немецкое). Но по мере знакомства с пушкинским творчеством Карой Берци был так захвачен гениальным пушкинским романом, что, изучив русский язык, стал переводить с оригинала. В течение четырех лет работал Берци над «Евгением Онегиным». Он явился первым венгерским поэтом, изучившим русский язык, и успешно выполнил стоявшую перед ним трудную задачу. В 1866 году в издании литературного общества «Кишфалуди» вышел в свет первый полный перевод «Евгения Онегина». Успех его был необычайным. Достаточно сказать, что с того времени до наших дней «Евгений Онегин» в переводе Кароя Берци был издан в Венгрии 19 раз, то есть выдержал в два раза больше изданий, чем в Германии, и в три раза больше, чем во Франции.

«Евгений Онегин» в Венгрии дошел до самых широких читательских масс. Недаром Аладар Комлош писал: «Переведенному с иностранного языка произведению редко выпадает счастье стать общеизвестным. Но это произошло у нас с «Онегиным». Каждый венгерец знает это гениальное творение».

Секрет этого небывалого для Венгрии успеха переводного романа (к тому же романа в стихах) заключался, конечно, в том, что «Евгений Онегин» в переводе Кароя Берци не только сохранил в большой мере свои художественные достоинства, но и удовлетворял возросшему интересу венгерского общества 60—70-х годов к общественной жизни России. Глубоко национальные образы героев пушкинского романа были одновременно образами глубоко общечеловеческими. «Евгений Онегин», начатый до восстания декабристов и заканчивавшийся в годы, последовавшие за поражением восстания, оказался как нельзя более близким передовому венгерскому обществу 60-х годов, испытывавшему мрачную полосу реакции после того, как были потоплены в крови демократические идеалы, за которые боролись лучшие сыны венгерского народа во главе с Петефи, Кошутом и Танчичем.

Близость «Онегина» передовой части венгерского общества неоднократно подчеркивала венгерская литературная критика. «Евгений Онегин» был более близок к жизни современного Берци венгерского общества, чем любые английские образцы»,— пишет один из венгерских литературоведов Ференц Жигмонд.

Огромное влияние оказал автор «Евгения Онегина» на многие поколения венгерских писателей. Творчество одного из крупнейших буржуазных венгерских писателей Дьюла Круди находилось под непосредственным воздействием Пушкина. Одна из героинь его романа «Почтовая кибитка» говорит: «Онегин! О, как бы я хотела опять стать молодой лишь для того, чтобы хоть раз, как в былые годы, снова прочесть «Онегина» и перестрадать вместе с ним! Уехать бы в Москву... Взять письмо Татьяны и пройтись по берегам Невы! Все мы Онегины в молодости!»

Или вот, например, как описывает Круди другого своего героя, молодого человека по имени Резеда, только что вступающего в жизнь: «Чтение «Онегина» распахнуло перед ним двери нового мира. Резеда решил, что наконец-то он нашел себе цель в жизни: он станет журналистом, поэтом, наконец, он станет таким, как Пушкин... И все это произошло в одну ночь, когда с горящими глазами и с замиранием сердца он прочел звучные строки русского поэта»...

Весьма характерно, что в 80-х годах прошлого века в Венгрии появился посвященный Пушкину роман, ставший широко известным и за пределами Венгрии — это «Свобода под снегом» Моора Иокаи. Автор изображает русское общество накануне и во время восстания декабристов исторически неверно, с присущей ему фантастикой, но этот роман характерен тем, что главным героем его является Александр Пушкин. Образ поэта в романе наделен рядом выдуманных автором черт, но написан с добрым желанием заставить венгерского читателя еще больше полюбить великого русского поэта.

В последние годы прошлого и в начале нынешнего века классик венгерской литературы Эндре Ади не один раз обращается к любимым пушкинским образам. Тема «бедной Тани» не раз привлекала к себе Эндре Ади, а в 1899 году он даже написал на эту тему стихотворение, которое так и называет по-русски «Татьяна».

Несомненно, заслуживает специального исследования вопрос о том, в какой мере народность и реализм пушкинской поэзии, горячим ценителем которой был Ади, препятствовали влиянию декадентской французской литературы той поры на творчество этого большого венгерского поэта.

*

После того, как Пушкин стал известен в Венгрии как автор «Евгения Онегина», венгерская переводная литература с особым вниманием обращается к гражданской лирике Пушкина, проникнутой свободолюбивыми и патриотическими идеями. Трудно указать в этот период год, когда бы в стране не появилось отдельным изданием или в журналах то или иное произведение великого русского поэта.

На венгерский язык переведено больше 160 произведений Пушкина. Большинство из них стало известно венгерскому читателю еще в XIX веке.

Голос Пушкина звучал верой в будущее даже в пору мрачной реакции 20—30-х годов, когда аристократическое общество царской России было охвачено «отречением от всех гуманных чувств». Этой верой в торжество идей гуманизма лира Пушкина заставляла учащенно биться сердца лучших людей Венгрии.

Значение освободительных и патриотических идей Пушкина венгерский писатель Геза Хегедуш определил такими словами: «Декабристы могли потерпеть поражение, но передовая поэзия Пушкина продолжала жить до тех пор, пока уже в нашем столетии не родилась русская свобода» [1].

*

После победы Великой Октябрьской социалистической революции, в годы господства в Венгрии фашистской клики Хорти, когда тюрьма и концлагерь грозили за каждое слово правды о Советском Союзе, в эти мрачные для венгерского народа годы интерес к творчеству Пушкина не только не исчез, а возрос еще более. Произведения великого русского поэта были в Венгрии почти единственным легальным источником, из которого венгерский читатель мог почерпнуть сведения о духовном облике русского человека. Разве не знаменателен тот факт, что именно в эти годы в Венгрии появляется одна из лучших критических работ, посвященных восприятию творчества Пушкина в странах Запада,—статья крупнейшего современного венгерского писателя Дьюла Иеш. В этой статье он писал: «Благодаря превосходным переводам Кароя Берци, мы знаем, кем являлся Пушкин... В последние годы прошлого века роман «Евгений Онегин» читали по всей Венгрии с таким же воодушевлением, на него так же часто ссылались, как и в России»[2].

Популяризируя великие образы пушкинских произведений, Дьюла Иеш разоблачает в своей статье ложь и клевету фашистских реакционеров, обрушивших потоки грязи на великий русский народ, стремившихся

[1] «Az orosz könyvek között», Budapest, 1947, l. 12.

[2] «Nyugat», 1937, № 3, 218.

изобразить его «азиатским», «диким» народом, и тем самым ввести в заблуждение простых людей Венгрии. Показав высокие идеалы и стремления героев произведений Пушкина, Дьюла Иеш восклицает: «Таков был духовный мир типичных людей тогдашней «азиатской» России!» Говоря о прогрессивном значении Пушкина для всей мировой культуры и о народности русской литературы, опередившей и в этом отношении литературы Запада, Дьюла Иеш пишет: «В начале 19-го века в русской литературе ни на ноту не было мистицизма. Она была светла, как солнечный луч. Больше того, с одной стороны, она была более прогрессивна, чем литература любой из стран Запада, с другой стороны, уже тогда в ней видна была народность»[1].

Лучшие люди Венгрии глубоко оценили идейное значение творчества великого русского национального поэта. Дьюла Иеш пишет: «Пушкин представлял слой людей, воодушевленных борьбой за свободу и прогресс против царизма, против действительно азиатского гнета крепостников, против церкви, выполнявшей роль жандарма».

Можно прямо сказать, что не много удается встретить в западной критике отзывов о Пушкине, подобных этому — по верности социального анализа и горячей любви к великому национальному певцу русского народа.

Знаменательно, что именно в годы ожесточенной подпольной борьбы венгерской коммунистической партии против фашистского режима Хорти появился в печати венгерский перевод одного из лучших и революционных стихотворений Пушкина, прозвучавший в то время в Венгрии с особенной силой:

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

После освобождения Венгрии Советской Армией, после того, как в стране восторжествовал строй новой народной демократии, пробудивший к жизни творческие силы самых широких слоев венгерских трудящихся, поэзия Пушкина получила поистине всенародное признание. Свободная от оков реакционной цензуры, венгерская печать в первые же годы существования народной демократии обратилась к богатейшей сокровищнице самой передовой и идейной литературы мира — русской литературе. За четыре года, прошедшие после освобождения страны от фашистского гнета, в области ознакомления венгерцев с наследием русской классической литературы сделано больше, чем за десятки предшествующих лет. В 1945 году вышла антология русских поэтов, где Пушкину отводится одно из первых мест.

За эти годы было впервые переведено на венгерский язык еще около пятидесяти произведений поэта (то есть немногим менее одной трети всех произведений Пушкина, переведенных в Венгрии за все предшествующее время). Общее же число пушкинских произведений, изданных в Венгрии в период только лишь с 1945 года по 1948 год, достигает 80 названий. Это означает, что за четыре года на венгерский язык было переведено столько же произведений Пушкина, сколько за все 100 предшествующих лет. К этому следует добавить, что по своему тиражу вышедшие в демократической Венгрии пушкинские издания значительно превосходят все прошлые издания.

В Венгрии сейчас читают Пушкина не только в кругу интеллигенции; произведения поэта читают трудящиеся люди всех профессий и возрастов.

Венгерский народ одним из первых на Западе понял и полюбил чудесный мир пушкинских творений. Поэзия Пушкина привлекает все новых и новых читателей и в сегодняшней Венгрии и в других странах народной демократии. Их привлекает в поэзии Пушкина вечно живая любовь к свободе и радостное утверждение жизни. Лира Пушкина, говорит сегодня от имени всего венгерского народа писатель Геза Хегедуш, «будет призывать к восстанию до тех пор, пока существуют на земле рабство и несправедливость».

[1] «Nyugat», 1937, № 3, 218.

ПУШКИН В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ЛЕВ КИШКИН

★

Пушкин — душа России...

Карел Чапек.

Еще в 1804 году основоположник чешской поэзии Пухмаер писал: «Кажется, не будет неуместным указать чешским поэтам средство, которое может открыть нашей поэзии богатый источник чистейшего золота. Обволакивающий нас, чехов, густой туман ложных предрассудков по отношению к остальным славянам, заставляет нас думать, что с восточных лугов славянской поэзии не может к нам притти никакой приятный запах, и мы поэтому впитываем только то, что зефир приносит нам с западных немецких и других полей искусства, хотя они иногда пропитаны вечерними, нездоровыми испарениями. Отсюда происходит то, что, занимаясь всегда только французским, английским, особенно немецким, мы с каждым днем все более и более перестаем быть чехами и славянами». [1]

Уже в то время, когда Пухмаер обращался к своим товарищам по перу, «восточные луга славянской поэзии» были украшены именами Ломоносова, Державина, Карамзина, Жуковского, Крылова, а через десять лет на тех же лугах распустился прекрасный цветок поэзии нашего Пушкина.

Совет Пухмаера проник в сердца чешских и словацких писателей: русской литературе предстояло оказать большое и плодотворное влияние на развитие чехословацкой литературы.

Среди русских писателей, наиболее почитаемых в Чехословакии, Пушкин занимает одно из самых первых мест.

Чехословакия принадлежит к числу тех немногих европейских стран, где Пушкина знали еще при его жизни (первое знакомство с его именем относится к 1823 году), знали и любили. С годами любовь к русскому поэту росла и ширилась. Достаточно сказать, что первый, за пределами России, поэтический отклик на смерть Пушкина принадлежит перу словацкого поэта Людевита Штура, что почти все крупнейшие чешские и словацкие писатели XIX и XX веков работали над переводами пушкинских произведений, что уже к началу XX века чехи имели свыше двухсот переводов произведений Пушкина и работ, посвященных его творчеству, а в 1937 году Чехословакия по количеству пушкинских переводов оказалась на первом месте в мире.

Раньше других произведений Пушкина на чешский язык была переведена поэма «Цыганы». Ее перевел прозой в 1830 году Ян Славомир Томичек, один из деятелей чешского возрождения. В 1835 году тот же Я. С. Томичек перевел и издал в отрывках «Бориса Годунова». В 1838 году опубликовал свои переводы из Пушкина словацкий писатель и общественный деятель К. Кузмани; язык его переводов, повидимому, был еще чешским (до 1845 года словаки не имели своего литературного языка). На словацком языке первый перевод из Пушкина появился в 1846 году — это был перевод «Песни о вещем Олеге», сделанный словацким поэтом Я. Кралем.

Следует отметить, что в начале своего знакомства с Пушкиным чехи и словаки не знали его политических, революционных стихотворений: цензура Николая I и агенты III отделения ревностно следили за тем, чтобы революционные стихотворения и призывы Пушкина не получили широкого распространения за границей.

[1] Цит.: Е. А. Рахлин. Поэтическая деятельность Фр. Лад. Челаковского. Киев, 1915.

Но тщетны были ухищрения царя и его чиновных слуг: свободолюбивый голос Пушкина прорывался через все преграды. Несмотря на сопротивление реакционеров — иноземных и внутренних — произведения Пушкина, проникнутые протестом против «барства дикого», пафосом свободы и народолюбия, становятся в середине XIX века достоянием чехословацких патриотов.

Знакомство чехов и словаков с Пушкиным совпало по времени с национальным и литературным возрождением Чехии и Словакии. К этому периоду относится широкое распространение «идеи славянской взаимности». Выражая мысли и чаяния народа, деятели возрождения заявляли о близком родстве с русским народом. С надеждой смотрели они на Россию, видя в ней мощную союзницу в вековой борьбе за свою независимость против немецкой агрессии. Австрия и Германия были не мало обеспокоены тем, что взоры чехов и словаков устремились на Восток. «Здешние немцы и полунемцы ужасно злятся на печать, которая постоянно только и твердит о русских», — писал 4 мая 1814 года И. Юнгман, один из самых крупных чешских филологов начала XIX века, своему другу и единомышленнику А. Мареку.

Гений Пушкина был сильнейшим союзником деятелей чешского и словацкого возрождения, а позже и всех прогрессивных культурных сил Чехословакии в их борьбе с реакцией и немецкой агрессией, за национальную и социальную свободу, за самобытную культуру.

В этом смысле показательно отношение к Пушкину крупнейшего чешского поэта начала XIX века филолога Франтишка Челаковского и словацкого поэта Людевита Штура, деятельность которых явилась большим вкладом в развитие и становление национальной культуры Чехии и Словакии. Пушкинская идея борьбы за национальную народную культуру была близка им, разделялась ими, находила в их творчестве горячий отклик.

Франтишек Челаковский, прославившийся переводами стихотворений Пушкина, видел в творчестве Пушкина вдохновляющий пример близости поэта народу, пример народности литературы. В эпиграмме «К русским», направленной в адрес русской аристократии, Челаковский писал:

Прогоните во-свояси дорогостоящих
проходимцев:
Гофмейстеров немецких, французских
гувернеров,
Которые воспитывают вам кукол
и франтов.
Уважайте своих кормилиц, воздавая
им благодарность.
Они по крайней мере выпестуют вам
великих поэтов.

В этой эпиграмме речь идет не только о роли Арины Родионовны в формировании Пушкина-поэта.

Подчеркивая, что великие поэты вырастают лишь на почве национальной народной жизни, Челаковский объявляет борьбу всем чужеземным врагам национальной самобытности и культуры. Эпиграмма «К русским» била не только по петербургским аристократам, низкопоклонничавшим перед Западом, но и по немецкому засилью в чешской культуре, по австрийской реакции, пытавшейся задушить все национальное, все народное в культуре чехов.

Творчество Пушкина помогало росту национального самосознания чехов и словаков, укреплению славянской солидарности. Любовь к Пушкину уже тогда была выражением братских чувств чехов и словаков к великому русскому народу, выражением их гордости за культуру славянства.

Передовые чехословацкие писатели видели в Пушкине олицетворение величия славянской культуры. Гордостью за Пушкина, верой в бессмертие его гениальных творений проникнуто прекрасное стихотворение Людевита Штура «Плач над Пушкиным», написанное в год смерти русского поэта:

Мало на Ваг долетело к нам с севера
Пушкина песен,
Но заронились те песни глубоко
в славянские души.
Умер поэт, но жив его дух, и жить будет
вечно
Сладостный звон его лютни на вольных
просторах славянства.
С горных вершин будет парить, как орел,
он над нами.
И далеко его песни пройдут по славянским
долинам.[1]

Пушкин помог чехам и словакам увидеть настоящую Россию — Россию великого народа, которому предстояло открыть новые пути истории человечества и стать освободителем и объединителем славян.

[1] Журнал «Kvety», апрель 1837.

Обращение чехословацких писателей к Пушкину отражало тяготение народов Чехии и Словакии к передовым силам братского народа России. И поэтому даже жесточайшая реакция, наступившая после 1848 года, не могла истребить любовь к Пушкину и веру в народ, его породивший.

В 50—60-е годы большую роль в ознакомлении чехов и словаков с творчеством Пушкина сыграл Вячеслав Бендл (литературный псевдоним — Строницкий).

Благодаря его переводам чехи и словаки получили возможность читать не только отдельные пушкинские произведения, но фактически всего Пушкина. Заслуга Бендла особенно велика, потому что он издавал свои переводы в годы послереволюционной реакции. Издание переводов встречало немалые затруднения.

В рецензии на книгу «Избранные стихи Александра Пушкина», в переводе Бендла, один из первых русских славистов И. И. Срезневский писал: «Русские книги в земле Чешской — редкость, как будто или кто их преследует или никто ими не занимается, — о русской литературе почти не услышишь ничего ни в каком курсе, — и тем не менее русскую литературу чехи не только уважают, но многие и хорошо знают, понимают, сочувствуют ее духу, движению в такой степени, что едва-ли где более, чем в среде чехов, умеют ценить достоинства наших писателей, едва-ли какая другая литература европейская может действовать на чешскую так сильно и благородно, как русская».[1]

Свидетельство Срезневского весьма показательно: тяга к русской культуре у чехов и словаков оставалась непреодолимой даже в годы тягчайшего послереволюционного гнета.

Русская литература и прежде всего Пушкин оказали сильное влияние на развитие реализма в чехословацкой литературе. Об этом писал в своем дневнике один из чешских писателей середины XIX века Густав Пфлегер Моравский: «Однажды вечером я прочитал Пушкина, именно «Онегина»; мысль, как молния, пробежала в моей голове, на несколько минут я сосредоточился и вдруг понял. Реальность, — именно идеальная реальность, изображение предметов, событий, чувств и мыслей таковыми, какие они есть, только в своего рода возвышенном одеянии, — вот что я понял вдруг и что стало моим стремлением. Я уже раньше замышлял написать что-нибудь в жанре Чайлд-Гарольда, теперь я выбросил из головы чешского Чайлда»[1].

Характерно, что Пфлегер Моравский понял несостоятельность всякого рода теорий о «байронизме Пушкина» и подчеркнул, что именно влияние Пушкина заставило его выбросить из головы «чешского Чайлда», отказаться от подражания Байрону. Понимание самобытности и реалистической направленности творчества Пушкина такими чешскими писателями, как Пфлегер Моравский, особенно ценно, если учесть, что тогдашняя литературная критика мало способствовала такому пониманию.

Дело в том, что в те годы чехословацкие литераторы еще не были знакомы с произведениями Белинского и других лучших русских критиков: основными материалами по русской литературе оставались книги второразрядных русских критиков, чаще всего реакционных.

Особенно широко распространялись там статьи и книги Булгарина и его единомышленников. Статьи этих критиков, нередко клеветавших на Пушкина, видевших в нем только подражателя Байрона, мешали правильному пониманию оригинальности и значения поэзии Пушкина.

Много сделал для распространения влияния Пушкина замечательный чешский писатель, демократ и патриот Святополк Чех.

В 1874 году Чех приезжал в Россию, побывал при этом на Кавказе. Позже, в своих воспоминаниях о Кавказе, Чех писал: «Еще старые греки с подлинно классическим вкусом выбрали его каменную гряду местом пребывания для любимейшего героя своей мифологии—терпеливого Прометея. Для славян эта земля представляет большой интерес, славянство проникло в нее не только с оружием, но и со своей песней. Первые певцы славянства Лермонтов и Пушкин становятся бардами этой земли, ее блеска и красок, создают ряд

[1] И. И. Срезневский. Библиографические записки. Известия Института Академии наук по отделению русского языка и словесности, т. IX, 1860.

[1] Machal Jan. Al. Serg. Puškin. «Slovensky Prehled», Ročnik I, 1899.

прекраснейших, рожденных славянской поэзией образов, таких образов, как Демон, Тамара, Мцыри, несчастная возлюбленная кавказского пленника!»[1]

Вдохновившись поездкой, Чех написал поэму «Черкес». Живые впечатления путешествия и картины Кавказа, нарисованные некогда Пушкиным и Лермонтовым, синтезировались в творческом сознании поэта.

Пушкинский гуманизм и демократизм оказали на творчество Чеха огромное воздействие. Поэзия Чеха идейно близка Пушкину.

Святополк Чех писал:

О верь мне, друг, над челом России
Мерцает утренняя звезда новой мировой
истории.
Близок день, когда засверкает ярко
Весь лик ее, еще закрытый тучей!

В этих стихах мы видим недвусмысленный отклик чешского поэта-демократа на замечательные стихи Пушкина: «Товарищ, верь, взойдет она...»

Чех верил в объединение славян под руководством России будущего, верил, что только при таком объединении возможна лучшая жизнь для чехов и словаков. Он считал, что дружба между славянами будет держаться «не цепью железной, сжимающей сердце, но крепкими узами дружбы, прекрасным союзом любви».

К концу XIX века, в связи с общим ростом интереса и любви чехов и словаков к русской культуре, активизируется изучение Пушкина и в чехословацком литературоведении и в критике.

Обстоятельную работу о Пушкине написал в 70-х годах словацкий литературовед П. Гечко. Разбирая творчество Пушкина, Гечко пишет о Пушкине, как родоначальнике национального направления искусства. Он отмечает «поэтическое восприятие д е й с т в и т е л ь н о г о» мира в творчестве Пушкина. Вместе с тем Гечко говорит о реалистичности поэзии Пушкина, о том, что эта поэзия «лишена искусственных чувств и есть точная действительность». Цитируя слова Гоголя о том, что в поэзии Пушкина отразились язык, душа и характер народа, Гечко пишет о народности пушкинского творчества. Судя по содержанию работы, можно предполагать, что Гечко был знаком с оценкой Пушкина русской демократической критикой.

В 80—90-е годы в Чехословакии появляются переводы произведений русских критиков—революционных демократов. Эти произведения, и особенно статьи Белинского, помогли чешским и словацким критикам, литературоведам, писателям правильно оценить и глубже понять творчество Пушкина. Несомненно, что переводы произведений Белинского способствовали активизации самой чехословацкой критики в изучении Пушкина.

Много литературоведческих исследований и статей, посвященных Пушкину, появилось в связи с 100-летием со дня рождения поэта.

В статьях наиболее видных критиков и литературоведов, написанных в 90-е годы, отмечается огромное влияние пушкинского гения на развитие национальной литературы чехов и словаков.

«Произведения Пушкина у нас всегда были излюбленными, — писал в статье «К столетию рождения А. С. Пушкина» К. Штепанек. — Не нужно также забывать, что его гений имел влияние на многих поэтов еще от времен Челаковского. Тем скорее мы можем присоединиться к радостному хоралу русского народа, раздающемуся в эти дни всюду, где только звучит прекрасный и богатый русский язык».

Чешский журнал «Славянский обзор» («Slovansky prehled») поместил в 1899 году интересную статью профессора Я. Махала. Наряду с характеристикой творчества поэта, в этой статье делается первая попытка назвать и оценить все чешские переводы Пушкина. Как и другие исследователи, Махал отмечает благотворное влияние великого русского поэта на чешскую литературу, и в частности на творчество Челаковского, Махи, Галька, Пфлегера Моравского и др.

Пражская газета «Политика» писала в одной из своих передовых статей: «Пушкин—это солнце, лучи которого согревают весь мир. Эти лучи зажгли и в чешских сердцах свет и счастье, ласковым теплом пробудили к жизни дремлющие ростки на чешской поэтической ниве».[1]

[1] Čech Sv, Upominky z Východu. Praha.

[1] «Politika» № 153, 1899. Цитируется Вл. Нейштадт: «Пушкин в мировой литературе». Сборник «Сто лет со дня смерти Пушкина», М. Л. 1938.

В конце XIX века чехословацкие писатели и поэты усиленно работают над новыми переводами произведений Пушкина. Словацкий романист Св. Гурбан-Ваянский делает попытку передать ряд поэтических произведений Пушкина размером подлинника — в ямбах. В качестве переводчика Пушкина выступает знаменитый словацкий поэт Гвездослав. Чешские писатели усиленно переводят прозаические произведения Пушкина. Даже и менее известные и незаконченные произведения Пушкина, такие как «Воображаемый разговор с Александром I», «Рославлев», «Джон Теннер», не выпали из их поля зрения. В связи с пушкинским юбилеем переводить Пушкина начинают даже люди, ранее не имевшие отношения к литературе. Пушкина переводят ремесленники, побывавшие в России, шафраничи и олейкари — бродячие торговцы целебными травами и маслами. Одним из таких переводчиков был деревенский ремесленник словак Андрей Гробак. Его переводы «Метели», «Выстрела», стихотворения «Буря» и другие были напечатаны в «Словацкой газете» («Slovenska Noviny») за 1897—1899 годы.

Работа по изучению и переводу творчества Пушкина не ослабевала и в XX веке. Оптимизм и свободолюбие пушкинской поэзии вдохновляли передовых людей чехословацкой культуры на борьбу против тлетворных влияний декаданса, за дальнейшее развитие здоровой национальной литературы.

После Великой социалистической революции 1917 года тяготение и любовь чехословацкого народа к русской культуре, к Пушкину приобретает особый характер. Она соединяется с активным интересом и любовью к первому в мире социалистическому государству, к великому советскому народу, ставшему авангардом всего прогрессивного человечества и могучей силой освобождения славянских народов.

«Сознание, что Советский Союз является выражением наиболее передовых идей и наилучших традиций прошлого, — писал об этом чешский писатель Франтишек Нечасек,—что советская литература достойным образом продолжает и развивает наследство классической русской литературы,—пробуждает новый интерес к русской классической литературе. Выходят новые переводы русских классиков, возникает подлинный культ Пушкина. Чехословакия поистине достойным образом отмечает столетие со дня смерти Пушкина: печатаются новые блестящие переводы его важнейших произведений, впервые дающие чехословацкому читателю возможность полностью понять и полюбить величайшего русского поэта».[1]

Прогрессивные чехословацкие писатели и критики в своих работах о Пушкине, написанных после 1917 года, с особой силой подчеркивают национальную самобытность и величие Пушкина, отразившего своим творчеством величие русского народа. «Пушкин — первый великий народный поэт русский»,[2] — пишет о Пушкине профессор Я. Махал. Ссылаясь на оценки Пушкина Белинским, Махал отмечает социальную заостренность и свободолюбие пушкинского творчества.

Чешский ученый, доктор Иосиф Ирасек, в своей книге «Россия и мы» пишет о Пушкине: «Творчество этого Петра Великого в русской литературе создает эпоху. Его поэзия... самобытна, оригинальна... Пушкин лучше всех показал, что уже с самого начала русский романтизм проникнут здоровым реализмом, который проявил себя в 20-х годах в грибоедовском «Горе от ума» и развился в 40-х и последующих годах в прекрасный, удивительный цветок»[3].

Много новых исследований и статей о Пушкине появилось в Чехословакии в связи с 100-летием со дня смерти Пушкина. В юбилейных статьях и работах прогрессивные чехословацкие ученые и критики широко использовали достижения советского пушкиноведения.

В 1937 году вышла из печати монография Фр. Таборского «Пушкин—певец свободы». Анализируя общественное содержание творчества Пушкина, Таборский пишет: «Послереволюционная эпоха помогла увидеть, каким великим поэтом, каким великим певцом свободы был Пушкин»[4]. Таборский говорил о близости Пушкина нашей современности, о народности пушкинской поэзии.

В предгрозовой атмосфере 1937 года

---

[1] Журнал «Октябрь» № 9, 1944.

[2] Machal Jan. Slovenske literatury. Praha, 1922.

[3] Irasek Josef. «Rusko amy», Praha, стр. 41.

[4] Jr. Taborsky. Puškin pěvec svobody, 1937, Praha.

чешские писатели и критики-патриоты с особой силой почувствовали близость пушкинского творчества патриотическим думам и чаяниям народа, отстаивающего свою независимость. Перед лицом надвигающихся грозных событий чешские патриоты видели в Пушкине своего союзника, певца победы народа над силами тьмы.

«Чешская литература проникнута теми же идеалами, что и Пушкин, — писал один из чешских литераторов в предисловии к книге стихов Пушкина, изданной в 1937 году «Народной библиотекой». — Пушкин был любим и ценим старшим поколением чешских писателей и был у нас много раз переведен». И далее: «Наш народ вновь защищает себя от надвигающейся тьмы. Он сейчас особенно желает ясного света культуры, поэтического слова, веры в жизнь и победу. Он будет поэтому рад прочесть Пушкина. Его слова «Да здравствует солнце, да скроется тьма» являются великим девизом нашей действительности».

Проведение пушкинского юбилея 1937 года явилось подлинным апофеозом славы Пушкина. В ходе подготовки юбилея в Чехословакии появились новые талантливые переводы Пушкина. В Праге вышло новое четырехтомное издание избранных произведений Пушкина в переводах лучших чешских поэтов (Иосиф Гора, Оттокар Фишер и др.). Вышедший в 1937 году четвертый по счету чешский перевод «Евгения Онегина», сделанный известным недавно умершим поэтом И. Гора, считается лучшим переводом «Онегина» в Чехии. Словакия отметила столетие со дня смерти Пушкина выпуском сборника лирических стихотворений (более 100 названий) в прекрасных переводах Я. Ясенского.

Активное участие в проведении юбилея принимал нынешний министр просвещения Чехословакии профессор Зденек Неедлы. В одной из своих статей, посвященных юбилею, профессор Зденек Неедлы писал:

«Во всем мире должен звучать новый, советский Пушкин. Ведь сегодня во всем капиталистическом мире положение человечества нисколько не лучше, чем во времена Пушкина. Гениальные и могучие пушкинские стихи — мощный зов к народам подняться на борьбу за свои права, за права человечества. Пусть во всем мире юбилей Пушкина будет не только юбилеем поэта, а выражением стремлений к лучшей жизни, непреклонной решимости отвоевать ее в жестокой борьбе».

В мрачные годы немецкой оккупации трудовые люди Чехословакии, ее передовая интеллигенция, все, кто не покорился оккупантам, обращали свои взоры и надежды на Восток. Произведения Пушкина, Горького, Толстого и Маяковского помогли им понять и полюбить русский народ.

«Интересно, что культ пушкинского светлого гения еще больше разросся в годы немецкой оккупации. Чехословацкий народ наглядно показывает этим свои симпатии к России, свою оптимистическую веру в Россию и свою собственную будущность»,[1] — писал в 1944 году Франтишек Нечасек.

Советская Армия вызволила из неволи братский народ Чехословакии. После освобождения от немецко-фашистского гнета чехословацкий народ начал строить свое новое демократическое государство, новую культуру, используя в этой созидательной работе опыт и традиции своего старшего брата — русского народа и его великой культуры.

По-новому радостно и свободно звучит сейчас на землях Чехословакии слово гения русской литературы Пушкина. Создаются новые переводы его произведений и новые исследования его творчества, проникнутые сознанием всемирно-исторической роли народа, выдвинувшего Пушкина. Творчество Пушкина изучается в университетах и школах. Книги Пушкина можно сейчас встретить не только в библиотеках и профессорских кабинетах, но и в домах чешских крестьян.

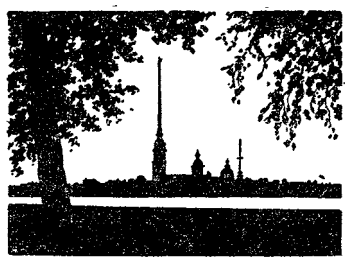
Изучение творчества Пушкина вот уже более ста лет является важнейшей составной частью развития культуры чехословацкого народа. Влияние Пушкина способствовало обращению лучших представителей литературы Чехии и Словакии к живой действительности и народу. Пушкинский гуманизм помогал литературе братского нам народа противостоять влиянию «пропитанных вечерними нездоровыми испарениями» тлетворных веяний буржуазного искусства Запада. Знакомство с Пушкиным было одним из факторов, способствовавших развитию самобытной и оригинальной чехословацкой литературы.

---

[1] Журнал «Октябрь», № 9 1944.

Пушкинский реализм, глубокая народность, подлинный гуманизм, свободолюбие и вера в человека — все это вооружало передовых чехословацких писателей в борьбе с писателями консерваторами и реакционерами.

К Пушкину обращались передовые деятели чехословацкой культуры. К его помощи прибегали представители прогрессивного романтизма 40—50-х годов в борьбе с принципами романтизма консервативного; к помощи Пушкина прибегали первые чехословацкие реалисты 60—70-х годов; к Пушкину обращаются передовые писатели Чехословакии в борьбе с декадансом в конце XIX и начале XX веков; к призывному, светлому, сильному слову Пушкина обращаются борцы чехословацкого антифашистского сопротивления и строители новой социалистической культуры Чехословакии. Пушкин близок и дорог братскому народу Чехословакии, пронесшему его имя в своем сердце через десятилетия тяжелых испытаний и борьбы.



ОПЕЧАТКА

На странице 38 в строках 12 и 13 вместо: «...со всей их купеческой суетой и теснотой, со всеми их часовнями...» следует читать: «...со всей ее купеческой суетой и теснотой, со всеми ее часовнями...».

Главный редактор **Константин Симонов.**
Редколлегия: **Борис Агапов, Валентин Катаев, Александр Кривицкий** (зам. главного редактора), **Константин Федин, Михаил Шолохов.**

Редакция: Москва, 6. Пушкинская площадь, 5 (Почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1.

Сдано в набор 24/V-49 г. Подписано к печати 11/VI-49 г.
А 04865. Объем 15½ печ. л. Тираж 63,300. Заказ № 1035.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова.

ТАГАНСКАЯ УЛ.34.КОМ.320
ТАГАНСК.ОТДЕЛУ НАРОДН.
СБРАЗОВАНИЯ

Цена 7 руб.